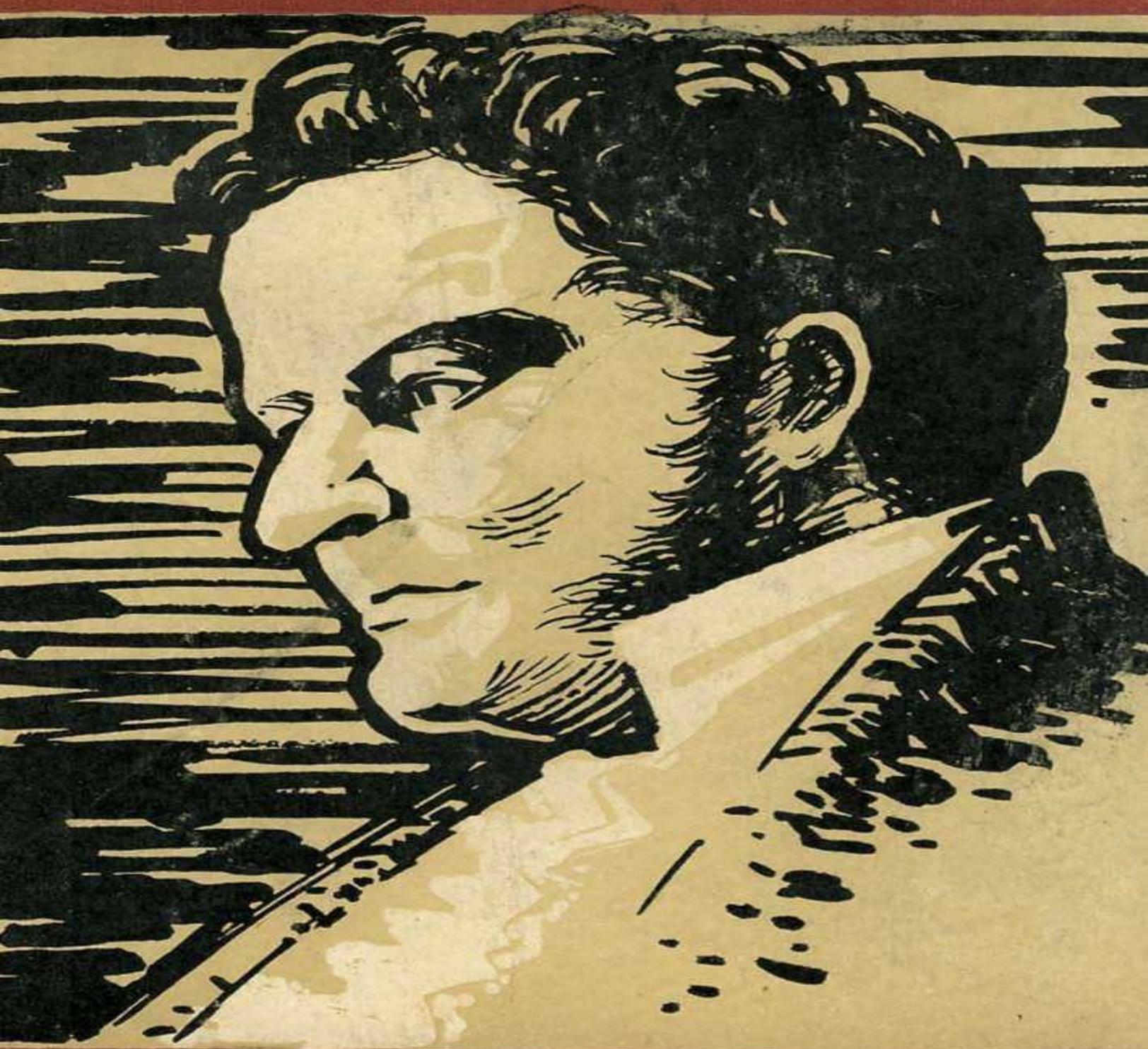


ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ



*А. Вишegradov*

**СТЕНДАЛЬ**

## Annotation

Книга А. Виноградова «Стендаль и его время» — это итог более чем двадцатипятилетних изысканий, раздумий над биографией и над произведениями великого французского романиста.

---

- [Виноградов Анатолий Корнелиевич](#)
  - 
  - 
  - [АНАТОЛИЙ ВИНОГРАДОВ И ЕГО КНИГИ О СТЕНДАЛЕ](#)
  - [ГЛАВА I](#)
  - [ГЛАВА II](#)
  - [ГЛАВА III](#)
  - [ГЛАВА IV](#)
  - [ГЛАВА V](#)
  - [ГЛАВА VI](#)
  - [ГЛАВА VII](#)
  - [ГЛАВА VIII](#)
  - [ГЛАВА IX](#)
  - [ГЛАВА X](#)
  - [ГЛАВА XI](#)
  - [ГЛАВА XII](#)
  - [ГЛАВА XIII](#)
  - [ГЛАВА XIV](#)
  - [ГЛАВА XV](#)
  - [ГЛАВА XVI](#)
  - [ГЛАВА XVII](#)
  - [ГЛАВА XVIII](#)
  - [ГЛАВА XIX](#)
  - [ГЛАВА XX](#)
  - [ГЛАВА XXI](#)
  - [ГЛАВА XXII](#)
  - [ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА СТЕНДАЛЯ](#)
  - [КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ](#)
- [notes](#)
  - [1](#)
  - [2](#)

- [3](#)
- [4](#)
- [5](#)
- [6](#)
- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)

- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)

- [81](#)
  - [82](#)
  - [83](#)
  - [84](#)
  - [85](#)
  - [86](#)
  - [87](#)
  - [88](#)
  - [89](#)
  - [90](#)
  - [91](#)
  - [92](#)
  - [93](#)
  - [94](#)
  - [95](#)
  - [96](#)
  - [97](#)
  - [98](#)
  - [99](#)
  - [100](#)
  - [101](#)
  - [102](#)
  - [103](#)
  - [104](#)
  - [105](#)
  - [106](#)
  - [107](#)
  - [108](#)
  - [109](#)
  - [110](#)
  - [111](#)
  - [112](#)
  - [113](#)
  - [114](#)
  - [115](#)
-

# **Виноградов Анатолий Корнелиевич СТЕНДАЛЬ И ЕГО ВРЕМЯ**



Редакция, предисловие и комментарии Л. Д. МИХАЙЛОВА



# АНАТОЛИЙ ВИНОГРАДОВ И ЕГО КНИГИ О СТЕНДАЛЕ

Подлинная мировая слава пришла к Стендалю лишь после его смерти, но затем она росла год от года. В наши дни вряд ли кому придет в голову говорить об архаичности, о «несовременности» автора «Красного и черного», о чем нередко толкуют применительно к многим его современникам. При жизни Стендаля читали мало, но его поняли и оценили такие гениальные мастера слова, как Гете, Байрон, Бальзак и Пушкин. С ним дружили многие передовые люди того времени: поэт-революционер Сильвио Пеллико, художник Делакура, совершивший подлинный переворот в живописи, известный натуралист Кювье.

Во время русского похода Стендаль поражал всех своим мужеством, выдержкой и стойкостью, но он мог из-за глупенькой, посредственной актриски бросить все и служить простым приказчиком в бакалейной лавке. Он выполнял рискованные поручения итальянских революционеров и тут же хлопотал перед правительством, стремясь получить баронский титул или хотя бы крест Почетного легиона. Он много писал, но выпустил при жизни лишь тринадцать книг. Десятки, если не сотни, его замыслов либо вовсе не были осуществлены, либо были брошены на полдороге. Столь противоречивый облик Стендаля-человека и Стендаля-художника не раз ставил в тупик вдумчивых и добросовестных исследователей. Его делали — и продолжают делать — то ловким мистификатором, то «певцом своей жизни» (С. Цвейг), то беспринципным приспособленцем (П. Валери), то «имморалистом» (А. Жид). О Стендале сложено немало легенд, о нем бродит большое число вздорных суждений и предвзятых оценок.

Многие такие легенды и оценки давно отброшены и сданы в архив истории ввиду их несомненной ветхости и полной научной несостоятельности.

Но Стендаль продолжает быть «трудным» автором — он может запутать исследователя не только своими многочисленными псевдонимами, условными кличками, нарочито искаженными датировками, но и неожиданными поворотами мысли, на первый взгляд противоречивыми, взаимоисключающими оценками, суждениями, смелыми выводами. Изучение Стендаля предполагает хорошее знание не только творческого

наследия писателя во всем его объеме, но и эпохи, в которую он жил, литературных и философских произведений, на которых он воспитывал свой ум, свое писательское мастерство, с которыми спорил или которыми восхищался.

О Стендале написаны десятки, если не сотни, книг — толстых ученых трудов или тоненьких публицистических брошюр. Его огромное наследие еще не полностью изучено и даже не собрано. В наши дни в различных отдаленных друг от друга местах — то в Париже, то в Риге, то в Москве, то в Гренобле — продолжают обнаруживать стендалевские рукописи: дневники, письма, наброски, планы неосуществленных произведений, надписи на книгах, деловые документы.

Анатолий Корнелиевич Виноградов (1888–1946), талантливый советский писатель, незаурядный ученый-филолог, занимаясь изучением жизни и творчества Стендаля, прекрасно отдавал себе отчет во всей сложности и многообразии стоящих перед ним задач. Книга А. Виноградова «Стендаль и его время» — это итог более чем двадцатипятилетних изысканий, раздумий над биографией и над произведениями великого французского романиста.

Первые шаги в изучении жизни и творчества Стендаля были сделаны А. К. Виноградовым вскоре после окончания им университета, в пору работы в архиве Румянцевского музея (ныне библиотека имени В. И. Ленина), куда он был направлен в 1912 году.

В 1913 году А. К. Виноградов совершил поездку во Францию, побывав в местах, связанных с биографией Анри Бейля. Эта поездка позволила затем исследователю точно и в то же время поэтично, красочно описать и родину Стендаля — город Гренобль с его узкими старыми улочками, и пейзажи Дофине, и бульвары Парижа.

В послереволюционные годы А. К. Виноградов еще более расширяет свои занятия Стендалем. Именно в это время он выдвигается не только как крупнейший знаток творчества французского писателя, но и как неутомимый популяризатор и пропагандист его произведений. Можно с уверенностью сказать, что во многом благодаря деятельности А. К. Виноградова Стендаль вошел в обиход нового, рожденного революцией массового читателя.

В 1923 году А. К. Виноградов издает в своем переводе с обстоятельным И, главное, новым для того времени научным аппаратом объемистый том произведений Стендаля — «Новеллы, хроники и эпизоды». Большинство материалов этой книги до того времени еще не было известно русскому читателю. Особого упоминания заслуживает

закрывающая эту работу статья А. К. Виноградова, напечатанная в том же году отдельной книжкой, — «Фредерик Стендаль, автор новелл и хроник».

В 1924 году А. К. Виноградов переводит и издает интереснейшие (правда, не всегда достоверные) воспоминания о Стендале одного из его самых близких друзей — Проспера Мериме.

Под редакцией и с предисловиями А. К. Виноградова выходит ряд книг Стендаля: «Красное и черное» (1928), «Армаис» (1930), «Пармская обитель» (1930). А. К. Виноградов печатает в газетах и журналах серию статей, посвященных жизни и творчеству автора этих замечательных романов.

Изучая биографию Стендаля, А. К. Виноградов не ограничивался критическим освоением многочисленных зарубежных исследований. Первым из советских стэндале-ведов он обратился к архивам. Именно эта сторона деятельности А. К. Виноградова сделала его ученым с мировым именем, на исследования которого постоянно ссылаются французские литературоведы, обычно хранящие упорное молчание по поводу большинства наших работ, посвященных западноевропейской литературе.

А. К. Виноградову удалось обнаружить и опубликовать интереснейшие материалы, по-новому рисующие взаимоотношения Стендаля и Мериме с Соболевским, братьями Тургеневыми, с семьей Дубенских, с Вяземским. Так возникают такие работы А. К. Виноградова, как «Мериме в письмах к Соболевскому» (1928), «Мериме в письмах к Дубенской» (1937), статьи «Три русские встречи Стендаля» (1928) и «Стендаль, Мериме и братья Тургеневы» (1935).

Стэндалевская тема присутствует и в ряде историкобиографических книг А. К. Виноградова, посвященных современникам французского писателя. — в «Повести о братьях Тургеневых» (1932), в «Байроне» (1936), в «Осуждении Паганини» (1936).

Жизненный и творческий путь Стендаля во всей его полноте обрисован А. К. Виноградовым в двух его книгах: в романе «Три цвета времени» (1931) и в исследовании «Стендаль и его время» (1938).

При знакомстве с наследием Стендаля поражает обилие автобиографического материала. Помимо двух автобиографических повестей — «Жизнь Анри Брюлара» и «Воспоминания эготиста», — в распоряжении современного исследователя большое количество дневников, более чем полторы тысячи писем, а также огромное число всевозможных заметок, набросков маргиналий. По обилию подобных материалов Стендаль уступает разве что одному Толстому.

Но все эти биографические материалы хронологически

распределяются далеко не равномерно В биографии писателя и сейчас есть еще досадные пробелы. О некоторых фактах жизни Стендаля мы иногда узнаем лишь по сбивчивым, не всегда ясным намекам или по столь же неясным свидетельствам современников. Во многих случаях А. К. Виноградову приходилось догадываться, конструировать, домысливать. Он был вынужден это делать, так как иначе в его рассказе о жизни и творчестве Стендаля появились бы досадные пустые места.

Но иногда, основываясь лишь на смутном намеке, А. К. Виноградов воссоздавал слишком уж подробную и красочную картину. Исследователю порой изменяло чувство меры.

Остановимся лишь на нескольких наиболее существенных случаях явного искажения жизненного облика Стендаля.

А. К. Виноградов приводит известную автобиографическую запись Стендаля, в которой тот сообщает о своем участии в заговоре Моро. «Так жил он с 1803 до 1806 года, никого не посвящая в свои планы и ненавидя тиранию Наполеона, кравшего свободу у Франции. Мант, бывший ученик Политехнической школы, друг Бейля, вовлек его в заговор в пользу Моро. (1804 г.)» Это было написано 30 апреля 1837 года. Но А. К. Виноградову, очевидно, не была известна другая заметка Стендаля, сделанная им на полях одной книги «Я конспирировал <sup>[1]</sup> в пользу Моро с Мантом, читателем «Идеологии» 30 мая 1836». Обе эти заметки написаны спустя более тридцати лет со времени событий бурного 1804 года. Но во время самого процесса Моро, когда назначенные Наполеоном прокуроры и судьи послушно разыгрывали комедию суда над генералом, Стендаль подробно описал весь ход процесса, со всей определенностью выразив свое к нему отношение. Он писал «Я очень недоволен, что Моро не был осужден, Бонапарт тогда полетел бы вверх тормашками».

Но ни о каком своем участии в заговоре он не писал. И не из соображений конспирации или из боязни репрессий. Весь тон этой записки таков что, будь она известна властям, молодой отставной офицер непременно угодил бы в тюрьму. Дело, думается, обстояло так: Стендаль в то время ненавидел Наполеона, очень уважал генерала Моро, в ходе процесса последнего следил за развитием событий и, как «заговорщик», обсуждал их с друзьями, страстно желая падения Бонапарта. Ни о какой связи

Стендаля с Кадудалем и вообще с активными заговорщиками не может быть и речи.

Несколько иначе обстоит дело с отношениями писателя и итальянских карбонариев. У Стендаля действительно было немало друзей и знакомых

среди итальянских революционеров. Он, безусловно, мог кое в чем помогать им, выполнять их мелкие поручения (перевозить письма, собирать необходимую информацию и тому подобное). Но опять-таки остается сомнительным, что Стендаль входил в какую-либо карбонарскую ветвь. Уважая и восхищаясь революционерами, он весьма скептически относился к их деятельности, справедливо полагая, что путем узких заговорщических обществ нельзя добиться желаемых результатов. Недаром писал он в «Прогулках по Риму»: «Что может быть смешнее человека, который захотел бы купить Лувр за двадцать тысяч франков? Таковы заговорщики». Вообще А. К. Виноградов явно преувеличивает степень организованности и массовость карбонарских обществ. Он говорит даже о «большой европейской Карбонаде», включая в нее не только Уго Фосколо и Сильвио Пеллико, не только Байрона и Буонаротти, но и русских декабристов. Это явное преувеличение.

Не вполне правильно трактует А. К. Виноградов и отношение Стендаля к Италии. Верно отметив любовь писателя к родине Данте и Чимарозы, исследователь пишет в конце концов о том, что Стендаль перешел в итальянское гражданство. Однако в действительности этого не было. А. К. Виноградова, очевидно, смутил тот факт, что сам Стендаль в многочисленных своих завещаниях не раз называл себя «миланцем» (так, между прочим, и написано на его надгробии) Но считать себя итальянцем и юридически принять итальянское гражданство — это все-таки разные вещи.

Есть в книге А. К. Виноградова и более мелкие неточности, которые мы оговариваем в комментариях.

В пору работы А. К. Виноградова над книгой «Стендаль и его время» советскому ученому еще не были известны многие труды французских исследователей, посвященные великому писателю. Достаточно сказать, что в своей книге А. К. Виноградов полемизирует с бесконечно устаревшими и заслуженно забытыми работами Гюстава Лансона или Эмиля Фаге. Не смог воспользоваться А. К. Виноградов и наиболее полным изданием произведений Стендаля, осуществленным в 1927–1937 годах Анри Мартино, крупнейшим знатоком жизни и творчества писателя. Со времени выхода книги А. К. Виноградова прошло уже более двадцати лет. За эти годы изучение творчества Стендаля значительно продвинулось вперед. Много сделано как в нашей стране, так и за рубежом. Уточнены и в ряде случаев исправлены многие даты, разобраны ранее, казалось, совсем не поддающиеся расшифровке рукописи, обнаружены некоторые очень важные документы. Поэтому книга А. К. Виноградова нуждалась в

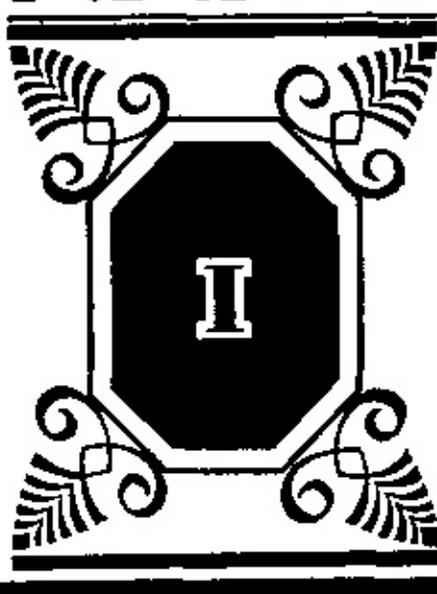
серьезной редакции.

Осуществляя ее, мы проверили и исправили (если это было нужно) все приводимые А. К. Виноградовым даты, фамилии, цитаты из произведений Стендаля и его современников. Но, проверяя стэндалевские тексты, мы везде оставляли переводы самою Виноградова, хотя теперь появилось большое число новых изданий произведений Стендаля, переводы которых, однако, не всегда стоят на высоком уровне. Мы оставили в неприкосновенности все иногда неточные, иногда слишком смелые, иногда спорные выводы А. К. Виноградова, лишь оговорив свое несогласие с ними в комментариях. Большую помощь в этой работе оказала нам рецензия Б. Г. Реизова, напечатанная в «Литературной газете» 5 июля 1939 года.

*А. Михайлов*

# ГЛАВА I

## Г Л А В А



20 февраля 1781 года адвокат Судебной палаты города Гренобля в старинной провинции Дофине Шерубен-Жозеф Бейль сочетался законным браком с дочерью гренобльского доктора господина Анри Ганьона — Аделаидой-Генриеттой-Шарлоттой Ганьон.

Ганьоны происходили из Италии. Если старый Ганьон, в камзоле, в большом парике с буклями, был во всех отношениях французом и даже израсходовал 1 500 франков на покупку «Большого словаря наук, искусств и ремесел», который известен под именем «Энциклопедии» Дидро и Даламбера, то его супруга и в особенности дочь сохранили итальянские черты: любовь к итальянскому языку, к звучным итальянским строфам Петрарки и Данте, страсть к собиранию нотных листков Чимарозы; вместе с характерными чертами североитальянских лиц они оберегли живость, быстроту мысли, веселость и приветливость итальянского характера<sup>[2]</sup>.

Господин Шерубен Бейль — хитрый скопидом, человек себе на уме, не чуждый передовых идей «Энциклопедии», но вместе с тем до трусости осторожный, когда речь заходит об осуществлении взглядов энциклопедистов. А старый Ганьон меньше чем кто-либо стеснялся в

выражениях презрения к деспотизму французского короля, к бездарности и глупости французских чиновников. Однако он придерживался хорошего тона. А резкость политических суждений есть прямое нарушение правил хорошего тона. Поэтому и господин Ганьон и господин Шерубен Бейль сходились в одном: дворянство есть опора трона, а религия есть опора дворянства.

Сам Анри Бейль писал о себе в «Автобиографических заметках»:

«Я родился в Гренобле 23 января 1783 года в семье, заявлявшей претензии на благородство происхождения, то есть принимавшей всерьез дворянские предрассудки, оправдывавшие классовые привилегии. Католицизм почитался в семье, ибо вся семья признавала, что религия есть опора трона. Эта семья, имя которой я ношу, по существу была семьей зажиточных горожан-буржуа. Она слагалась из двух ветвей. Бейль, глава старшей линии, имел капитанский патент, был кавалером ордена святого Людовика и бежал, конечно, за границу, как только представилась к тому возможность. В самом деле, ведь это было не трудно, ибо от Гренобля до савойской столицы Шамбери всего каких-нибудь девять миль.

Другая линия начиналась моим отцом. Эта младшая ветвь семьи Бейлей полагала, что рано или поздно на нее свалится наследство, обеспечивающее тысяч тридцать ливров годового дохода. Но когда мой отец строил перед моим воображением эти воздушные замки, какой-то декрет эпохи террора уничтожил все его иллюзии».

Дофине расположена на юге Франции; она лишь в XIV столетии вошла в состав Французского королевства. Слово «дофин» означает — наследник престола, а первоначальное значение этого слова — дельфин, рыба. На старинных гербах мы часто встречаем изображение дельфина, который опирается на головку якоря и укрепляет его в морском дне. Этот герб был взят в XV–XVI веках итальянскими типографщиками, которые поставляли книжную продукцию дворянам европейских монархов — *in usu delphini* — для пользования наследника. Людовик XI, еще в бытность свою дофином — наследником французского престола, присвоил этот богатый южнофранцузский край, и отсюда-то и произошло название провинции.

Край обладает прекрасным климатом и, пожалуй, самыми красивыми и разнообразными ландшафтами Южной Франции. По обоим берегам Изеры широкая равнина, за которой открывается вид на Бельдонские Альпы с их озерами, снежными вершинами и громадными лесами.

В эпоху религиозных войн в XVI веке огромная часть Дофине была привержена к кальвинизму в очень своеобразном смешении чисто итальянского фанатизма с протестантскою ненавистью к папе. Из

провинции Дофине вышли сильные характеры гугенотов, борцов за свободу совести, прославивших эпоху Генрихов.

В 1788 году Дофине — единственная провинция, которая в обстановке назревшего революционного взрыва самочинно собрала Генеральные штаты (впервые после 1689 года), и притом на началах поголовного, а не сословного представительства.

Бейль с любовью вспоминал именно эти черты своего родного края и всегда несколько преувеличивал подлинную цену дофинского свободолюбия. Он пользовался для характеристики своих героев и их умонастроений эпитетом, «как воздух этой страны, чистый и четкий». Но горожан Гренобля он ненавидел от души. Они платили ему тем же...

Появление на свет нового гренобльского гражданина произошло в пору тяжелую.

Свободолюбие и революционность одной части населения равнялись контрреволюционному фанатизму и мракобесию другой.

Двадцать пять миллионов трудящихся Франции кормили тридцать тысяч дворянских семей, владевших лучшими землями королевства. Король считался помещиком. Дворяне были свободны от каких-либо государственных обязанностей и налогов.

Первое и второе сословия Франции, то есть дворянство и духовенство, составляли один правящий землевладельческий класс. Третьим сословием именовалась буржуазия, которая была лишена политических прав и привилегий. Что же касается народа — крестьянства и мелкого люда городов, то это сословие лишь в процессе революции получило название четвертого сословия. До революции оно просто игнорировалось, считалось как бы несуществующим. Не было крестьянской семьи, которая не платила бы помещику больше половины своего чистого дохода. Большинство многомиллионного французского крестьянства уже давно перешло на положение вечных должников, не имеющих права уйти с земли до полной расплаты с кредитором-помещиком. И не только крестьянин-арендатор, но и крестьянин-собственник, уплативший в удачный год помещику денежный и натуральный чинш, шампар, то есть часть жатвы, не мог рассчитывать на прочность своего владения. Любой сеньор мог когда угодно уплатить собственнику-крестьянину стоимость его земли и согнать с насиженного места по любому поводу — хотя бы потому, что крестьянин из бережливости не хочет печь хлеб в его господской печи, или выжимать сок из винограда в господском сарае, или, как то чаще всего бывало, не захотел смолоть своего хлеба на мельнице сеньора, ибо она не работает, и завел собственную мельницу.

Крестьянские хижины имеют земляной пол. Люди спят на прошлогодней листве, маленькие дети ползают по земляному полу около вороха грязных листьев. Лихие наездники в камзолах со сворами собак, не стесняясь, скачут по крестьянским огородам, если заяц или лисица из помещичьего леса укрылись в крестьянской капусте. Зачастую вместо зайца борзые рвут на части крестьянского младенца. Крестьянин не имеет права жаловаться в суд. Сами крестьяне не имеют права охотиться даже на своих собственных землях, ибо дичь или хищники, попавшие на крестьянские огороды, являются собственностью благородного сеньора.

Сеньор выдавал замуж старшую дочь, и сельские агенты сеньора собирали по крестьянским дворам яичный налог по случаю этого праздника. Это одна из бесчисленных форм обложения, произвол которого варьировал от простых поборов, устанавливаемых по-разному в разных местностях, до единообразных дворянских сборов с товаров при переезде через паром на границе помещичьего имения, с кузниц на больших дорогах. И уже в настоящее стихийное бедствие для крестьян превращался государственный соляной налог, в силу которого соль распределялась не по реальной потребности крестьянина, а как принудительно покупной товар. Эта так называемая «габелль» была истинным бичом крестьянства. Из года в год государственный бюджет Франции зловеще приближал страну к революционному взрыву. Содержание тысячи королевских офицеров в год обходилось в сорок шесть миллионов ливров, то есть ровно во столько, сколько стоило содержание ста пятидесяти тысяч королевских солдат. А тридцать тысяч дворянских семей фактически поглощали весь государственный доход двадцатипятимиллионного населения Франции.

Все народное хозяйство Франции было разъедено язвами прогнившего феодального строя. А недовольство буржуазии, дошедшее до крайнего предела, только ждало какой-либо вспышки, чтобы использовать народное возмущение для своих целей.

Когда указ от короля о новых налогах приходил в провинцию, то он начинал действовать только с момента внесения его в парламентский регистр. Эти слабые и чисто формальные остатки вымерших старинных местных самоуправлений давно находились в пренебрежении. В тех случаях, когда закон, внесенный королем на регистрацию местного парламента, угрожал безопасности местного населения, парламенты в старину давали королю возражения, называемые «почтительными ремонстрациями». Право этих «почтительных ремонстраций» все чаще

и чаще нарушалось Людовиком XVI, вернее тем произволом, который позволяла себе его жена Мария-Антуанетта.

Лишь однажды парижский парламент возвысил голое и составил ремонстрации, в которых указывалось, что «наиболее верное средство к поддержанию преданности народа королю состоит в примере некоторой экономии королевских расходов, в ограничении произвола, царствующего в части податей, а равно в более полезном назначении тех денег, которые собираются с народа путем прямых и косвенных налогов, а расходуются нецелесообразно». Парламент осмелился заговорить о том, что необходим законный порядок!

В 1788 году в самом городе Гренобле произошел конфликт, острополитический по своему характеру, ибо это был конфликт между королевской властью и парламентской магистратурой города Гренобля. Новые королевские законы были предложены к осуществлению без внесения в парламентские регистры Выборные магистраты, то есть полуаристократические, полубуржуазные представители местного населения, входившие в состав парламента как судебного учреждения, были возмущены поведением королевских представителей. Но когда они решили представить королю свои ремонстрации, парламент внезапно был окружен войсками, и королевские эдикты были зарегистрированы *tapu militari*, буквально: «вооруженной рукой», то есть рукой командира того военного отряда, который держал парламент в осаде.

Как относилось правительство Людовика XVI к недовольству в стране? Оно делало все, чтобы уронить себя в общественном мнении.

Фантастические празднества, балеты, утопавшие в роскоши подвесных садов; позолоченные кареты; камзолы, расшитые бриллиантами; скрипичные концерты на семнадцати скрипках Страдивари; ночные празднества при свете десяти тысяч кенкетов; волшебные прогулки в «очарованные гроты», на «острова любви»; напудренные маркизы и надушенные франты в белых париках, в камзолах с брюссельскими кружевами, по десять тысяч каждая манжета, — вот как жил двор в Версале.

Королева охотно прислушивалась к странствующим волшебникам, к восточным магам, колдунам или шарлатанам типа доктора Месмера, провозгласившего новую «эпоху животного магнетизма».

Наконец появился в Париже знаменитый авантюрист, известный под именем графа Калиостро. Он называл себя египтянином, посвященным в таинства природы, знающим средства, исцеляющие от всех болезней и дающие долгий век. К нему обращались все: и франты, испортившие себе лицо померанцевой пудрой или жасминной помадой, и франтихи, у которых появились прыщи от применения медовой воды для умыванья.

Считая пульс богатым старухам, Калиостро точно называл все минувшие их болезни и те, которые ожидают пациентов в будущем. Он рассказывал шепотом старым графиням такие подробности их биографии, что заставлял их содрогаться; он запугивал и выманивал деньги, вынуждая не только раскошелиться, но и разориться.

В кафтане стального цвета с золотым галуном в красном жилете и в красных панталонах, с дворянской шпагой, сверкающей сотней алмазов, в шляпе с белыми перьями, зимой в шубе из голубой лисицы, этот человек произвел сильнейшее впечатление на праздные умы людей, окружавших Марию-Антуанетту.

Калиостро был не один. С ним была женщина которая обладала способностью общаться с духами и заставляла говорить при себе то ангелов света, то гениев тьмы.

Кардинал Роган, один из высших князей церкви во Франции, впал в немилость и, чувствуя нерасположение королевы, захворал. Он обратился за помощью к Калиостро. «Если кардинал болен, — ответил шарлатан, — то пусть придет ко мне, тогда я вылечу. А если здоров, то не нуждается он во мне и я в нем». И высший духовный сановник Франции склонил голову перед странствующим авантюристом.

Граф Каилюс и герцогиня Жевр обращаются к Калиостро с просьбой найти клад, зарытый рыцарем Бертраном дю Гескленом в их имении. Калиостро соглашается помочь, но требует предварительного обряда посвящения в свою мистическую секту, ибо без этого гений металлов откажется отвечать на вопросы его о кладе. В пустом доме на улице Фобур Сент-Оноре в полночь Каилюс и герцогиня Жевр получают прием у Калиостро. Страшные явления, начиная от вестибюля, настолько испугали герцогиню, что она хотела вернуться назад. Тогда провожатый сказал: «Поздно! Самое лучшее — не произносите ни слова». Так оба посетителя направились в апартаменты Калиостро по пустому дому среди ярко освещенных залов, видя странно одетых людей, движущиеся тени, — целый спектакль! На пороге последней двери лежало распятие. Человек в черногубой мантии властно остановил рукой герцогиню и потребовал, чтобы она, наступив на распятие, перешла в следующую комнату. Герцогиня бежала. Дома у нее началась нервная горячка. Граф Каилюс под утро был найден мертвым в постели. Никто не потребовал никакого расследования.

Сам кардинал Роган попался на плутне, о которой шептались гости нотариуса Шерубена Бейля. Интриганка по имени Ламотт уверила кардинала Рогана, что королева хочет тайком купить громадное

бриллиантовое ожерелье, которое ювелиры Бемер и Боссан продают за миллион шестьсот тысяч франков. Королева будто бы не решается сделать покупку открыто, ибо «философы тотчас же напечатают памфлеты о растрате государственных средств». Ламотт заявила, что милость королевы будет возвращена кардиналу, если он сумеет ловко устроить эту покупку. Кардинал пожелал услышать это из уст королевы. Ночью в Версальском парке на одинокой тропинке проститутка Олива, одетая королевой, подтвердила королевскую волю обманутому кардиналу. Покупка состоялась в кредит. Но когда ювелиры обратились со счетом во дворец, плутня открылась. Королева не говорила с кардиналом. Королева ничего не знает. Кардинал уверял, что говорил с самой королевой. Королева была оскорблена. В день успения богоматери кардинал в полном облачении направился в дворцовую церковь для богослужения в присутствии королевской фамилии. Не дойдя до алтаря, он был арестован гвардейским капитаном и допрошен в присутствии королевы.

На суде в качестве подсудимых фигурировали Роган, Калиостро, Олива. Кардинал был оправдан. Калиостро, устроивший всю эту историю и похитивший ожерелье, вышел из парижского парламента с гордо поднятой головой. Вечером дом кардинала был иллюминирован, а Париж распевал веселенькие песенки по адресу королевы, прозванной «госпожой Дефицит», ибо чудовищную покупку бриллиантов и Париж и провинции приписали Марии-Антуанетте.

Тяжелое экономическое положение страны, острое недовольство народных масс и буржуазии усиливали во Франции могучее идейное, философское движение энциклопедистов; это движение подготовляло общественное сознание к неизбежной революционной ломке всего прогнившего феодального строя.

Буржуа развивали промышленность, двигали науку и технику, были учеными, инженерами, саперами на войне, строителями дворцов — тем сильнее они чувствовали унижение от своего бесправия. Капля по капле наполнялась чаша их терпения, особенно когда философ из среды самой аристократии барон Гольбах в достаточной степени разоблачил систему дворянского и церковного лицемерия в книгах «Священная зараза», «Разоблаченное христианство», «Система природы».

Еще раньше Ж.-Ж. Руссо признал за всяким человеком «естественные права на развертывание всех сил и способностей» и звал человека «вернуться на лоно природы», в лоно естественных отношений. Руссо полагал, что когда-то люди для защиты от грозных и сильных явлений природы путем сговора сформировали общество и общественный договор

на заре человеческой истории объединил всех в большое братство. «Все рождаются прекрасными и чистыми из рук творца, и все портится под влиянием дурного общественного строя. Люди испортили общественный договор, забыли его». Они разучились хорошо воспитывать детей и друг друга. И вот возврат к правильному воспитанию чувств и есть то, что необходимо теперь для человека.

Руссо написал «Эмиля» — книгу о воспитании. Он полагал, что достаточно было бы применить опыт хорошего педагога, чтобы новому человечеству были привиты новые чувства. Руссо не видел перед собою тех железных перегородок, какие существовали между отдельными классами общества, когда труд одних давал наживу другим и никакое воспитание не могло заставить помещика лишиться жизненных благ, обеспечиваемых даровым крестьянским трудом.

Дидро, Даламбер, Вольтер, Монтескье, Бюффон, Гельвеций, Рейналь, Морелле, Гольбах, Кондильяк, Мабли, Лагарп, Гримм, Кондорсе и Жан-Жак Руссо приняли решение «объединить знания, рассеянные на поверхности земли, изложить их в общей системе для людей, с которыми мы живем, и передать эти знания людям, которые идут за нами в качестве наших потомков, дабы наши потомки стали образованнее, добродетельнее и счастливее, дабы мы сами могли умереть в сознании исполненного перед человечеством долга».

Такова была широкая программа энциклопедистов. Так назвали их за то, что они эту программу захотели осуществить в форме «Энциклопедии», или «Словаря наук, искусств и ремесел». Они выпустили первый и второй тома, и разразилась буря. Иезуиты, увидев во вновь образованном научном обществе громадную опасность, выдвинули обвинение, что энциклопедисты распространяют неверие. На это Дидро ответил, что авторитет церкви поколеблен любовными приключениями и воровством духовенства.

Полемика довела до требования властей прекратить печатание «Энциклопедии». Дидро захотел перенести печатание «Энциклопедии» в Берлин, но Вольтер, в достаточной степени знакомый с королевской властью в Пруссии, вовремя заявил, что в Пруссии все-таки больше штыков, чем грамотных людей. А что касается «мудрых Афин» (Берлин), то осколок этой мудрости можно еще найти в самом кабинете циничного и ни во что не верящего короля Фридриха, но этим только и ограничивается сравнение столиц Пруссии и Эллады...

С большим трудом в 1756 году вышло продолжение «Энциклопедии» до VI тома. В 1758 году Гельвеций выпустил свой замечательный трактат

«Об уме». Иезуиты добились того, что правительство не только воспретило распространение книги Гельвеция, но и запретило печатание последующих томов «Энциклопедии».

Успех «Энциклопедии» был громаден. Несмотря на требования полиции, получившей списки подписчиков, представлять полученные тома, несмотря на возвращение этих томов из полиции с вырезками и новыми наклейками, «Энциклопедия» получила громадное распространение, и значение ее было колоссально. Она была идейным «артиллерийским дивизионом», который разрушил подступы к самым главным крепостям феодальных привилегий; она суммировала недовольство третьего сословия против аристократии и королевской Франции.

Иезуиты пробрались в типографию и, скинув рясы, превратились в наборщиков и корректоров и целыми страницами подменяли тексты Дидро и Даламбера собственными измышлениями, оправдывавшими римского папу и католическую церковь. Этим ручейком грязи они не в состоянии были засорить океан свежей воды, в котором купалось сознание молодого, познающего свои силы третьего сословия. Дидро временно заболел душевным расстройством, ибо внезапный переход от его собственных мыслей в статьях, им подписанных, к иезуитскому вздору и мракобесию произвел на него впечатление галлюцинаций.

Дело было сделано. «Энциклопедию» читали даже те, против кого она была направлена. Мы можем видеть в Лувре портрет одной королевской любовницы, которая приказала изобразить себя одному из лучших художников Франции в оригинальном виде: она локотком опирается на книжки самого революционного содержания, судя по кожаным корешкам изображенных книг.

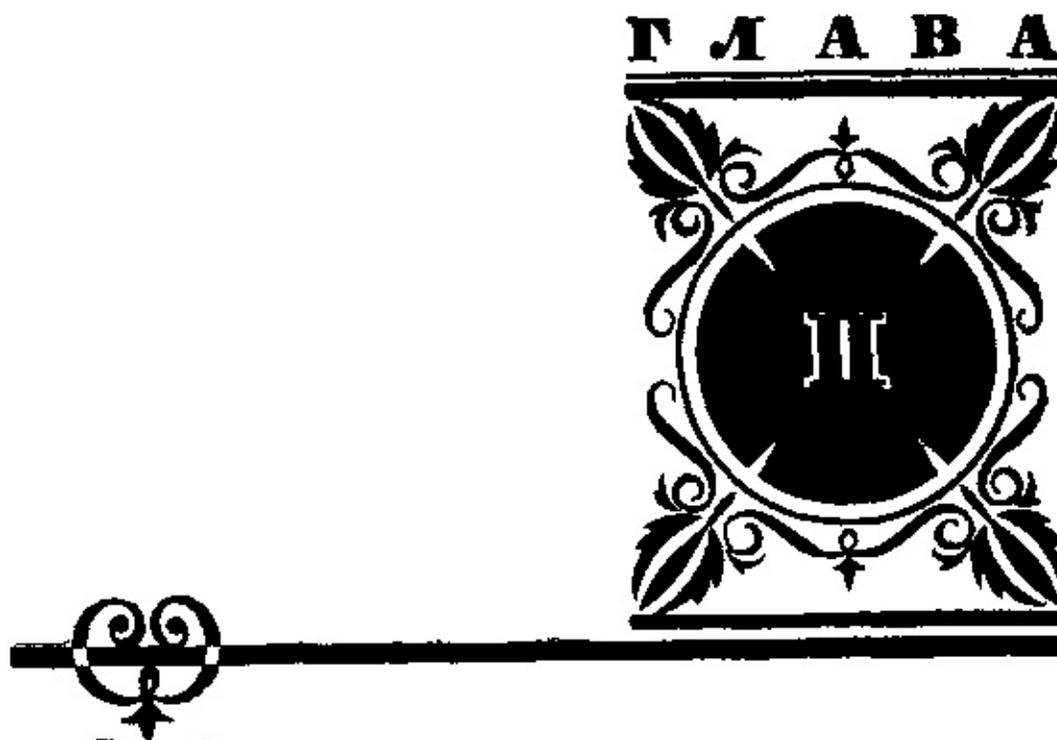
Аббат Сийес написал брошюрку на тему о том, «Что такое третье сословие?». Он перечисляет все богатые свойства этих людей, обладающих инициативой, повышающих значение ремесел и искусств, организаторов науки. Третье сословие, однако, ничто в глазах короля. Чем оно хотело бы быть? Всем — отвечает Сийес<sup>[3]</sup>. Руки коротки — отвечало дворянство. От бога установлены привилегии древнему рыцарству, и нет божьей воли на то, чтобы безродные люди становились украшением престола и церкви, — отвечало духовенство. «Относиться к Монтескье, Вольтеру, Дидро, Гельвецию, Даламберу и Руссо как к общественным отравителям», — таков был единодушный приговор правящей Франции.

Гримм писал: «Дело дошло до того, что в настоящее время нет ни одного человека, занимающего казенное место, который не смотрел бы на успех философии во Франции как на главный источник бедствий

государства. Поражение флота и армии, голод и неурожай в стране приписываются философии, которая погасила военный дух, слепое повиновение авторитету церкви и короля. Философы — главная угроза законному режиму Франции».

Секретные суды выносили приговор за приговором произведениям типографских станков, которые резко и отчетливо шли против бога и короля, требуя равенства сословий и республики. Палач обливал смолою сотни тысяч книг и брошюр во дворе Бастилии и жег их так, как затем жгли книги в фашистском Берлине.

## ГЛАВА II



23 января 1783 года Аделаида Ганьон родила сына, а 24-го числа того же месяца г-н Анри Ганьон и г-жа Мари Раби присутствовали в качестве свидетелей при крещении, и мальчику дали имена восприемников — Анри-Мари Бейль.

Первые детские впечатления Анри связаны с двумя домами. Один — неуклюжий, неприятный, с полутемными и темными лестницами, с перилами, обитыми железом, которое царапало руки, с подвальным этажом, из которого всегда слышались хриплые голоса приезжей и домашней челяди. Это был дом отца на улице Старых иезуитов. Другой дом неподалеку, на площади Гренетт, — это дом врача господина Ганьона.

Спокойный, ясный и жизнерадостный дед был полной противоположностью отцу Анри. На всю жизнь запечатлелись в памяти Анри короткие минуты, когда Аделаида Ганьон навещала своего отца, держа на руках трехлетнего ребенка. Красивая, среднего роста, с волнами вьющихся золотых волос, Голубоглазая, с какой-то особенной, чисто итальянской лучистостью взора, с необычайной чистотой лба и очаровательным цветом всего лица, напоминающим нежнейшие переливы

севрского фарфора, — она смеялась чистым и ясным смехом. Выслушивая шутки отца, она выносила ребенка на широкую веранду со стеклянным коридором, заросшим снаружи плющом и виноградом. Она срывала цветы, пела итальянские песенки, а господин Ганьон внимательно рассматривал своего внука. Он говорил, что Полина и Зинаида Бейль, внучки, «удались меньше», чем внук<sup>[4]</sup>.

Светлые комнаты, стеклянная галерея, приветливый дед, чуточку свысока смотрящий на все, что творится перед его глазами, и звучные итальянские стихи, произносимые грудным тремолирующим голосом матери, — вот впечатления, оставшиеся от ранних детских лет. Запомнились и виноградные заросли в Кле, в двух милях от Гренобля. Неподалеку еще одно милое место — поместье Фюроньер и, наконец, домик в поселке Эшелль. Чего только не было там! И антресоли, и мансарда, расположенная крестообразно над верхним этажом, и лестники, ступеньки, чердак, и закоулки — вся прелесть нелепого деревенского дома, в котором маленькие дети могут находить подобие самой таинственной местности, полной заманчивых, интересных, увлекательных загадок для «Робинзона», ищущего приключений неподалеку от своей кровати.

В сознание пяти-шестилетнего ребенка западали и иные впечатления, далеко не детские!

История с ожерельем королевы обошла всю Францию, Жан-Жозеф Мунье, язвившись с новогодними поздравлениями к г-ну Шерубену Бейлю, возмущенно рассказывал о полном падении нравов королевского двора, о необходимости серьезных реформ. И г-н Анри Ганьон, ссылаясь на своих любимых философов — энциклопедистов, подтверждал тысячами примеров девятнадцатую главу книги Гельвеция «Об уме»: «невежество министров-визирей поддерживает позорное, унижительное состояние народов, являющееся следствием деспотизма. Каждый министр желал бы привести людей в состояние тех древних персов, которые, жестоко избиваемые по повелению государя, должны были являться перед ним со словами: «Мы пришли поблагодарить тебя за то, что ты вспомнил о нас».

Но эти заявления г-на Мунье и тирады Анри Ганьона не встречали сочувствия у стареющего Шерубена Бейля. Он быстро выгонял сына и дочерей, как только начинались политические разговоры или обсуждение парижских новостей.

«Если великий Вольтер, сидевший в Бастилии за сатирические стихи против короля и изгнанный из Франции без всяких законных поводов после столкновения с одним из Роганов, не служит вам примером, то не ждите пощады за ваше осуждение двора ни вы, господин Мунье, ни вы,

уважаемый тесть», — такова была обычная формула старого судейского чиновника, и ею пресекались слишком пылкие фразы г-на Мунье.

Но г-ну Шерубену Бейлю приходилось сдаваться и с горечью выслушивать резкую критику двора, когда в его уютной гостиной появлялся Барнав-старший и приводил с собою молодого сына, адвоката Антуана Барнава.

Антуан Барнав никогда не мог забыть давнишнего случая с его матерью в гренобльском театре. Губернатор провинции герцог Клермон Тоннер вошел в театр перед самым поднятием занавеса, занял места в переднем ряду и, не видя, куда можно было бы приткнуть двух своих челядинцев, приказал сержанту полиции согнать с места г-жу Барнав с девятилетним сыном Антуаном. Когда госпожу Барнав силой стащили с кресла, а мальчика сбили с ног пинками, публика в знак протеста покинула театр. Гренобльские горожане, собираясь у Барнавов, выражали им свое сочувствие в течение целой недели. Театральный сезон был сорван. Театр пустовал, а герцог Клермон Тоннер написал в Париж реляцию о сопротивлении гренобльской буржуазии правительству.

Буржуа любили дворянские титулы. Они охотно покупали личное дворянство. Дворянские гербы дорого стоили. Надо было копить деньги и быть бережливым. Но сколько ни плати и как роскошно ни одевайся, все равно любой Клермон Тоннер может согнать тебя с кресла в театре при посредстве полицейского сержанта. А письмо, посланное Клермоном Тоннером королю, будет прочитано, в то время когда письмо г-на Барнава не будет даже принято на почте в адрес Версаля.

«Напрасно министры вроде господина Тюрго или Неккера стремятся поправить расшатавшееся хозяйство Франции. Страна, несомненно, идет к гибели, — говорит Барнав, — только живые силы третьего сословия могут спасти Францию».

Барнав и Мунье были теми людьми, которые пробудили раннее политическое любопытство в Анри Бейле, будущем Стендале.

Современники и сам Стендаль отмечают чрезвычайный блеск речи и увлекательность выражений Барнава. Жорес дает характеристику Барнаву как «одной из любопытнейших личностей той эпохи, несшей на себе некоторые черты самого Стендаля». Жорес хочет сказать, что маленький Бейль, в детстве видевший и слышавший знаменитого соотечественника, воспринял и воспроизвел некоторые черты Барнава.

Резко обрывая собеседников, буквально затыкая глотку стареющему Шерубену Бейлю, молодой Барнав указывал по примеру Гельвеция на то, что движущей силой в развитии общества являются не мнения, а интересы,

что идеи и интересы — это одно и то же, что материальные побуждения двигают мировой историей и что победителем в этой борьбе будет та общественная группа, которой удастся наладить соотношения производительных сил. Следуя за Гельвецием, Барнав, не стесняясь присутствием мальчика Анри, ниспровергал религию, сводил к материальным причинам решительно все явления церковного, государственного строя, указывал на чрезвычайную относительность морали и правил поведения, на текучесть и быструю перемену содержания одних и тех же понятий на протяжении десятилетия<sup>[5]</sup>. И как бы в ответ мы читаем в письме молодого Бейля от 29 января 1803 года из Парижа к сестре Полине следующие строчки, посвященные Барнаву и Мунье:

«Посуди сама, Барнав и Мунье были только мелкими адвокатами, как и все они в Гренобле. Но оба они достигли высоких степеней славы. По моим наблюдениям, Париж раздвинул пределы этой славы, ибо в Гренобле, в среде своих братьев, они не могли бы так развернуться: большинство сотоварищей ревниво закрыло бы им дорогу.

Существует верное правило, которое позволяет узнать человека, рожденного для славы: если кто-либо ненавидит людей, стоящих выше, если кто-либо к людям с высокими умами проявляет ненависть, то такой человек навсегда останется посредственностью.

Отсюда — человек, завидующий всему миру, всегда останется убогим человеком. Барнав будет мне служить примером для доказательства того, что человек, воодушевленный великими страстями, сумеет возвыситься над теми, кто этими страстями не обладает. Взгляни, например, на Бартелеми д'Орбана (того, который показывал мне гримасы). Когда он выступил в начале революции, он был более вооружен знаниями, нежели Барнав. Однако какая огромная разница между этими двумя людьми! Через десять лет перестанут говорить о Бартелеми д'Орбана, а пройдет сто лет — и еще не перестанут цитировать Барнава как великого человека, скошенного на пороге юности. Ты уже сейчас замечаешь по тону, когда говорят: «господин д'Орбан» и коротенько произносят: «Барнав».

Последняя фраза в частном, семейном письме двадцатилетнего Бейля свидетельствует о горячности отношения к человеку Барнаву, а не политику Барнаву.

Когда под давлением грозных событий при дворе в 1787 году решились созвать «Совет Нотаблей», то есть знатных представителей дворянства, для суждения о важнейших государственных мероприятиях, молодой Барнав и Мунье полностью ушли в политику.

21 июля 1788 года в самом Гренобле движение захватило широкие

круги буржуазии. По инициативе муниципалитета города собрались Генеральные штаты — представители трех сословий провинции в замке Визиль, где коноводами либеральных буржуа выступили Барнавы — отец и сын, вместе с Мунье сформировавшие негласный комитет, который внес предложение потребовать от короля созыва Генеральных штатов. К этому времени относится первая политическая брошюра Барнава, посвященная Визильскому съезду.

Мунье во время подготовки выборов в Генеральные штаты первый пустил мысль об удвоенном количестве представителей третьего сословия (то есть о равенстве числа членов третьего сословия и первых двух вместе). Когда 20 июня 1789 года королевский представитель объявил о роспуске Генеральных штатов<sup>[6]</sup> и депутаты третьего сословия собрались в зале Jeu de paume, Мунье предложил произнести клятву «не расходиться до окончания законодательных работ». В 1792 году Мунье, оставшись сторонником конституционной монархии, сложил добровольно звание депутата, удалился в Германию. Он там переждал бури и политические грозы, вернувшись на родину уже во время империи Наполеона, и тихо и незаметно дожил свой век.

Барнав, речами и письмами нанесший разительный удар старому французскому режиму, внезапно возгорелся чувствами преданности лично к королю и особенно к королеве. После 10 августа 1792 года он вместе с Ламетом был обвинен в переписке с двором, попал в гренобльскую тюрьму, потом предстал перед революционным трибуналом в Париже и был обезглавлен. В 1913 году в фамильном архиве Фрезернов-Пиперов нашли письма Марии-Антуанетты к Барнаву. Они показывают, что этот странный человек был пойман в ловушку и что Мария-Антуанетта тонко разбиралась в людях и умела скомпрометировать врагов монархии.

Но вернемся к биографии Бейля.

Наступил 1789 год. Собрались Генеральные штаты, объявили себя Национальным собранием<sup>[7]</sup> (17 июня 1789 года), постановили не расходиться, пока не выработают конституции (20 июня). А 14 июля народ взял приступом Бастилию. Разгорался революционный пожар, и искры его долетали до Гренобля. Анри с особенным волнением слушал все, что говорилось об этих событиях, потому что еще 7 июня 1788 года он впервые увидел кровь революционного народа.

В истории Дофинезского революционного движения этот день называется «днем черепиц». Из окон комендантского управления губернатор Клермон Тоннер видел, как с Эйбанских холмов спускаются

толпы повстанцев со знаменами. Он выстрелил, два полка ударили в штыки, а горожане, взобравшись на крыши, снимали тяжелые черепицы и кидали их в солдат. С Новой улицы двигался отряд под командой унтер-офицера Бернадотта. Произошло кровавое столкновение. И маленького Бейля отгаскивали от окон, так как он не мог оторваться от страшного зрелища. В «Жизни Анри Брюлара» он подробно повествует об этом, замечая, что именно этот Бернадотт был сделан шведским королем. С пяти лет революция вошла в его жизнь и надолго стала повседневным бытом.

В судьбе ребенка происходит роковая перемена. Он осиротел не полных восьми лет от роду — Аделаида Бейль умерла в 1790 году. Г-ну Шерубену Бейлю было в тягость возиться с детьми, управлять большим недвижимым имуществом и продолжать работу нотариуса и заслуженного адвоката гренобльского парламента. Он был еще не стар, когда скончалась его супруга. Крестьянки окрестных сел и деревень, ходившие на работу в Фюроньер, в Кле, в Эшелль, очень скоро испытали на себе тяжелые прихоти г-на Шерубена Бейля, который нелегко сносил положение вдовца. А затем в доме появилась тетка Серафия, сестра покойной супруги.

Незамужняя дочь доктора Ганьона, г-жа Серафия, как всегда называет ее Бейль в своих записках, по-прежнему звалась «мадемуазель», хотя, сначала негодуя и плача, а потом по привычке, она должна была занять при адвокате Шерубене Бейле место своей умершей сестры...

В семилетнем возрасте мальчик узнает такие стороны жизни, которые озлобляют и ожесточают душу. Шарканье ночных туфель из комнаты Серафии до кабинета отца, побои, наносимые слугам тяжелой рукой тетки Серафии, и кухонные сплетни, очень рано подслушанные, — все это разрушает родительский авторитет и делает мальчика настороженным и насмешливым. Трудно биографу определить, что было тяжелее маленькому Бейлю — смерть горячо любимой матери или равнодушие нелюбимого отца. Потеря матери ощущалась еще тяжелее потому, что отец никогда по-настоящему не был отцом.

Анри и его сестры были переселены, к их великой радости, в дом старого Ганьона. И с первых дней мальчик полюбил простор большого парка, расстилавшегося за пределами дома. По ступенькам крытой террасы, мимо пальм и агав, упиравших в стекла веранды свои толстые мясистые листья, он привык убегать с сестрами на левый берег Изеры и очень рано понял прелесть такого сиротства, при котором отец не мешает никаким ребячьим забавам.

В доме доктора Ганьона главные заботы о детях приняла на себя мадемуазель Елизавета, сестра доктора Ганьона, благородная,

бескорыстная женщина, сухая, высокого роста, с ясными глазами и с тем особенным видом самоотречения, который является отличительным свойством людей, много страдавших непонятными и никому не нужными страданиями. Ее незлобивость расположила к ней внучат, которые нашли в ней постоянного защитника от тетки Серафии, военные действия против которой начались с первых дней сиротства. Бейль повел наступление как опытный стратег и великолепный «беспризорный» тактик.

У Серафии была подруга мадам Шенева, строгая дама, помешанная на католическом ритуале. Она считала своим долгом вмешиваться в воспитание Анри Бейля и его сестер. И вот маленький человек взбирается на чердак дедовского дома, спрятав под полою огромный кухонный косарь для колки древесного угля. И когда мадам Шенева проходит по тротуару, визгливым голосом окликая болонку, громадный металлический предмет, почти превышающий рост воинственного мальчика, низвергается сверху и вонзается в землю у самых ног госпожи Шенева<sup>[8]</sup>

Вечером заседает семейный трибунал. Г-н Шерубен Бейль в четвертый раз вынимает табакерку. Он задыхается от смеха и чихает в зеленый шелковый платок. А тетка Серафия, поднося костлявый кулак к картошкообразному носу маленького Бейля, в сотый раз повторяет, что из этого проклятого мальчишки может выйти только дорожный бригадир и что его отвратительная жизнь несомненно окончится на виселице.

Произошел раскол, сестра Зинаида сделалась ярой сторонницей тетки. Сестра Полина подружилась с маленьким Бейлем. Бейль и Полина составили республиканскую партию. Зинаида выдавала все их разговоры, подслушивала, подсматривала.

Бейль в первоначальном наброске своих воспоминаний о детских годах записывает следующее:

«Я был отчаянный республиканец, что вполне понятно. Родители мои были крайними роялистами и ханжами...

В довершение всех бед я соорудил себе небольшое трехцветное знамя, с которым торжественно прогуливался один по необитаемым комнатам обширного нашего дома в дни республиканских побед... Меня подстерегали, ловили, обзывали «чудовищем». Родные плакали от бешенства, я рыдал от восторга. «Прекрасно! — вскричал я однажды. — О, как сладко пострадать за отечество!» Кажется, меня избили, что, впрочем, случалось весьма редко. Но самое главное — в клочья разорвали мое знамя. Я решил, что я мученик за отечество, и пламенно возлюбил свободу... У меня было два или три изречения, которые я всюду писал. К большому моему огорчению, я их совершенно забыл. Они вызывали у меня

слезы умиления. Вот одно, которое мне удалось вспомнить: «Жить свободным или умереть». Я предпочитал его, как более красноречивое, другому, которым обычно его заменяли: «Свобода или смерть!» Я обожал красноречие с шестилетнего возраста. Думается мне, отец, наверное, передал мне свое восторженное преклонение перед Жан-Жаком Руссо, которого затем проклял как антимонархиста».

Шерубен Бейль не только проклял Руссо, он тщательнейшим образом запирали книжный шкаф. Мальчик подобрал ключи и, расставляя тома Вольтера так, чтобы незаметно было освободившееся пространство, убежал с книгой куда-нибудь подальше, в тень платанов, и запоем читал Вольтера, Руссо, энциклопедистов.

А у деда можно было открыто читать том за томом «Энциклопедию» и даже — с величайшим наслаждением — трактаты Гельвеция.

Там были запрещенные и сожженные рукой палача книги, но там же была и «Эротическая Фелиция, или мои Фредены» — книжка, повергшая мальчика в безумие эротической фантастики на целые месяцы. Но, как бы парализуя эти влияния, действовали другие впечатления: тихонько, с дедом, а иногда и один, мальчик входил в запущенные, вечно бывшие под замком комнаты любимой дочери доктора Ганьона — Аделаиды Бейль. Лютня, портреты итальянских поэтов, ноты простонародных итальянских песен, слабый аромат когда-то живых и резких духов пробуждали воспоминания неизгладимые, но потерявшие контур, и образ матери вставал, как пленительное видение, которое давало защиту от тяжелых, отвратительных явлений жизни.

Об этих впечатлениях никому не говорилось; они впервые были записаны после возвращения с холма Яникула в Риме. Солнце заходило за Монте Альбано, в воздухе была восхитительная теплота, а пятидесятилетний Бейль вместе с ощущением невероятной радости жизни почувствовал, что жизнь прожита. Это было написано уже в 1832 году...

Среди детских воспоминаний Бейля резко выделяются упоминания о преподавателях. В двух-трех строчках рассказывает он первое впечатление о театре, где он видел корнелевского «Сида», но подолгу и с негодованием останавливается на тех людях, которые совершали дикий и отвратительный эксперимент над душой ребенка.

Ультраправый адвокат Шерубен-Жозеф Бейль, казалось, сорвался с цепи и, потеряв свою обычную лукавую расчетливость и практическое чутье, так яростно демонстрировал свою преданность королю и католической церкви, что друзья сочли необходимым предложить ему некоторую умеренность в высказывании взглядов, «ибо существует

противоположная партия».

Новая французская конституция требовала от служителей церкви присяги. Священники восставали против «адова измышления». Они отказывались присягать и тайком уносили причастие; переодевшись, они ютились по частным домам и подвалам, приобщали графинь и старых маркиз, которые искали «священников, не оскверненных революционной присягой»; это длилось до тех пор, пока санкюлоты парижских революционных секций не выволакивали их из подвалов и не вешали на ближайшем фонаре. Такие неприсягавшие попы были обнаружены Бейлем, когда он по холодным и скользким лестницам, обитым железом, спустился в подвал собственного дома: он увидел, как грязные, засаленные люди с остатками пищи на небритых усах вылезали наверх, и услышал, как один из них сипло говорил любезности старой горничной г-на Шерубена. Этот священник — аббат Райян — волей отца сделался учителем маленького Анри Бейля, когда умер первый преподаватель латинского языка Жубер. Маленький худой человек с зеленоватым цветом лица и беспокойной ласковостью взгляда был воспитателем не только Анри Бейля, но и Казимира Перье, одного из реакционнейших министров при Луи-Филиппе. Этот период своей жизни Бейль называет временем райяновской тирании.

«В воспоминаниях об аббате Райяне нет ничего утешительного, — пишет он, — ничего, кроме уродства и грязи, и я уже не менее двадцати лет с отвращением отвожу взор от воспоминаний об этой ужасной эпохе. Этот человек мог бы сделать из меня негодяя, ибо он был превосходным иезуитом... Если бы его правила привились ко мне, я был бы теперь богат, но был бы негодяем, и меня не посещали бы очаровательные видения прекрасного, которыми часто бывает полно мое воображение...

Райян, совсем как министерские газеты наших дней, только и говорил нам об опасности свободы.

Я был мрачным, угрюмым, недовольным... Я ненавидел аббата, ненавидел отца как причину появления этого аббата. Но более всего я проникался ненавистью к религии вообще, к той религии, во имя которой меня терзали. Я доказывал моему товарищу по кандалам, робкому мальчику Ретье, что все, чему нас учили, было пустыми сказками... У нас была большая иллюстрированная библия в зеленом переплете с гравюрами на дереве. Что может производить на детей большее впечатление? А я был все время занят разыскиванием несообразностей, нелепостей, противоречащих честному и здравому смыслу, в этой бедной библии».

Единственный аббат, который оставил светлые воспоминания в памяти мальчика, — аббат Шелан, особый тип вольтерьянского аббата: культурный

почитатель античной поэзии, только по внешности служитель культа, но в душе эпикуреец-безбожник, любитель Мабли, автора «Республиканской истории Рима», почитатель Рейналя, одного из самых интересных людей эпохи Просвещения.

Приезды аббата Шелана были отдыхом для маленького Бейля. С ним можно было говорить о том, что Авраам, занимавшийся астрономией, был гораздо меньшим негодяем, чем все остальные библейские герои. Шелан спокойно и благодушно выслушивал изречения маленького ересиарха Бейля.

Мальчик находит в библиотеке имени Кле «Дон-Кихота» на французском языке. Бейль пишет: «Я смеялся до упаду над «Дон-Кихотом». Подумайте о том, что я не знал смеха со дня смерти моей бедной матери. Я был жертвой самого последовательного аристократического и религиозного воспитания».

За чтением книги «Брюсовские путешествия в Нубию и Абиссинию» также отдыхал от иезуитских мучений мозг мальчика. Брюс пробудил в маленьком Бейле любовь к точным наукам, к картографии, к математике. Бейль пишет: «Возникла гениальная мысль: математика откроет мне путь из Гренобля в открытый мир». Иезуит Райян хорошо знал математику и вселял в голову Анри не только сомнение в абсолютности ее истин, но и мысль о суетности светских наук вообще. Эвклидовская аксиома о непересечении параллельных линий была начисто разбита уже на первых уроках: было начато разрушение математических истин, которые должны были уступить место вере.

Геометр Луи-Габриэль Гро, посетитель местного революционного клуба якобинцев, вместе с уроками математики преподавал маленькому Бейлю самые крайние политические взгляды. Он рассказывал, как в одно прекрасное утро Париж остался без хлеба, как вооруженный народ сбил с ног королевскую охрану, как короля и королеву с наследником перевозили из Версаля в Париж при громких криках, что «ежели главный булочник с главной булочницей переедут в Париж, то, конечно, подвоз хлеба возобновится». Он рассказывал о том, как санкюлот надел на короля красный фригийский колпак, бывший знаком позора шатовьесского штрафного батальона, арестовавшего своих офицеров за кражу солдатских денег. Он говорил, что с этой поры красный фригийский колпак сделался головным убором революционного Парижа и что вместо белого бурбонского знамени с лилиями возник новый национальный флаг Франции: белый бурбонский цвет сделался третьим наряду с синим цветом города Парижа и красным цветом фригийского колпака.

Якобинец Гро вселял ненависть к королю, любовь к республиканской доблести римлян. Революционное законодательство уничтожило дворянские привилегии и превратило гигантский земельный фонд французской аристократии в национальную собственность, и старый Бейль почувствовал себя истым дворянином!

Каждый день, собираясь за обеденным столом перед наступлением сумерек и еще не зажигая света, тетка Серафия и старый Бейль вполголоса говорили: «Они никогда не посмеют выполнить свой гнусный приговор». В Париже Конвент судил короля за измену, за сношения с иностранными правительствами, начавшими войну против Франции.

Маленький Бейль отворачивался, чтобы скрыть свое негодование.

«Почему же не казнить короля, если он изменник?» — думал он.

Наступил вечер 28 января 1793 года. Мальчик сидел в кабинете отца на улице Старых иезуитов. Приходили зимние сумерки, надвигалась январская ночь. При свете ламп Бейль читал «Манон Леско» аббата Прево, когда раздался грохот тяжелой почтовой кареты и мальпост, сотрясая звенящие стекла, промчался на постоялый двор. Это был лионский курьер.

— Нужно пойти узнать, что сделали эти негодяи, — сказал отец, вставая.

«Надеюсь, что предатель казнен», — подумал я. Затем я стал размышлять о крайнем различии чувств моих и моего отца. Я нежно любил полки революционных солдат, в красивом строю шедших по Гренеттской площади. Я живо представлял себе предателя-короля, который хочет, чтобы этих молодых людей искрошили австрийские штыки».

Пока мальчик размышлял об этом, открылась дверь, зимний холод и пар ворвались в комнату. Вернулся отец.

«Я еще помню его в сюртуке из белого молетона, который он не снял, выйдя на улицу.

— Конечно, — сказал он с тяжелым вздохом. — Они его убили.

Меня охватил прилив радости, один из самых сильных, какой я испытывал когда-либо в жизни. Читатель, может быть, найдет, что я жесток, но каким я был в десять лет, таким остался и в пятьдесят два года. Когда в декабре 1830 года этот наглый мошенник де Перроне и другие (министры реакционного Карла X, вызвавшие взрыв июльской революции 1830 года.—А. В.), подписавшие ордонансы, не были казнены, я сказал: «Парижские буржуа принимают свою душевную холодность за цивилизацию и великодушные...»

Я так был восхищен этим актом народного правосудия, что не мог больше читать «Манон Леско» — один из наиболее трогательных романов».

Террор не был силен в захолустном Гренобле. Бейль вспоминал впоследствии о казни только двух человек — священников-контрреволюционеров. Десятилетний Анри смело выразил свое восхищение этим актом, за что был наказан и отцом и ненавистной Серафией.

Двоюродный брат Бейля Ромен Коломб в записках говорит о политических колебаниях Бейля, о неясности его идеалов и стремлений. Подготавливая издание собрания сочинений Анри Бейля, господин Ромен Коломб стремился всячески измерить политическую революционность Бейля своей собственной гренобльской меркой. Вся последующая французская критика, а за ней многие русские историки и псевдоисторики шли по пути истолкования Стендаля как аристократа, бонапартиста, эстета и сноба.

«Анри Брюлар» — автобиография Стендаля — рисует нам детство Бейля совершенно иначе. Одиннадцатая глава рассказывает о том, как после опубликования «Закона о подозрительных» в город Гренобль осенью 1793 года приехали граждане Амар и Мерлино, представители народа. 10 декабря 1835 года Бейль записал:

«Это были два представителя народа, прибывшие в один прекрасный день в Гренобль и опубликовавшие через некоторое время список ста пятидесяти двух основательно заподозренных контрреволюционеров, а затем трехсот пятидесяти просто подозрительных лиц, взятых под наблюдение...

На мою семью опубликование этих двух списков подействовало, как удар грома».

С нескрываемым восторгом воспроизводит Бейль впечатление первых минут детской свободы, когда ненавистный контрреволюционер — отец — попал в тюрьму. Двадцать два месяца он числился в списках и сорок два дня провел в тюрьме.

Десятилетний мальчик, заложив руки за спину, заявляет отцу: «Амар внес тебя в список лиц, подозреваемых в том, что они не любят Республику. А я не сомневаюсь в том, что ты ее не любишь». При этих словах все покраснели от гнева, и меня чуть не отправили под замок в мою комнату. Меня бойкотировали, со мною не говорили. Я думал: «Это же настоящая правда — то, что я сказал. Отец похвалится своей ненавистью к новому порядку вещей... Какое же он имеет право сердиться?»

Следующим актом своеобразной гражданственности десятилетнего Бейля было так называемое «письмо Гардона». Священник, снявший с себя сан, гражданин Гардон, всей душой отдавшийся революции, организовал

детский батальон «Эсперанс» по типу спартанских военных школ молодежи. Военные игры, лагерные стоянки, дефилирование на площадях с песней Марсельского батальона — все это произвело сильнейшее впечатление на молодого Бейля, которого тщетно старались не выпускать из комнаты. И вот он взял лист бумаги, не похожий на обыкновенные ученические листы, и от имени Гардона написал уверенным, взрослым почерком предложение своей семье послать юного Анри Бейля в Сент-Андре для зачисления в «Батальон надежды». Тетка Серафия поручила департаментскому писарю Турту сличение почерков. Бейль записывает это событие и новую ссору с отцом и теткой:

«Лучше я буду обедать в одиночке, — сказал я им, — чем с тиранами, которые все время ругаются».

Тираны все же вынуждены были начать обучение маленького Бейля в согласии с новыми законами Франции. Бейль поступил в Центральную школу, открытую в силу декрета Конвента 25 февраля 1795 года по плану, разработанному французским философом Дестютом де Траси. А в школьном президиуме к тому времени заседал основатель гренобльской публичной библиотеки, местный философ и дед Анри Бейля — доктор Анри Ганьон.

«Начались пленительные годы моего обучения, — писал Бейль, — но в товарищах я нашел эгоистичных буржуа».

Анри вступил в школу в 1796 году. Революция уже пошла на убыль. Давно отгремел грозный 93-й год якобинской диктатуры. В 1794 году Робеспьер казнен, якобинская диктатура уничтожена. Молодые революционные армии уже отразили первые натиски интервентов, перешли в наступление и водрузили трехцветное знамя в Бельгии, Голландии, Италии. Восходила звезда Бонапарта. Буржуазия и утомлена и напугана размахом революции. Она хочет покоя и порядка, хочет разобраться в том, что успела захватить, чтобы мирно наслаждаться плодами победы. Крестьянство, его зажиточная верхушка в первую очередь, также жаждет передышки; феодальные повинности уничтожены, сеньоры прогнаны, земля захвачена. Ее нужно пахать... А беднота городов и деревень требует, чтобы весь урожай по твердым ценам отдавался государству... Нет, крестьянство на это не согласно. Оно переживает медовый месяц собственности, равно как и торговцы не хотят закона о «максимуме» цен на продукты.

Наступает период термидорианской реакции. Буржуазная контрреволюция торжествует победу над народными массами, над теми, кто своей кровью завоевал для нее победу, а отныне должен своим трудом

доставлять ей наживу...

Белый террор — расправа с якобинцами, с «бешеными», с цареубийцами — свирепствует и в Париже и в провинции.

Наконец и самый Конвент, Конвент термидорианский, «очищенный» от якобинцев, от «Горы», прекращает существование, на смену ему приходит открытая форма буржуазной контрреволюционной диктатуры — Директория (27 октября 1795 года).

И начался еще больший, чем в первые дни термидора, разгул неистовых спекуляций, вакханалия наживы на поставках, на продажах и скупке имущества, на обесценении ассигнаций, на вздувании цен... «Эти ужасные санкюлоты достаточно насладились, теперь наш черед», — и Париж покрылся игорными домами, шикарными притонами разврата, увеселительными заведениями, в которых уцелевшие представители старой знати, разбогатевшие откупщики, высшие чиновники во главе с самими «директорами» наслаждались жизнью...

Хотя Бейль писал, что в школе вместо благородных и самоотверженных товарищей он встретил сухих, черствых, расчетливых, эгоистических буржуа, но это не помешало ему в описываемые годы подружиться с Бижильонами. Анри, прозванный «Ходячая башня», позабыв застенчивость, влюбляется в сестру братьев Бижильонов — Викторину, почти так же сильно, как был он влюблен в сестру Мунье, тоже Викторину (см. портрет, сохранившийся в рукописях Бейля). В позднейших записях он сам признает себя виновным в том, что оборвалась эта долгая хорошая дружба, прекратились поездки в долину Изеры. В деревенском доме Бижильонов, за ореховым столом, покрытым скатертью из грубого домотканого холста, подростки Бижильоны и Бейль ели сушеный виноград и непросеянный хлеб, одним словом «жили, как живут молодые кролики, играющие в лесу и мимоходом питающиеся молочаем».

Через год Бейль вызывает ученика, прозванного «Голиафом», на дуэль из-за эпиграммы. С заряженными пистолетами дуэлянты отправляются в соседний лес. Юные доносчики вызывают школьную администрацию, дуэль прерывается.

Двадцать вторая глава «Анри Брюлара» рассказывает:

«Весь Юг был взволнован осадой Лиона. Я был за Келлермана и республиканцев, мои родные — за эмигрантов и Пресси». И далее: «Осада Тулона меня сильно волновала».

Но все это было в часы досуга. Основное время было занято подготовкой к выпускным экзаменам. С ними была связана надежда на отъезд из Гренобля.

Три года подряд, с 1796 по 1799 год, Бейль был увлечен математикой как наукой, «освобождающей от Гренобля», — так по крайней мере сам он истолковывал для будущих читателей свои математические увлечения. Умение чувствовать ярко, остро и непосредственно никогда не мешало ему мыслить стройно, логически и разумно. «La langue de la calcule» — язык вычислений привлек Бейля гораздо раньше, чем язык литературных образов и эмоций. Ненависть к «здравому смыслу» как к сумме обывательских благоразумий давала ему возможность увлекаться вещами, достойными с точки зрения разума. Отсюда внутренняя собранность мыслей и чувств.

Бейль очень рано научился анализировать явления, исследовать подлинные мотивы человеческих действий и вносить элемент оценки в тот почти математический анализ, с которым он подходил ко всякому поступку или проявлению общественной энергии. Вот почему математика давала удовлетворение молодому Бейлю не только как средство в будущем избавиться от Гренобля, но и как «абсолютно точный источник истины, утоляющий юношескую жажду правды».

Но главную роль в формировании взглядов молодого Бейля еще в Гренобле сыграл один из замечательнейших людей тогдашнего времени — Клод-Адриан Швельцер, принявший латинскую фамилию Гельвеций.

Бейль писал:

«Опорой для меня был лишь мой здоровый разум, веривший в книгу Гельвеция «Об уме». Я намеренно употребляю слово «веривший». Для меня, воспитанного под колпаком и горящего тщеславием, для меня, получившего свободу только благодаря поступлению в Центральную гренобльскую школу, для меня Гельвеций мог быть лишь совокупностью предвидения того, что я должен встретить в жизни».

Сочинение «De l'esprit» вышло в начале августа 1758 года и наделало столько шума, подверглось такому преследованию, как не многие книги.

Ни «Трактат об ощущениях» Кондильяка, ни книга «Человек-машина» Ламетри не напугали до такой степени королевскую Францию и римскую церковь, как замечательный трактат Гельвеция.

Уже самое начало трактата «Об уме», где Гельвеций говорит о том, что он предполагал составить теорию нравственности так, как составляется экспериментальная физика и другие науки, породило целую бурю негодования. А защита свободы мысли, права философа нападать на заблуждения в поисках истины не могла не вызвать ненависти иезуитов.

С точки зрения Гельвеция, две причины производят явления духовной жизни: физическая чувствительность и способность сохранять

впечатления, полученные в результате ее. Эта способность есть человеческая память. Вот из этих чисто материальных свойств человеческого существа и развилось то, что называется у людей духом или умом.

Гельвеций проводит в дальнейшем разницу между животными и людьми как носителями элементов ума. Он указывает на то, что человеческая организация гораздо более совершенна, а ум есть самый совершенный вид материи. Гельвеций, посещавший естествоиспытателя Бюффона, использовал чисто бюффоновское различие между рукой и копытом для анализа отличия духовной организации человека от духовной организации животных, отстоящих друг от друга, как рука живописца от коровьего копыта.

Гельвеций полагает, что ложные суждения являются результатом или наших страстей, или нашего невежества. Страсти приковывают все наше внимание лишь к одной стороне предмета, который рисуется нашему воображению. Значит, влияние страсти — это влияние элиминирующее, избирательное, в то время как невежество закрывает для нас предмет или целиком, или его основные свойства. Значит, в отличие от влияния страсти невежество делает нас пассивными в отношении предмета, а страсть — повышенно активными лишь к одной стороне его. Однако Гельвеций указывает и на огромную положительную роль страстей, ибо страсти, облагороженные, служат источником великих подвигов, открывают нам силу, нужную для прогресса, обогащают наше просвещение, вырывают нас из объятий лени и инертности, удушающей лучшие силы нашего духа.

В основе первого рассуждения Гельвеция лежало замечательное заключение: «Заблуждение отнюдь не присуще природе человеческого ума». Он приходит к выводу, что все люди обладают умом, в основе своей правильным. Нет аристократических и плебейских истин, а есть универсальное равенство ума, при котором истины добываются большей или меньшей напряженностью вложенного умственного труда. В оценке тех или иных явлений единственной истиной является интерес.

Слово «интерес» понимается Гельвецием в широком и распространительном смысле. Интерес или выгода любой идеи — это главное мерило и единственный способ определения ее ценности. Гельвеций говорит, что для всякого маленького общества понятие честности есть результат большей или меньшей привычки к полезным для этого маленького круга или маленького общества действиям. И не существует такого добра, которое люди любят ради него самого, равно как не существует такого зла, которое люди ненавидят просто потому, что это

принято называть злом. Люди вовсе не злы, говорит Гельвеций, а подчинены своим интересам. В одной группе людей эти интересы усматриваются в одной форме связи явлений, действий и предметов, а в другой эта связь определяется иными элементами, «в зависимости от того, какая группа общества и какой класс берет на себя оценку добра и зла, нравственного и безнравственного, честного и бесчестного». И поэтому Гельвеций делает основной вывод, показавшийся чудовищным его современникам, хотя практически он выражал норму их поведения: «Нужно жаловаться не на испорченность людей, но на невежество законодателей, у которых всегда частный интерес преобладает над интересом широких человеческих слоев».

Путь, который Гельвеций определяет для человечества, — это путь замены частного интереса интересом широкообщественным. Он говорит:

«Дух кружка, дух семьи, дух своего сословия способен истребить в душах граждан всякую любовь к благу общества, человечества и к родине. Но для понимания общечеловеческих интересов недостаточно субъективного благородства души, а нужны объективные знания человеческой природы. В ком глубокое научное знание сочетается с субъективным благородством — этот компас человечества указывает путь его развития».

Не ограничиваясь этим сравнением с компасом, Гельвеций все общество человеческое считает кораблем перед бурей и, к великому ужасу своих современников, заканчивает свою тираду словами:

«Когда корабль застигнут долгим штилем и голод своим повелительным голосом определяет людям жуткий жребий, бросая который одни решают, кому быть жертвой других; одни избирают в пищу других, определяя, кто будет несчастной жертвой для остальных, — тогда этих избранников голода, этих немногих убивают во имя спасения всех. И надо убивать без угрызения совести, ибо этот корабль есть эмблема всякого народа. Все становится законным и добродетельным, если преследует благо общей связи человечества».

Гельвеций полагает, что время неизбежно вносит огромные изменения как в мир физический, так и в мир нравственный. Под словом «добродетель» на самом деле можно понимать всего лишь желание всеобщего счастья. Что есть цель добродетели, красоты, как не общественное благо и не счастье массы людей? Однако часто преследуется польза одних за счет других. В основе законов, нравов и обычаев лежит польза экономическая.

Гельвеций приводит далее «перечень этнографических примеров». Он

оправдывает жестокость старинных племен, которые доблестью считали то, что ныне считается варварством. Рисуя картину будущего человеческого счастья, Гельвеций проводит различие между добродетелью истинной и добродетелью предрассудка. Самой большой и самой опасной добродетелью предрассудка он считает порчу людей, происходящую от религии.

Но когда Гельвеций пытается создать положительный идеал, он оказывается гораздо слабее, чем в области критики. Замалчивая имена подлинных врагов человечества, Гельвеций только высказывает мысль о том, что «надо сорвать с них маску и показать в этих покровителях невежества тех подлинных негодяев, которые являются врагами человечества».

## ГЛАВА III



18 брюмера 8 года, то есть 9 ноября 1799 года, Бонапарт, комендант Парижа, совершил государственный переворот и низвергнул так называемую Директорию, которая возглавляла правительство с 1795 года.

Бонапарт сделался первым консулом, то есть главою государства.

В день, когда эти события происходили в Париже, молодой Бейль, окончив с первой наградой Центральную гренобльскую школу, был уже на пути в Париж и, выйдя из желтой почтовой кареты, ожидал в немурском трактире перепряжки лошадей. В ушах у него еще звучали слова дяди Ромена Ганьона о любви женщин, на которую не следует особенно полагаться, о необходимости «объясниться в любви горничной, если изменила госпожа». Надавав целую кучу таких же советов племяннику, Ромен Ганьон сунул ему в руку два золотых луидора. Племянник благородно отказался и сел в желтый кузов огромного дилижанса, запряженного шестеркой. Большие почтовые рога из белого металла переплетались в узор на дверцах. Наконец он вырвался из Гренобля!

Единственная привязанность, оставленная в Гренобле, это мадемуазель Кюбли, артистка, которая «пела своим милым слабеньким

голоском» и, однако, разбудила в будущем Стендале ту любовь к музыке, которая никогда его не покидала. Бейль пишет прямо:

«С этого началась моя любовь к музыке, которая была, может быть, самой сильной и самой дорогостоящей страстью. Я сохранил ее еще в пятьдесят два года, и сейчас она сильнее, чем когда бы то ни было. Не знаю, сколько миль прошел бы я пешком или сколько дней просидел бы в тюрьме, чтобы прослушать «Дон-Жуана» или «Тайный брак»<sup>[9]</sup>.

10 ноября 1799 года Бейль прибыл в Париж.

Глава 36-я «Анри Брюлара» начинается такими словами:

«Россе (знакомый Шерубена Бейля, под наблюдением которого ехал в Париж Анри) поместил меня в гостинице на углу улиц Бургонь и Сен-Доминик».

Далее описывается первый визит к Дарю, который был долгое время главным секретарем Сен-Приста, лангедокского интенданта. Ему было в то время шестьдесят пять лет. Он был уроженцем Гренобля. Бейль пишет, что «он искусно проплыл через годы революции, не позволяя себе ослепляться ни любовью, ни ненавистью. Это был человек без других страстей, кроме полезного тщеславия или тщеславной заботы о пользе. Я не мог различить, какое у него было из этих чувств, так как смотрел на него слишком снизу вверх. Он купил себе дом на улице Делиль, № 505, на углу Бель-Шас... Дарю встретил меня фразами о любви и преданности моему делу, фразами, от которых у меня сжалось сердце и я потерял способность речи».

Маленькая, сморщенная провинциальная старушка, его жена, по отзывам Бейля, была с ним очень вежлива и добра. Характеризуя ее, Бейль замечает:

«Я никогда не встречал существа, которое было бы до такой степени лишено небесного огня. Ничто на свете не могло вызвать в этой душе благородного и возвышенного волнения...

Эта малопривлекательная осторожность и благоразумие составляли характер ее старшего сына, графа Дарю, министра, статс-секретаря Наполеона, оказавшего такое влияние на мою жизнь...

Второй ее сын, Марсиаль Дарю, не отличался умом, но имел доброе сердце».

Бейль попал в Париж, когда термидорианская буржуазия довела страну до военной диктатуры. Директория не была в состоянии справиться и с непрерывно наглевшими роялистами, которые открыто готовили свои заговоры в пользу восстановления королевской власти, и с народными волнениями. Контрреволюционная буржуазия, боявшаяся возврата старой власти, особенно старых собственников земли, которую она завладела, а

еще более боявшаяся народных масс, обманутых в своих надеждах и требованиях, увидела в Бонапарте спасителя. Париж праздновал медовый месяц освобождения от страхов перед народным восстанием и роялистским заговором. И благодарная буржуазия поднесла Бонапарту титул первого консула. В военных штабах выработывались планы новых захватнических походов, регистрировались колоссальные контрибуции, полученные от первых победоносных кампаний. В залах расставлялись вывезенные из лучших итальянских галерей картины и статуи; красивейшие итальянские манускрипты вместе с архивом иезуитской конгрегации были перевезены в Париж.

Бейль обо всем этом узнал, но, как часто бывает с молодыми провинциалами, не понял размаха событий. Если легко участнику похода лет через десять рассказывать о том, как на закате солнца загремели пушки и он, сам еще не понимая, что творится кругом, вошел с победителями в североитальянскую крепость и видел, как на бархатных подушках поднесли полководцу громадные заржавленные ключи от главных городских ворот, — то довольно трудно было молодому и еще не оперившемуся птенцу понять, чем кончится завтрашний день Бонапарта. «А может быть, он провалится со всеми своими завоевательными планами?»

Анри приехал, чтобы поступить в Политехническую школу. Но он быстро забыл о ней и вместо экзаменов посещал театры, увлекался артистками, начал писать комедию и бросил ее, как совершенно бесцельную работу. Он начинал учиться живописи у Реньо, он переживал свои первые театральные увлечения у Дюгазона. Все это делал он как дилетант, наспех, необстоятельно; это были поиски содержания жизни молодого неопытного человека. Неожиданно его постигла тяжелая болезнь, нечто вроде пневмонии. Парижская осень, слякоть, безалаберность одинокой жизни на четвертом этаже в маленькой комнатке, продуваемой со всех сторон, дали себя знать. Одним словом, Бейль не появлялся ни у родных, ни у знакомых несколько недель. Наконец Марсиаль Дарю, остроумный и циничный юноша, пришел навестить пропавшего кузена. Он сообщает ему разные новости. Говорит о том, что его брат граф Дарю лихорадочно работает вместе со всем штабом, тайно подготовляя новую кампанию. Это решило участь Бейля.

Он уже давно переживал мучительное разочарование. «Как только я бывал один и спокоен и избавлялся от своей застенчивости, возвращалось это острое чувство: «Так это и есть Париж?»

Это означало: то, что я желал в течение трех лет как высшего блага, чему я пожертвовал тремя годами своей жизни, тяготит меня... Ужасным

вопросом, разобраться в котором у меня не хватало ума, было: где же на земле счастье? А иногда я приходил к такому вопросу: есть ли на земле счастье?»

Услышав от Марсиаля о том, что он намерен принять участие в новом походе, юноша быстро принял решение.

«К черту Политехническую школу, скучный Париж, салоны, комедии, музыку, живопись, фехтование!

Я скоро должен родиться, как говорит Тристрам Шенди, — пишет Бейль, — и читатель скоро освободится от моего младенчества.

В один прекрасный день Дарю-отец отвел меня в сторону, и я затрепетал; он сказал мне:

— Мой сын отведет вас в военное министерство, где вы будете работать вместе с ним в канцелярии».

Без всякой пощады к самому себе Бейль описывает первые дни в военном министерстве, где в конце сада росли жалкие, коротко подстриженные липы, под которые министерские чиновники отправлялись за нуждой. «Дарю усадил меня за рабочий стол и велел переписать отношение». Бейль сделал орфографическую ошибку, описанную впоследствии в романе «Красное и черное» как ошибка Жюльена Сореля. Дарю был в ужасе.

Бейль очень скоро постиг тайны канцелярской работы. И, надо отдать ему справедливость, он скромно умалчивает о своих заслугах и много говорит о своих недостатках парижского периода. Только мельком мы узнаем, что он все свои досуги использовал для тщательнейшего изучения Шекспира и Ариосто. После этого он по-новому стал смотреть на людей и на человеческий характер. Бейль обращается к читателю: «Прوماхи существа, жившего в 1800 году, — это открытие, которое я делаю по большей части только тогда, когда пишу об этом». И далее, с видом мудреца, Бейль делает отметку: «После стольких лет и событий я помню только улыбку женщины, которую я любил. Недавно я забыл цвет мундира, который я носил. А знаете ли вы, благосклонный читатель, что такое мундир в победоносной армии, которая, как армия Наполеона, является единственным предметом внимания всей нации?»

Он во что бы то ни стало будет участником похода 1800 года. Марсиаль Дарю — помощник смотрового инспектора. В Дижоне формируется Резервная армия Бонапарта под командой Брюна. Марсиаль Дарю послан туда с определенными поручениями. Что же касается Бейля, то он сам не знал, в качестве кого он отправляется в Резервную армию Бонапарта. Он выехал из Парижа 7 мая 1800 года, миновал Дижон, не

застав там ни одного солдата, и поспешил в Женеву, где новоиспеченный военный герой совершил невоенный акт поклонения дому Руссо.

Бейль ехал на лошади, брошенной в пути графом Дарю, и опаздывал, потому что ему приходилось ждать выздоровления этого Россинанта.

Капитан Бюрельвилье, случайный попутчик, помог Бейлю не свалиться в озеро на опасной дороге. На протяжении остального пути он старался совершенствовать верховую езду Бейля.

— Что же бы вы сделали, если бы собака-дворянин бросился на вас? — спросил капитан однажды.

— Я выстрелил бы в него.

После такого признания дружба окрепла.

В семнадцать лет и четыре месяца Бейль совершил переход через Сен-Бернар, не замечая, что во всех комических эпизодах его первого вступления в армию было гораздо больше героического, чем в фальшивых батальных картинах Ораса Верне. Его опьяняли и веселое небо, и Итальянские Альпы, и новый язык, и весь ослепительный блеск вновь открывающейся перед мальчиком жизни. Как во сне прошли дни и часы перехода через Альпы, и, нагнав французскую Главную квартиру, Бейль в тот же день попадает на фронт<sup>[10]</sup>.

Вот она, линия огня! Мелкий кустарник, река, широкая долина, на другой стороне низкие дома, — это крепость.

Какая крепость? Небольшие кирпичные стены, а вокруг мирная и веселая североитальянская картина. Направо дорога, по которой растянулся кавалерийский полк и пылит, пылит... А впереди ничего — ни человека, ни зверя. Куда свернуть?

В эту минуту со свистом, шумом и грохотом рядом с лошадью Бейля взлетает кустарник, затем второй, третий. Лошадь шарахается в сторону. Кавалерийский эскадрон рассыпается по полю. Откуда-то бегут люди в высоких киверах, держа ружья под самый штык. Оказывается, кирпичные стены по другую сторону реки выбрасывают огонек за огоньком.

«Неужели это и есть бой? — думает Бейль. — Неужели я участник сражения?»

Дорогу ему перегораживают бегущие через поле люди. Горная артиллерия быстро располагается на позиции в нескольких шагах от Бейля, и какой-то человек, поднося набалдашник хлыста к его носу, кричит ему:

— Убирайся к черту, мерзавец, пока тебя не растоптали!

Вечером в палатке генерала Мишо — насмешливые взгляды офицеров и полное недоумение Бейля: «Неужели я был под огнем? Неужели это была битва?»

Но, судя по тому, что он находится во взятой крепости Бард, конечно, это была битва.

Австрийцы под командой генерала Вукасовича, отброшенные к востоку от Минчио, и австрийцы под командой генерала Меласа, бросившие Геную в поспешном отступлении, встретили отряды французского генерала Ланна, который соединился с Мюратом под Страделлой. Тридцать две тысячи французов на реке По и двадцать тысяч под Страделлой совершили блестящую операцию замыкания австрийских корпусов в сплошное кольцо. Ланн разбил вдвое сильнеешего противника у Монтебелло. Но зато сорок тысяч австрийцев с двумястами орудий, обманув Бонапарта, прошли Бормиду и приблизились к речке Фонтанэ в том месте, где у Ланна едва насчитывалось шестнадцать тысяч человек. Ланн потерял деревушку Маренго, когда Бонапарт с четырьмя с половиною бригадами из своей консульской гвардии внезапно приблизился к месту боя.

14 июня 1800 года Бейль с высокого холма наблюдал удивительное зрелище: восемьсот гренадеров у Капель-Черьоло с поразительным спокойствием сдерживали натиск превосходной австрийской конницы. Генерал Дезэ, услышавший пушечную пальбу, перебросил шесть тысяч человек, и продолжение битвы было настолько захватывающим, что юный Бейль при каждом известии чувствовал, если не понимал, значительность развертывающейся картины.

Дезэ был убит. Как пламя по пороховому шнуру, прошла эта весть по фронту и довела французских солдат до озверения.

Битва при Маренго закончилась полной победой: австрийцы потеряли двенадцать тысяч человек, французы— семь тысяч. Мелас, как лисица в капкане, пытался еще раз укунить Бонапарта, но сдал свою шпагу и подписал Александрийскую конвенцию. Австрийская армия удалилась с военными почестями за линию Минчио.

Бейль отмечает трудность понимания картины боя для всякого «глазющего». Действительно, зрительное впечатление человека, не знающего хотя бы приблизительно расположения сил своих и противника, всегда сводится к впечатлению бестолковой, беспорядочной кровавой суетни. Это впечатление он впоследствии передал очень красноречиво, указывая при этом на господство элемента случайности в самой организации битв. Но в штабе, прочитывая сводки, приказы, бюллетени Главной квартиры, Бейль усваивал общую картину боев.

Крепости падают одна за другой. Французы подходят к Милану. «Однажды, въезжая в Милан чудесным утром, в трех шагах от себя, слева

от моей лошади, я увидел Марсиаля...

— Мы думали, что вы погибли, — сказал он мне.

— Лошадь заболела в Женеве, — ответил я, — и я выехал только...

— Я сейчас покажу вам дом, он в двух шагах отсюда».

Так произошел въезд Бейля в Милан — город, которому суждено было сыграть огромную роль в его жизни.

Женщины в цветных платьях, дети с цветами, ликование Милана по поводу изгнания австрийских оккупантов<sup>[11]</sup>, невероятное напряжение молодых надежд и гордости в сердце — таковы были первые впечатления Бейля.

Спустя тридцать восемь лет он передал их в первой главе одного из лучших романов XIX века — «Пармская обитель».

«15 мая 1796 года генерал Бонапарт вступил в Милан во главе молодой армии, которая только что перешла через мост Лоди и возвестила миру, что по истечении многих веков Цезарь и Александр обрели себе преемника...

В средние века миланцы были храбры, как французы времен Революции, и удостоились видеть свой город снесенным до основания германскими императорами. С тех пор как они превратились в верноподданных, самым важным делом для них стало печатание сонетов на платочках из розовой тафты по случаю свадьбы какой-либо девушки из знатной или богатой семьи. Года два или три спустя после этого знаменательного события своей жизни такая девушка обзаводилась постоянным, общепризнанным поклонником; иногда имя будущего чичисбея, выбранного заранее семьей мужа, занимало почетное место в брачном договоре. Переход от этой изнеженности к глубоким чувствам, вызванным неожиданным прибытием французской армии, был очень резок. Скоро создались новые, страстные нравы. 15 мая 1796 года целый народ понял, что все уважавшееся им дотоле было в высокой степени смешно, а иногда отвратительно. Уход последнего из австрийских полков ознаменовал собою падение старых идей; вошло в моду рисковать жизнью. Все увидели, что после стольких веков лицемерия и пресных чувств счастливым можно было стать, только полюбив что-нибудь с истинной страстью и научившись при случае рисковать жизнью. Благодаря ревнивому деспотизму, тянувшемуся со времени Карла V и Филиппа II, ломбардцы были погружены в глубокую тьму; они низвергли их статуи и вдруг почувствовали себя залитыми светом. В течение последних пятидесяти лет, в то самое время, когда «Энциклопедия» и Вольтер гремели во Франции, монахи внушали доброму миланскому народу, что учиться грамоте или чему-либо иному было бесполезным трудом и что достаточно исправно

платить десятину приходскому священнику, правдиво рассказывая ему при этом свои грешки, чтобы почти наверное обеспечить за собою прекрасное место в раю. Чтобы окончательно расслабить этот некогда столь грозный народ, Австрия за дешевую плату уступила ему привилегию не поставлять рекрутов в армию...

В мае 1796 года, три дня спустя после вступления французов, молодой сумасбродный художник-миниатюрист по имени Гро<sup>[12]</sup>, знаменитый впоследствии и прибывший в город вместе с армией, услышал в кафе Серви, тогда модном, о подвигах эрцгерцога, отличавшегося к тому же чудовищной тучностью; он взял список мороженных, напечатанный на листе скверной желтой бумаги, и на обороте нарисовал толстого эрцгерцога: французский солдат прокалывал ему штыком брюхо, откуда вместо крови сыпалось невероятное количество зерна. То, что называется шуткой или карикатурой, не было известно в этой стране лукавого деспотизма. Рисунок, оставленный Гро на столике в кафе Серви, показался чудом, упавшим с неба. Он был выгравирован в течение ночи, и на следующее утро было распродано двадцать тысяч экземпляров.

В тот же день на стенах было расклеено объявление о военной контрибуции в шесть миллионов, взыскиваемой для надобностей французской армии, которая, выиграв шесть сражений и завоевав двадцать провинций, нуждалась только в башмаках, панталонах, мундирах и шляпах» (глава 1).

События, описанные в романе «Пармская обитель», происходили за четыре года до появления Анри Бейля в Милане. Это был второй приход французов. Опыт первого пребывания Бонапарта в Италии еще не научил итальянских патриотов правильному отношению к французской оккупации. Правда, то были времена республики и Конвента. Италия надеялась из рук революции получить свободу и национальное объединение. Эта большая и прекрасная страна, населенная людьми, говорившими на одном языке, была раздроблена. Более двадцати государств расположились на ее территории. Австрия с Габсбургами, Франция и Испания с Бурбонами превратили Италию в убежище для «безработных» принцев Европы. Посредине полуострова стоял город, гордо именовавшийся «древней столицей мира». Это был Рим, и в нем на троне сидел старик в трехъярусной золотой шапке и в богатых одеждах, разукрашенный, словно мексиканская птица; он назывался наместником Христа на земле и со всех пяти частей земли собирал приношения, так как католики всех стран считались сынами римской церкви и должны были платить, платить без конца...

Римский папа был и светским государем. Один из семидесяти

кардиналов, окружавших папу, был губернатором Рима, другой — полицейским комиссаром.

Отдельные части Италии были разгорожены таможенными границами. Иные города были разделены надвое речкой, ее австрийские власти объявляли границей, и население не имело права переходить ее, хотя домашняя птица у всех на виду безбоязненно нарушала границы.

Все власти и все государи налагали такие таможенные сборы на вина, хлеб и другие продукты, что в Тоскане выливалось по триста тысяч бочек виноградного вина в реку, ибо продать его в Италии не было никакой возможности из-за таможенных поборов и налогов.

Эта система разрушила хозяйство страны и разорила ее население.

Итальянец Филанджери, экономист, написал трактат под названием «Экономические законы», требуя уничтожения феодальных отношений, реформы государственного управления, аннулирования таможен и рисуя планы многих других преобразований.

Сначала Италия встретила французов в 1796 году как избавителей. Итальянцы еще помнили декрет Конвента 15 декабря 1792 года, который обязывал французских генералов уничтожить феодальный строй и монархию и устанавливать свободу, равенство и братство, уничтожить религиозный гнет, изгонять помещиков и дворян. Наполеон в 1796 году все это обещал итальянцам, и даже больше: он присоединил клятвенное обещание привести Италию к единству и провозгласить ее самостоятельной державой. Итальянцы еще не знали, не понимали, что французская буржуазия уже стала контрреволюционной силой.

Комендант форта на маленьком венецианском островке неосторожно обстрелял французский корабль, еще более неосторожно вошедший в мирные воды Венеции. Патриции Венецианской торговой республики получили от французского генерала Бонапарта страшный ответ на свою просьбу о помиловании республики:

«Дряхлый лев святого Марка не может ждать от меня пощады. Я не хочу ваших попов, я не хочу вашей инквизиции, я не хочу вашего развратного сената. Я буду Аттилой для Венеции. Все правительства Италии устарели, и им пора рухнуть».

Венецианский дож докладывал республике о Бонапарте:

— Он сказал нам, что если он дал свободу другим народам, то сумеет разбить цепи венецианского простолюдина. Венецианский совет должен избрать между миром и войной. Если он желает мира, то должен добровольно разогнать патрициев и сдаться на милость победителя».

Хитрые патриции предложили Наполеону денежный выкуп.

«Нет, нет, — ответил Бонапарт, — если даже вы сделаете настилку из червонцев на всем прибрежном песке от моих ног до Дворца дожей, я не прощу вам крови французских граждан».

Он вошел в Венецию. Дряхлый лев святого Марка, придерживающий когтистой лапой евангельскую книгу на гигантской розовой колонне центральной площади Венеции, перевернул страницу. Рабочие два дня работали над отливкой новой страницы и положили под лапу евангельского льва святого Марка бронзовую «Декларацию прав человека и гражданина». Перед Дворцом дожей вынули старые плиты, на которых рубили головы венецианским свободолюбцам, закопали чахлое маленькое «деревцо свободы», а на жертвенном огне революционного костра спалили Золотую книгу венецианского дворянства. Когда была собрана контрибуция и Наполеон убедился в том, что Венецианская область обстрижена как хорошая овца, он уступил ее австрийцам. По мирному договору в Кампо Формио австрийские войска в белых мундирах появились на площади святого Марка. И опять полезли слесари и металлурги по лестницам, и лев святого Марка опять перевернул страницу, на которой вместо «Декларации прав человека и гражданина» появилась старая доска: «Мир тебе, о Марк, евангелист мой». Так Наполеон дал итальянцам первый наглядный урок действительной политики новой, термидорианской Франции!

Венецианский гражданин, рыжеволосый красавец, стихотворец и автор трагедий, Уго Фосколо из ярых поклонников Бонапарта сделался его непримиримым врагом. Он выпустил сборник «Orazione», в котором призывал всю итальянскую молодежь сплотиться против узурпатора и негодяя. Уго Фосколо был объявлен вне закона. Он сделался главарем итальянских конспираторов, нимало не смущаясь той высокой оценкой в золоте, которую Бонапарт дал его голове<sup>[13]</sup>.

Но опыт Венеции не научил итальянскую молодежь. И в 1800 и в последующие годы она продолжала охотно зачисляться в батальоны и полки. Наполеона, давая ежегодно от тридцати и до пятидесяти тысяч молодых солдат.

Такова была обстановка, которую застал Анри Бейль в Милане. Это была такая бурная симфония жизненных, радостных, дивных впечатлений, что Анри Бейль был ошеломлен.

Люди на улицах, дома, дворы с цветниками и крытыми галереями внутри, фонтаны посредине двора, улыбки детей и женщин, возгласы в маленьких кафе: «Да здравствует победоносное французское оружие!», музыка Чимарозы в театре и на центральной площади города. Целый город мраморных лесенок и переходов, башенок, зданий, балюстрад. Город

именовался Миланским собором, и со стен его до бесконечного горизонта виднелась синеющая и ярко-зеленая цветущая долина Ломбардии.

47-ю главу «Анри Брюлара» Бейль озаглавил «Милан». Там мы читаем:

«Город этот стал для меня прекраснейшим местом на земле. Я совершенно не чувствовал прелести своего отечества; к месту своего рождения я чувствую отвращение до физической тошноты. Милан с 1800 до 1821 года был для меня местом, где я постоянно хотел бы жить...

Я испытал пять-шесть месяцев небесного или совершенного счастья, с конца мая до октября или ноября, когда я сделался сублиейтенантом 6-го драгунского полка...

Нельзя различать отчетливо ту часть неба, которая расположена близко к солнцу. И мне по этой самой причине трудно выразительно рассказать о Милане и о своей любви к Анжеле Пьетрагруа. Как можно сколько-нибудь разумно поведать о стольких безумствах?..

Прошу простить меня, благосклонный читатель, — или лучше, если вам больше тридцати лет, да еще с вашими тридцатью годами вы принадлежите к прозаикам, закройте книгу...

Женщина, которую я любил и которая, как мне казалось, отчасти любила меня, имела других любовников... У меня были другие любовницы. (Я прохаживаюсь четверть часа по комнате, прежде чем продолжать писать.) Как можно выразительно рассказать об этом времени? Я предпочту это отложить до другого раза...

Я готов прожить в страшных муках еще пять, десять, двадцать или тридцать лет, оставшихся мне до смерти, и все же в эту минуту я не сказал бы: «повторение моей жизни мне нежелательно».

Прежде всего это счастье — прожить мою жизнь. Человек посредственный, ниже посредственного, если угодно, но добрый и веселый, или, вернее, в то же время счастливый сам собою — вот тот, с кем я прожил...

Сегодня я очень холоден. Погода хмурая. Мне немного нездоровится.

Ничто не может помешать безумию.

Как честный человек, который терпеть не может преувеличений, я сознаюсь, что не знаю, что делать».

Бонапарт сделал министра Петиз губернатором Ломбардии. Одним из сотрудников Петиз был назначен Анри Бейль. Работа, ему порученная, как нельзя более соответствовала его темпераменту. Верхом и в коляске он разъезжал по Ломбардии. Имея полную возможность широко войти в соприкосновение со всей массой североитальянского населения, он

использовал эту возможность со свойственной ему страстью и талантом.

Но что привлекало юношу? Он был полон молодого задора, который лучше всего выразился в надписи, вырезанной на одном из лавровых деревьев на острове Isola bella: «битва». Он вступал в бой с жизнью и с каждым шагом чувствовал горделивое и пьянящее счастье победителя. Он носил в себе ту могучую силу жизнедеятельности, которая впоследствии, с наступлением краха военно-политической карьеры, сделала его одним из самых богатых по впечатлениям реалистических писателей мира.

Италия, охваченная широким национальным движением, и в особенности Милан, формировали характер Бейля. Если в годы отроческих чтений ум Бейля воспитывался на материалистах и свободолобцах Франции, то теперь он свой вкус воспитывал и изощрял на замечательных образцах классической итальянской литературы — Данте, Петрарке, Ариосто, Тассо, на греко-римских классиках — на Вергилии, Гомере, Горации, Таците, великих трагиках Эллады.

А бесценные сокровища искусства итальянского Возрождения! Неслыханным возрождением мира гениев казалась Бейлю вся Италия, и ей, этой прекрасной стране, протянули руки революционные когорты республиканской Франции! И душу Бейля переполняет уверенность в величии завтрашнего дня; чудо сулит каждый поворот больших североитальянских дорог, старинные крепостные стены, чудные дворцы, благоухающие долины и прекрасные реки Ломбардии. И надо всем царит вера в блестящего полководца, который, по словам Марсиаля Дарю, в Париже указал на маленькую деревеньку в долине между речками и сказал: «Вот при этой деревушке Маренго я разобью австрийцев». И когда действительно 14 июня 1800 года это решение полководца было выполнено с безукоризненной точностью, как могло не загореться сердце впечатлительного юноши!

В Италии он проходил школу военной деловитости. Он был участником организационной работы наполеоновских штабов, и, как ни старался затушевать значительность своей работы легкомысленными самохарактеристиками, все же историку приходится констатировать педагогическое значение этих первых соприкосновений с бонапартовской армией.

Прежде всего Бейль столкнулся с разнообразнейшими характерами наполеоновского офицерства. Наполеон еще не был императором. В войсках оставалось много волонтеров и героев эпохи Конвента и ранних битв за освобождение Франции от интервентов. Это были грубые весельчаки, атеисты, рубаки — «сабреташи», как их называли. Они не

стеснялись ни в женских монастырях, ни в миланских салонах. С грубоватым смехом и песнями переходили эти люди

с одной артиллерийской позиции на другую, из одной таверны в другую, из одного публичного дома в другой. Бейль был вместе с ними. Он в достаточной мере распустился, приобретая вместе с военными навыками военно-холостяцкие замашки. На первых порах ему пришлось познакомиться с кабинетом случайного врача. Но упоение рано пробудившейся чувственностью вскоре перестало увлекать Бейля. Он очень быстро отделался от болезни и болезненных увлечений и стал записывать в дневники свои впечатления и наблюдения, не выделяя себя из числа объектов своего беспощадного анализа. И он отмечал насмешливые и скептические фразы «стариков» из армии Брюна. Они шептали, что не так уж благополучно все, что карьера зарвавшегося генерала может оборваться внезапным поражением и что судьба Франции поставлена на карту.

В штабах первого консула было рискованно говорить о старинных пергаментных дворянских грамот. Аристократия, служившая у Наполеона, была скромна и вела себя тихо. Иное дело генералы от революции. Они воровали в интендантствах, скупали старинную мебель, загромождали обозы награбленным имуществом. Они уже мечтали о титулах, наподобие старых вояк королевской Франции, и заблаговременно перенимали черты дворянской роскоши, бытовые особенности маркизов, графов и герцогов. Лишенные подлинного вкуса, они по-купечески сорили деньгами, чтобы показать свой блеск. В то время когда лорды Англии считали возможным одевать в мишуру и позументы своих выездных лакеев и форейторов, а сами носили скромное платье, молодые наполеоновские генералы не знали, на какое место нацепить еще золотой галун или бриллиантовый аграф. С галунами и позументами, в широкой шляпе, разодетый как петух, разъезжал на коне Иоахим Мюрат, сын трактирщика, герой наполеоновских походов 1796 года, прямой помощник Наполеона при разгоне Совета пятисот. В год появления Бейля в Милане он только что женился на сестре Наполеона.

Молодые энергичные поставщики типа Уврара, организатора Парижского банка, наживали колоссальные барыши на итальянских походах: они бессовестно обворовывали солдат, поставляя негодную обувь, белье, обмундирование.

Таковы были трезвые наблюдения и записи Бейля.

23 сентября 1800 года, томясь от скуки в канцелярии Петизэ и поняв всю премудрость составления приказов и реляций, Бейль вступил в 6-й драгунский полк, был сделан вскоре вахмистром, как отличный стрелок,

наездник и человек, уже освоивший военное дело. В конце следующего месяца он был представлен к эполетам и в чине младшего офицера отправился в Романенго, в часть, стоящую между Брешией и Кремоной. Нечеткость тогдашнего табельного расписания позволяла молодому карьеристу сделаться, не будучи штаб-офицером, адъютантом дивизионного генерала Мишо, командовавшего Резервной армией. С генералом Мишо он перешел Минчио 24 декабря 1800 года и стал в резерве в Мозембано. Затем он принял самое деятельное участие в тридцатидневной кампании, решившей участь Северной Италии и закончившейся Люневильским миром 9 февраля 1801 года.

В своих записках и письмах Бейль себя называет повесой и «гоуэ» (распутник). Но мы имеем свидетельства его двоюродного брата Дарю и генерала Мишо. Начиная с 12 января 1801 года, как накануне, так и в самые дни битвы при Кастель-Франко, Бейль в течение многих часов подряд не выходил из сферы огня противника, под огнем хладнокровно и спокойно выполнял все даваемые ему поручения и непосредственно участвовал в атаках<sup>[14]</sup>. В нем была та хладнокровная, ясная, деловитая четкость военного администратора, которая впоследствии сделала из него одного из самых серьезных интендантов Великой армии.

9 февраля 1801 года Австрия отказалась от Бельгии, признала за Францией левый берег Рейна, а в Италии отказалась от всяких притязаний на земли по правую сторону По и реки Адидже, где волею Бонапарта возникла Цизальпинская республика.

Новое расписание табели о рангах не позволяло занимать должность дивизионного адъютанта офицерам ниже чина лейтенанта. И Бейль получил предписание отправиться в городок Савильяно, к своему 6-му драгунскому полку. Таким образом, то, что могло иметь место в боевой обстановке, делавшей Бейля военным героем, стало невозможно в те дни, когда полки перешли на резервное положение и наступил мир. Началась скучная казарменная жизнь.

Вскоре война прекратилась и на других фронтах, и очередной тур наполеоновских войн кончился

26 марта 1802 года Амьенским договором. Начался расцвет бонапартовского консульства. Но скромному подпоручику мир ничего не сулил.

## ГЛАВА IV



В третий день X года по революционному календарю Франции, то есть 20 сентября 1802 года, Бейль, не уведомив никого из семьи Дарю, подал в отставку, игнорируя неизбежный гнев своих родных<sup>[15]</sup>.

Снова почтовая карета. На пути встречаются пушки горной артиллерии, воинские части, погонщики ослов с разнообразным грузом, пешеходы, альпийские стрелки, пастухи. Наконец родной город Гренобль, где, сваливаясь как снег на голову, появляется блудный сын.

Дома не ждали. Нет ни завтрака, ни обеда. Холодная куропатка и стакан кислого вина, холодные речи отца и кислые улыбки тетки<sup>[16]</sup>.

Молодой, с военной выправкой сумасброд, авантюрист из армии Бонапарта, Бейль решает идти в атаку на все домашние привычки Гренобля. Безудержный, богохульный, революционный, полусолдатский язык, резкие манеры, громкий солдатский голос, оглушительно гремящие шпоры — все это на родных производило впечатление бомбы, влетевшей в открытое окно.

Стареющий Шерубен Бейль подозрительно смотрит через плечо вслед

нелепому человеку, шагающему по комнате. Все, начиная с отца и кончая домашними слугами, с полным осуждением относятся к вернувшемуся Анри.

Только один человек более или менее понимал его: сестра Полина. Но с ней нужно говорить потихоньку: чтоб не ухудшить свое и без того невыносимое положение в доме, она не солидаризировалась с братом открыто.

Он писал ей из Италии письма, полные удивительной прелести. В письме на итальянском языке он называет ее «Сага Sorella». Каждое письмо заканчивается просьбой разорвать его и сжечь. Некоторые уже предваряют последующую привычку к ложным именам; одно подписано: «G. Chirrère»<sup>[17]</sup>.

Трехмесячное пребывание в Гренобле было бы совершенно невыносимо, если бы не это скромное и тихое участие сестры-друга.

Ни переписка, ни дневники до сих пор не позволяют разгадать противоречия, в силу которого Бейль так серьезно и вдумчиво относился к сестре Полине и всегда так презрительно говорил о сестре Зинаиде. Правда, в период ожесточенной гражданской войны многие французские семьи не представляли единства в смысле политическом.

Эти свойства тогдашних семейств очень хорошо характеризует сам Бейль в последней своей вещи «Сестра Сколастика» — «Suora Scolastica»: «Каждый раз, когда произносятся имена вождей за обедом, отец бледнеет, а сестры и братья переглядываются друг с другом глазами ненависти, боясь выдать политический заговор».

Зинаида была роялисткой, яркой сторонницей династии Бурбонов. Полина Бейль считала, что дело старой династии погибло.

Между сестрами была разница и во внешности. В отличие от брата Полина была среднего роста, с ясными синими глазами, с каштановыми, почти черными волосами. Она дышала бесконечным здоровьем, покоем; улыбка не сходила с ее губ. И она обладала умением приводить в порядок сознание и речи собеседников, которые зачастую вторгались незваными в дом старого Шерубена Бейля. И ей старший брат, конечно, должен был казаться не то рыцарем-крестоносцем, не то Ричардом Львиное Сердце.

Гренобль быстро надоел Бейлю. Он узнает, что генерал Мишо, его бывший начальник, живет в Фонтенебло под Парижем. Генерал зовет его на охоту. Но как поехать в Париж, не имея ни гроша за душой? Разбогатевший Шерубен Бейль<sup>[18]</sup> не желает делиться деньгами. Наступает взрыв взаимной ненависти и недоверия, который резко разграничивает два

периода в жизни Бейля. После длинного, тяжелого разговора Бейлю удается вымолить у отца ежемесячное пособие в сто пятьдесят франков.

Пять франков в день — это немного «для юноши с такими взглядами на жизнь». Однако молодой Бейль 15 апреля 1803 года снова подъезжает к Парижу и поселяется на улице Анживилье в маленькой комнате шестого этажа<sup>[19]</sup>.

Войны победоносно завершены. Первый консул в расцвете славы, во всемогуществе власти. Он приступает к внутренним преобразованиям, чтобы завершить дело «успокоения» Франции, чтобы дать возможность буржуазии реализовать плоды военных побед. Началась разработка Гражданского кодекса, который полностью, в виде тридцати шести указов, был опубликован в 1807 году. Была решительно перестроена финансовая система Франции, был составлен полный новый кадастр, то есть список граждан и личных средств каждого из них, как движимых, так и недвижимых, в деньгах и землях. Сбор прямых и косвенных налогов в отличие от старого режима, допускавшего откупы, был поручен правительственным агентам прямых податей.

Правительство обратилось к крупным капиталистам, во главе которых стоял богатейший из финансистов — Перрего. Они создали обширное общество для основания Французского банка в Париже с основным капиталом в тридцать миллионов франков. Главный совет, пятнадцать управляющих и Высший комитет из трех лиц — все богатейшие финансисты возглавили банк. Он должен был учитывать векселя, давать ссуды под товары, выпускать кредитные билеты, имеющие обращение наравне с золотой монетой. Эти операции учета векселей и торговли металлами призваны были содействовать расцвету коммерции и промышленности.

Бонапарт пошел на мировую с римским папой, который был выпущен из своего почетного заключения во Франции и водворился в Риме. В июле 1801 года Наполеон заключил с ним конкордат, восстановивший католицизм как государственную религию, причем духовенство было взято государством на жалованье. Наутро после въезда в Париж кардинала, посланника папы, колокола Нотр-Дам возвестили парижанам, что якобинский генерал, сын корсиканского нотариуса, «примирился с богом и перешел на «ты» с его заместителем. Вместо республиканских «Почетных сабель и ружей» 19 мая 1802 года Наполеон учреждает крест Почетного легиона. Легион состоял из пятнадцати когорт, каждая из семи великих офицеров, двух командиров, тридцати офицеров и трехсот пятидесяти легионеров.

Конкордат (соглашение с римским папой) и учреждение Почетного легиона впервые раскрыли глаза старым республиканцам, спутникам бонапартовских походов. Они разгадали монархические замыслы Бонапарта и бурно протестовали против колокольного звона в парижских церквях.

В колониях вспыхнули восстания. Негры, «по недоразумению считавшие себя людьми» и свободными гражданами Французской республики, поздно убедились в своей ошибке. Бонапарт, женившийся на хорошенькой креолке, вдове генерала Богарне, Жозефине Ташер де ля Пажери, был глубоко возмущен тем, что негры овладели плантациями его супруги на Мартинике. Он приказал тайно ввести рабство и восстановить торговлю неграми. Экспедиционный корпус генерала Леклерка погиб на отдаленных Антильских островах в борьбе с войсками замечательного негра-философа, черного консула Туссен Лувертюра<sup>[20]</sup>. Негры сожгли свою столицу, ушли в горы. Остров Гаити сделался страной страшных имен. Ни один французский корабль не мог приставать больше к берегу.

Таковы были Франция и Париж, когда девятнадцатилетний Анри со своими 150 франками ежемесячной отцовской субсидии вторично появился в столице.

Сотни километров отделяли его от Италии и от Гренобля и десятки тысяч километров от действительной жизни Парижа. Так говорит его биограф Ромен Коломб, чтобы показать новое направление мысли и воли, которое характеризует Бейля в это время. За пять франков в сутки надо снимать квартиру, есть и пить. Ходить можно только пешком. Фиакр — непозволительная роскошь. Хорошо и это. Самый главный расход — покупка книг — сделался почти непозволительным. Библиотека расположена неподалеку. Путем сложных вычислений, урезок и экономии удастся все же выкроить из ста пятидесяти франков вознаграждение ирландскому пастору Иеки, с которым ежедневно упорно и настойчиво Бейль изучает английский язык. Мало того, элегантный преподаватель фехтования Фабьен дает ему уроки, Фабьен сам выходец из Дофине<sup>[21]</sup>. Его Sal d'escrime — фехтовальный зал — гренобльское землячество. Мрачный дофинец Ренувье каждый раз, делая парад, выбивает шпагу или флорэ из рук неловкого Бейля и делает ему замечание.

С молчаливым упорством, замкнувшись в себе, Бейль «готовит себя к чему-то». Родные считают его конченным человеком. Дарю не желают его видеть. Нахал, порвавший с военной карьерой, человек, на которого было истрачено зря несколько рекомендательных писем, недостойн их

покровительства. Александрина, молодая супруга Пьера Дарю, прямо заявляет Бейлю, что он дурак. Но Бейль не верит, ибо он упорно занимается чтением «Персидских писем» Монтескье, «Трактата об ощущениях» Кондильяка, он изучает доктора Кабаниса, он снова перечитывает Руссо и влюбленными глазами вчитывается в книгу Дестюта де Траси «Идеология».

«Вот уже это совсем нехорошо, — говорят ему военные друзья. — Первый консул недаром называет «идеологами» всех тупоголовых людей, которые вместо житейской практики занимаются беспочвенными мозговыми упражнениями».

В ответ Бейль начинает изучать строчка за строчкой Монтеня. Мишель Монтень, писатель XVI столетия (1533–1592), написал замечательную книгу «Опыты». Она представляет собою нечто среднее между дневником и записью мыслей. Монтень — скептик, сладко дремлющий на подушке сомнений, как он выражался сам. Он неустанно подчеркивает ограниченность сил человеческого разума, обманчивость чувств. Он сомневается в абсолютных истинах и верит только в относительные. Его сомнение заходит настолько далеко, что он даже сомневается в законности дворянских привилегий и социального неравенства. Но в этом единственном данном человеку мире приходится существовать, и для того чтобы это существование не было напрасной растратой сил, жизнь надо прожить красиво, здорово, гармонически ощущать все явления космического и социального порядка. Гораздо выгоднее иметь симпатию к людям, чем питать враждебные чувства. Гораздо рациональнее иметь твердую волю, чем подчиняться разнузданным страстям. Благоразумная, красивая, здоровая жизнь позволяет легче переносить невзгоды и набрасывает покровы скромности и деликатности на язвы и раны, которыми изобилует ничем не прикрытая действительность. Но все эти покровы иллюзорны. Человек благоразумный не должен быть фанатиком и не должен с оружием в руках отстаивать свои убеждения. Сомневаться легче, нежели очаровываться и потом приходить к безнадежному разочарованию. Не верить лучше, чем разуверяться. И вот это разуверение во всем проходит красной нитью через «Опыты» Монтеня.

Влияние Монтеня на Бейля было огромно. Говоря о себе в третьем лице, он писал впоследствии:

«Бейль работал двенадцать часов в сутки, читал Монтеня, Шекспира, Монтескье и записывал свои суждения о них. Он ненавидел и презирал, не зная почему, литературных знаменитостей 1804 года, которых он видел у Дарю. Бейль презирал Вольтера, которого находил инфантильным, и госпожу де Сталь, бывшую для него воплощением напыщенности; Боссюэ,

казавшегося ему высокопарной болтушкой. Он обожал басни Лафонтена, Корнеля и Монтескье».

В отличие от деятельной и подвижной жизни в Северной Италии Бейль в Париже был погружен в занятия и наслаждался своим уединением, как губка впитывающая страницы человеческой мудрости. Он часто и много писал сестре Полине и другу Эдуарду Мунье.

В надежде получить успех на подмостках Французского театра юноша начинает писать не то драму, не то комедию, с тем чтобы она вышла лучше мольеровских. Первоначальное ее название было «Le bon partie» — «Счастливый удел». Герой Летелье — роль для знаменитого Дюгазона. Остальные роли были рассчитаны на Баптиста-старшего, Дюма, Флора.

Что представляла собою эта пьеса, мы не знаем, она не дошла до нас. Но «bon partie» — это Бонапарт, а подзаголовок «Друг деспотизма, извратитель общественного мнения» открывает нам не совсем невинный замысел этой легкой комедии. Уцелела только пятая сцена первого акта, всего сто двадцать одна строчка, содержащая диалог между мадемуазель Дю-Шенуа, именуемой Аделью, и Шарлем. Комедия написана отвратительными стихами. Уцелевшие строчки, очевидно, не являются началом творческого процесса. Наоборот, все показывает, что пьеса была почти написана и затем уничтожена не только в силу драматургической непригодности, но и по соображениям политическим.

Живая и энергичная натура Бейля не могла мириться с долговременной пассивностью. Наряду с теоретическими занятиями, наряду с увлекательным литературным трудом он, несомненно, вел живые и горячие беседы на самые актуальные темы тогдашнего дня. Это бесспорно, хотя впоследствии он стремился скрыть свою прикосновенность к политике в 1803–1804 годах. Очевидно, это был момент полного разочарования в Бонапарте. Париж дал Бейлю ясное ощущение крутого политического поворота от революции и республиканизма к реакции и установлению деспотического строя. Конный Робеспьер, как называли Бонапарта шуаны (контрреволюционеры-монархисты), все больше и больше превращался в государя. 2 августа 1802 года он был провозглашен пожизненным консулом под именем Наполеона Бонапарта, с правом назначения преемника.

Часть армии была недовольна возвратом к монархизму. Многие генералы считали себя обыгранными в крупной политической игре. К числу обиженных соперников принадлежал один из отличившихся в боях генералов тогдашней эпохи — Моро (1763–1813). Он никак не мог примириться с политическим успехом Бонапарта и ненавидел всякую

монархию вообще. Но так как он ненавидел и Бонапарта, то на него обратились взоры лондонских заговорщиков против Наполеона, возглавляемых графом д'Артуа Бурбонским. В конце 1803 года они поручили Жоржу Кадудалью высадиться на французский берег тайком и убить Бонапарта.

В темную ночь Жорж Кадудаль благополучно достиг Парижа, имея тайные адреса и явки, и стал приводить в исполнение план, сводившийся к тому, чтобы немедленно после убийства Бонапарта поручить какому-нибудь активному военачальнику навести порядок и расчистить дорогу «законной власти французских королей».

Началась крупная игра. Кадудаль жил в Париже. Французская полиция об этом знала. Его искали и не могли найти.

Жорж Кадудаль пытался войти в сношения с генералом Моро. Генерал Моро ответил, что он согласен содействовать гибели Бонапарта, но не согласен на восстановление престола Бурбонов, так как он республиканец. 15 февраля 1804 года генерал Моро был арестован у себя на квартире, а спустя восемь дней, 23 февраля, ночью, другой заговорщик, генерал Пишегрю, считавшийся сосланным в Гвиану, был задушен в Париже на квартире своего лучшего друга. Этот друг детства и политический союзник Пишегрю не устоял перед тремястами тысячами франков, предложенных Наполеоном.

Вскоре, 9 марта, и Жорж Кадудаль был пойман на улице. Он застрелил полицейского агента, опознавшего его, изувечил дюжину людей и, как тигр, бежавший из клетки, прыгал через решетки и палисады до тех пор, пока огромная толпа не окружила его. Министр Наполеона Талейран произнес знаменитую фразу: «Бурбонская кровь, очевидно, англичанами ценится дороже крови Бонапарта». Было решено — для острастки Бурбонов — немедленно казнить одного их представителя. Наполеон послал солдат арестовать герцога Энгиенского, находившегося на германской территории. Арест был произведен в пределах Баденского герцогства при испуганном молчании германских властей. Герцог был доставлен в Париж, судим военным судом, и хотя не имелось никаких доказательств покушения на Бонапарта, был расстрелян, к полному негодованию европейских держав.

Как бы в ответ на это негодование, Наполеон провозгласил себя императором французов (18 апреля 1804 года).

Кадудаль и его товарищи были казнены 24 июня 1804 года. Пишегрю был найден задушенным собственным галстуком в постели. Моро был выслан из Франции; он уехал сперва в Америку, затем в Россию.

И тогда Бейль разорвал свою комедию «*Le von partie*», или «Друг

деспотизма и развратитель общественного мнения».

В письме к отцу от 1 мая 1803 года Бейль, кратко сообщив о своих расходах, объясняет перерасход тем, что он не мог отказаться от предложения генерала Мишо съездить поохотиться в Фонтенебло. Заканчивается письмо так: «Я страстно хотел познакомиться с генералом Моро. И вот он приехал, два дня провел с нами».

Дни бывают разные. Два дня с генералом Моро могли в достаточной степени кристаллизовать республиканизм Бейля именно в это время. Один из друзей Бейля, Мант, выходец из Гренобля, студент Политехнической школы, о котором Бейль всегда говорил, что этот человек, полный чувства, простой и естественный во всех своих движениях, восхитительный по целостности характера, — этот Мант был близок к заговору Моро, но остался в стороне: по приказу Наполеона следствие было прекращено немедленно после высылки Моро из Франции.

Прямое указание самого Бейля на эти события мы встречаем в краткой автобиографической записке, помеченной воскресеньем 30 апреля 1837 года. Она начинается словами: «Идет проливной дождь». Там мы читаем: «Бейль, более безумный, чем когда-либо, погрузился в занятия, поставив себе целью сделаться великим человеком... Так жил он с 1803 до 1806 года, никого не посвящая в свои планы и ненавидя тиранию Наполеона, кравшего свободу у Франции. Мант, бывший студент Политехнической школы, друг Бейля, вовлек его в заговор в пользу Моро»<sup>[22]</sup>.

Бейлю не могло быть по душе «буржуазное правительство, которое задушило французскую революцию и сохранило только те результаты революции, которые были выгодны крупной буржуазии» (Сталин). Участие в заговоре Моро было гораздо более серьезным моментом в жизни Бейля, чем о том можно было говорить ему самому. Но чрезвычайно странным представляется то, что ни один из биографов не обратил внимания на это. Бейлю не было никакой охоты предавать самого себя не только письменно, но и устно. Он старался забыть о своем активном выступлении против Бонапарта накануне объявления империи. А его манерный бонапартизм после 1815 года был обусловлен скорее протестом против воцарения Бурбонов — «сволочи, вошедшей в Париж вслед за обозом интервентов», чем искренним почитанием наполеоновской империи как формы власти. Кроме того, сильный характер, большая воля и организаторские способности Бонапарта всегда противопоставлялись Бейлем подловатой трусости Карла X, тупоголовому мистицизму его двора и мещанским рукопожатиям Луи-Филиппа.

Мант уцелел, но разговоры о политике прекратились. На шестом этаже

улицы Анживилье сходились друзья-дофинцы и сотоварищи по Политехнической школе: Крозе, который был впоследствии инспектором мостов и дорог и мэром города Гренобля; Феликс Фор, впоследствии пэр Франции и первый председатель гренобльской судебной палаты; он жил с Анри Бейлем на одной квартире и был одним из самых доверенных друзей Бейля: через него велась впоследствии переписка из Италии и из России. Затем Луи де Барраль, в отличие от Бейля не вышедший в отставку офицер наполеоновской армии, спутник бейлевских поездок, добросердечный, но не блиставший умом человек.

Были еще друзья, о которых не сохранились сведения. Бейль усердно предавался чтению трагедии Альфиери и жизнеописаний Плутарха. Его атеизм окреп в Италии еще более, сделался органической частью его психологии. А в это время в Париже открыто проповедовали католический шарлатанизм, и этому содействовала императорская власть. Один из лучших советников Бонапарта — Вольней указывал ему, что церковь, получая мизинец императора, желает захватить обе руки. Бонапарт ответил Вольнею, что французский народ жаждет религии, на что Вольней заявил: «Что вы скажете французскому народу, если он возжаждет Бурбонов?» В припадке ярости Бонапарт ударил Вольнея ногой в живот и пинками выкинул его за дверь.

Недавно Бейль встретил человека на белом коне— он проехал почти рядом. Еще минута, и он коснется шпорой локтя Анри Бейля. Кто это? Это император французов Наполеон. Бейль пишет: «У него улыбка — это театральная улыбка актера Пикара, и он показывает зубы, а глаза сохраняют злое выражение». Империя была не по вкусу двадцатитрехлетнему отставному кавалеристу, ученику Гельвеция, Руссо, воспитаннику якобинца Гро. Окружающее казалось ему все более и более отвратительным. Да и на самом деле оно было таким...

В неслыханной роскоши соперничала новая аристократия, создаваемая Наполеоном, с верхушкой буржуазии, богатеющей день ото дня на военных поставках, на займах, на ограблении завоевываемых стран.

Последние остатки политической свободы и самоуправления упразднены, над всем господствует доведенная до совершенства централизованная государственная машина с ее бесчисленным чиновничеством. Свобода прессы подавлена совершенно, она имеет право только восхвалять императора.

Стояли холодные осенние вечера. На шестом этаже на улице Анживилье не горел камин — не было топлива, в ночнике не было масла, на свечи не хватало денег. Большие пальцы ног упорно стремились наружу,

так как подошва отставала на носках сапог.

Бейль пришивал пуговицы и решал вопрос: кто ему больше нравится — Викторина Мунье, Адель Ребюффель, некая Шарлотта или некая Луазон?

Викторина Мунье была сестрой Эдуарда и дочерью гренобльского депутата. Сидя в театральных креслах, Бейль искал с ней встречи взглядами. Сам Бейль сомневается в силе своего чувства к ней. Но вот он отмщен: он выходит из театра вместе с маленькой Луазон. Ее настоящее имя Мелани Гильбер. Он познакомился с ней на уроках декламации у Дюгазона. Она-то и исцелила Бейля от увлечения Викторинной Мунье. Марсиаль Дарю с наглой фамильярностью хлопает ее хлыстом: она жила с актером Лафоном, с журналистом Гоше, с поэтом Сен-Виктором. Бейль возмущается, так как он убежден, что в глубине души Мелани Гильбер честнейшая женщина<sup>[23]</sup>.

Привычка переходит в страсть, окрашенную всеми красками нежного чувства. Бейль не может обходиться без Мелани ни одного дня. У нее растет маленькая дочь. Бейль обещает ее воспитать. Так бегут недели, месяцы. Наступает май 1805 года. Мелани получает ангажемент в Марсель. Бейль провожает ее до Лиона и сворачивает в сторону на старую гренобльскую дорогу. Мелани едет на юг. Бейль появляется ненадолго в Гренобле.

Невероятная скука охватывает его здесь. Все внутренние связи с семьей оборвались настолько, что говорить можно только с Полиной. В доме господина Ганьона колониальный торговец господин Ребо имеет лавку, а в Марселе у этого Ребо колониальная контора. Бейль целыми часами сидит за прилавком господина Ребо и рассуждает с ним о марсельских делах. Эти отвлеченные рассуждения принимают все более и более конкретную форму. И, наконец, Бейль получает документ, делающий его приказчиком марсельской конторы господина Ребо. Никому не говоря ни слова, Бейль прощается с сестрой, забрасывает свое скудное имущество и два баула с книгами в желтый кузов почтовой кареты, садится снаружи, так как внутри кареты места оказались слишком дороги, и немного погодя, в Марселе, заключает в объятия свою подругу.

Нет ничего счастливее жизни приказчика: сидеть за прилавком, выписывать счета, пересчитывать бочки, закладывая свинцовый карандаш за ухо, и писать вдохновенные письма двоюродному брату Ромену Коломбу<sup>[24]</sup> о том, что он нашел свое истинное призвание. Затем прогулка за город по дороге, покрытой тончайшей пылью от перемолотого белого

камня. Мелани купается в речке Ивоне; веселая и смеющаяся, разбрасывая брызги навстречу солнцу, она выходит и одевается за кустарником.

...Так прошел год. Приходят письма от Оронса Ганьона<sup>[25]</sup>, в которых Анри Бейль называется шалопаем, прижившим дочь с какой-то актрисой, авантюристкой, в то время как его друзья в армии получают чины и ордена, ездят на собственных лошадях, покупают имения. Бейль горячо отвечает: да, действительно, он, его супруга и его дочь чувствуют себя вполне счастливыми в Марселе. В душе он смеется над дядюшкой и отцом: эти отчаянные роялисты признали власть императора Бонапарта и вместо ненависти к армейской службе молодого Бейля упрекают его за то, что он оставил армию! К Наполеону уже иное отношение: он император, а без него, пожалуй, у всех новых богачей возникнет угроза лишиться земель. Чего только не делает угроза лишиться земель, за бесценнок скупленных в бурные революционные годы! А эти неистовые роялисты не скрывают своего намерения — после восстановления власти законного короля отобрать назад свои земельные владения.

В Марселе появляется русский помещик господин Барков, разыгрывающий из себя знатного вельможу. Прямо из театра, захав за дочкой Мелани Гильбер, он увозит подругу Бейля на русском корабле в Одессу, а затем в Москву.

Приказчик Анри Бейль после тщетной попытки основать банкирскую контору с господином Мантом дошел до нищеты. Получив на всю жизнь отвращение к торговле и банкирским делам, к самому слову «коммерция», он в июле 1806 года вернулся в Париж и снова на прежней квартире погрузился в книжные занятия и в изучение Гражданского кодекса. В этом документе эпохи ясно и отчетливо сформулировано главное, чего добилась буржуазия во время революции: священное право частной собственности на труд рабочих и крестьян, право эксплуатации во всех ее проявлениях. Кодекс исчерпывающе определял, как надлежит защищать это право и осуществлять его во всех областях жизни, начиная простою сделкой купли-продажи и кончая распоряжком в буржуазной семье, в которой устанавливалась полная власть отца и мужа над женой и детьми.

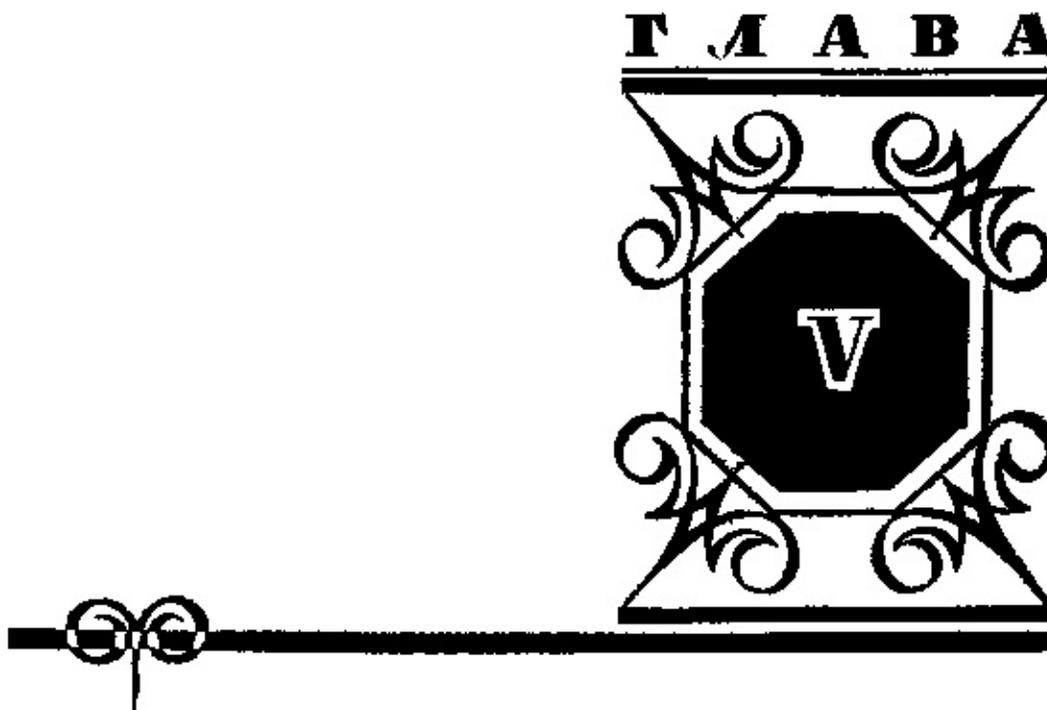
Острый и ясный ум Бейля был увлечен этим замечательным документом, который наглядно показывал, что осталось от революции, во имя чего она совершилась и к чему привела...

В это же время Бейль вступил в масонскую ложу «Каролина», входившую в объединение «Великий восток Франции», во главе которого стоял бывший второй консул Комбасерес, ныне близкий к императору человек.

Когда Бейль в своем одиночестве предавался интеллектуальным занятиям, над Францией снова зашумела военная буря: составила новая коалиция держав, все с тою же целью вернуть Бурбонам престол.

Марсиаль Дарю посетил Бейля. Ганьоны пишут нежные и ласковые письма с просьбой открыть Анри Бейлю доступ в армию. Бейль морщится, но принимает приглашение и отправляется в качестве спутника Марсиаля Дарю в Германию, в Главную квартиру.

## ГЛАВА V



14 октября 1806 года под Иеной с высокого холма Бейль наблюдает движение гигантских армейских колонн. Ветер срывает с него шляпу, в уши гулко ударяет залп двухсот семидесяти пушек, и начинается бой, который приводит к полному разгрому прусских войск<sup>[26]</sup>.

27 октября 1806 года Бейль на улицах Берлина видит, как вслед за гвардейским эскортом едет медленным шагом на белой лошади человек с каменным лицом, с неподвижными, зажавшими поводья руками.

Прошло немного дней, и Бейль, безвестный марсельский приказчик, становится интендантом императорских владений в Брауншвейге. А декретом от 11 июля 1807 года, подписанным Наполеоном в Кенигсберге, Анри Бейль назначается помощником военного комиссара.

Начался брауншвейгский период жизни: 1807–1808 годы. Четко проводимые военные занятия чередовались с научной работой. Зная латинский, греческий, итальянский и английский языки, Бейль тщательнейшим образом изучил немецкий язык в первые же месяцы пребывания в Брауншвейге. Способности к языкам у него чрезвычайные...

<sup>[27]</sup> После изучения языка он принялся за изучение философии и с полной

серьезностью и глубиной усвоил доктрину кенигсбергского профессора Иммануила Канта. Изучать Канта приходилось в обстановке весьма напряженной. Каждый день одно и то же: покушения на французов, выстрелы из-за угла, мятежная стрельба на улицах, избиения французов. Среди треволнений и опасностей этот немного рыхлый человек, огромного роста, с некрасивым, но выразительным лицом и с яркими, живыми глазами, совершенно преобразился. Располагая огромной силой власти, он приобрел суровость манер, сдержанность и легкость походки. Дни отдыха он проводил на охоте в далеких горах, в стрелковых упражнениях, в верховой езде. Он похудел, сделался легким и подвижным, превосходно овладел искусством стрельбы — настолько, что бил птицу на лету из пистолета.

Генерал Ларивоньер сделал неосторожную вещь: вывел из Брауншвейга весь гарнизон. Этим воспользовались местные молодые заговорщики, представители будущего Всегерманского союза молодежи, поднявшего национальный бунт против Бонапарта. Они забили в набат, затрубили в рога и подняли все население. Их целью было убить военного комиссара, перерезать французов, лежавших в госпиталях, и изгнать оккупантов. Толпа с криками «Смерть комиссару!» остановила его коляску. Отстреливаясь, Бейль ворвался в госпиталь, поднял больных и раненых, накричал на растерявшихся офицеров, превратил госпитальные окна в бойницы, раскидав матрацы по окнам. Собрав наиболее здоровое и сильное французское население во дворе госпиталя, он первый открыл ворота и сделал вылазку на площадь; залпом разогнал толпу, водворил порядок и через курьера затребовал часть отозванного гарнизона. Таким образом слабейшая группа людей, возглавляемая к тому же не офицером, а интендантом, одержала победу над инсurreкцией Брауншвейга.

Что могло руководить Бейлем, когда он так жертвовал жизнью? Было ли это честолюбие, взрыв внезапного военного энтузиазма или просто стихийное увлечение общим воинственным духом французской армии этого года? Судя по письмам, это, очевидно, все-таки был акт, реагирующий на Брауншвейг как центр антифранцузской коалиции, глава которой, герцог Брауншвейгский, грозил «бунтовщикам» «сжечь Париж».

Военная хитрость Наполеона всегда была предметом большого восхищения Бейля. С того момента, когда Наполеон призвал своего генерального интенданта Дарю и передал ему максимальный график движения семи корпусов и обдуманную заблаговременно диспозицию войны, он стал все больше и больше завоевывать симпатии Бейля.

У Наполеона были такие мастера-соглядатаи, как Шульмейстер, и

походная типография, печатавшая все что угодно на любом языке. Шульмейстер в октябре 1805 года напечатал по приказу Наполеона специальный номер парижской газеты, сообщавший о парижской революции, о низложении Бонапарта, о страшных волнениях, охвативших всю Францию. Австрийская армия генерала Макка пыталась уйти из Ульма и сохранить свою живую силу. Для того чтобы парализовать энергию Макка, Наполеон подослал со шпионом этот номер газеты. Австрийское командование успокоилось, ожидая, что с минуты на минуту обеспокоенный парижскими волнениями Наполеон снимет осаду. Наполеон нанес удар, решивший судьбу третьей европейской коалиции против Франции, — он принудил Макка к сдаче (20 октября 1805 года).

Не менее восхищало Бейля и форсирование Дуная, когда, за ночь раскидав по кустарникам батальон гренадер перед самой Веной, Мюрат, Ланн и Бертран с полковником Додом взошли на минированный мост, крича о заключении перемирия. Австрийский генерал князь Ауэрсберг не успел выслушать странных парламентаров, как гренадеры, выскочив из-за кустов, были уже на мосту. Они вырвали фитили, захватили пушки и раньше чем австрийцы успели оказать сопротивление овладели мостом.

Но самый забавный эпизод — это просьба о перемирии, посланная с генерал-адъютантом Савари русскому царю Александру I. Кутузов, ведший русские войска на чужой территории, не желал боя. Ему надо было уйти с опасных позиций. Как раз в это время Наполеон в необычайно униженной форме стал просить Александра послать к нему доверенное лицо для переговоров. Александр послал князя Долгорукова, который вел себя с французским императором, по выражению самого Наполеона, как «с боярином, с которого сейчас снимут шубу и в санях отошлют в Сибирь». С расстроенным лицом, чуть не плача, Наполеон разыграл комедию трусости и отчаяния. Россия требовала отказа от Италии, чуть ли не низложения Наполеона. Когда, задыхаясь, Наполеон развел руками и ответил отказом, в русском штабе началось ликование. А через день, 2 декабря, австрийско-русские корпуса были искрошены Наполеоном на холмистом пространстве около Праценских высот, западнее деревеньки Аустерлиц, в ста двадцати километрах к северу от Вены. Александр, плача навзрыд, бросился в смертельном испуге из седла в карету. Генералы в сумятице бежали, забыв о царе.

Все эти события 1805–1807 годов создали то настроение в умах французов, которое Бейль окрестил «*Le divin imprévu*» — «божественное непредвиденное». Эта формула веры в счастье всегда была свойственна Бейлю.

Вот откуда и брауншвейгский подвиг.

В мирной обстановке Бейль был неумолим и давил Брауншвейг таким исчислением контрибуции, которое удостоилось одобрения Наполеона; из этого малонадежного места удалось выколотить шесть миллионов золотом.

Чем объяснить вражду Бейля к Брауншвейгу? Войсками первой коалиции против Франции командовал герцог Брауншвейгский. Бейль считал свое назначение в Брауншвейг делом почетным и вместе с военным задором проявил мстительность французского республиканца.

В кратких записках «Путешествие в Брауншвейг» Бейль дает, по обыкновению, очерк нравов местных жителей, описывает их город, тонкой и сухой иглой гравировывает портреты мужчин и женщин, предвосхищая этим способом письма последующую новеллистическую манеру своего друга и ученика Проспера Мериме. Легкий, временами даже легкомысленный тон этого короткого дневника никак не отразил бурных событий жизни Бейля, которые мы описываем по чужим свидетельствам и документам. Совершенно неожиданно брауншвейгский дневник заканчивается размышлением о человеке, о ценности человеческой жизни и выпадом против России.

«В Петербурге лет пятнадцать тому назад проживала вдова по имени \*\*\*. Эта помещица вызывала к себе маленьких девочек принадлежавшей ей деревни. Она выбирала одиннадцати-двенадцатилетних и давала им превосходное воспитание и образование. Она обучала их чтению, письму, пению, музыке, танцам. А затем продавала по пятьсот рублей каждую тем представителям русской дворянской молодежи, которые таким способом обзаводились красивыми любовницами. Помимо любовниц, она продавала своих крепостных в качестве учительниц и гувернанток. И в самом деле, что может быть удобнее приобретения за NN ливров человека в полную собственность?»

Бейль не мог долго сидеть на месте. С необычайной легкостью собирался он и переезжал из города в город. Надо помнить крайнее неудобство тогдашнего передвижения: гигантские кузова почтовых карет и брик, четверки, шестерки и восьмерки лошадей с фореиторами, плохие дороги, разбитые колесами пушек и военных повозок, поля и лесные тропы, истоптанные сотнями тысяч солдатских сапог. По этой военной Европе Бейль скитался, как жадный искатель человеческих характеров, как наблюдатель человеческих сердец. С огромным и чутким вниманием этот молодой человек прислушивался к многоязычному говору интернациональной армии Бонапарта.

Так судьба привела Анри Бейля в маленький саксонский городок,

когда-то окруженный крепостными стенами с семнадцатью башнями. Это средневековый Стендель, или Стендаль, как его именовали на картах тогдашнего времени. В этом городе в семье полунищего сапожника родился в 1717 году Иоганн-Иоахим Винкельман, основатель археологии классического искусства, одним из первых увидевший воскрешение греко-римского мира в те годы, когда исторический вихрь сдунул пепел Везувия с памятников Геркуланума и Помпеи. В память ли этого человека, или в честь дней тихого отдыха и влюбленной созерцательности, напомнившей лучшие впечатления Италии, родилась у Бейля благодарность к имени этого маленького города? Но прошло много лет, прежде чем Анри Бейль стал подписывать свои письма и книги псевдонимом «Барон де Стендаль». Он выехал из городка по-прежнему Анри Бейлем. Он по-прежнему шел по следам бонапартовских войск и 10 мая 1809 года с тревогой прислушивался, как в полумиле от предместья австрийской столицы, в Шенбрунне, ложились ядра и рвались гранаты.

Страстный любитель музыки, Бейль знал, что неподалеку стоит маленький дом, в котором живет музыкант Иосиф Гайдн. Бейль с тревогой наблюдал обстрел Вены французскими войсками. Впоследствии он рассказывал, как четыре снаряда упали в садик старого музыканта и разрушили его цветник. Гайдну казалось, что его любимая Вена исчезнет под обломками собственных зданий и осколками французских ядер. 31 мая, разрывая на себе рубашку от удушья, Гайдн скончался. В шотландской церкви в Вене был назначен день исполнения моцартовского «Реквиема» в знак траура по умершему композитору. Въезжать в Вену было еще опасно. Однако, услышав об этом траурном торжестве, Бейль потихоньку снялся с бивака под Веной и присутствовал при исполнении «Реквиема». Это его интересовало гораздо больше, чем брачные проекты Наполеона, ухаживавшего за великой герцогиней Марией-Луизой, дочерью императора Франца.

Перед отъездом в Париж, заключив Шенбруннский мир, Бонапарт дал дипломатические поручения целому ряду лиц. И так как Бейль прекрасно говорил по-немецки и привлек к себе внимание военного большого света, то и ему пришлось принимать непосредственное участие в предварительной подготовке почвы для брачно-политического контракта французского императора, сына корсиканского нотариуса, «Николая Бонапарта», как называли его незадолго перед тем австрийские газеты, с отпрыском династии Габсбургов, феодальный герб которых насчитывал много веков генеалогического чванства, сомнительной славы и неувядаемого позора.

Старший кузен Дарю радикально изменил свое отношение к Бейлю. Перед ним уже был не легкомысленный мальчишка, готовый не нынче-завтра выскочить «в отставку», а опытный и знающий работник. «В Эрфурте 1809 года читатель увидит пес plus ultra нашей работы. Дарю и я, мы выполняли всю работу по интендантской части в армии в течение трех дней или недели. У нас не было даже переписчика».

Бейль имел казенный оклад в размере 1 800 франков и получал от отца столько же. Дарю обеспечил ему возможность в порядке поддержания дипломатического престижа расходовать до двадцати тысяч франков в год. Бейль сам признавался, что за эти годы он истратил гораздо больше, чем за всю свою жизнь.

Дипломатическая поездка в Линц, где велись переговоры о женитьбе Наполеона на дочери побежденного императора Франца, не осталась без вознаграждения. 1 августа 1810 года Бейль был зачислен аудитором первого ранга в Государственный совет. Как и следовало ожидать, Бейль был назначен в военную секцию.

22 августа 1810 года Наполеон учредил должность двух инспекторов движимых и недвижимых коронных имуществ и обратился к генеральному интенданту графу Дарю с приказанием подыскать надлежащих кандидатов. Дарю представил Лекуте де Кангле и Анри Бейля. Подписывая назначение, Наполеон приказал Бейлю взять на себя управление Голландским бюро по выполнению гражданского листа императора.

Таким образом, судьба неожиданно наградила его всеми материальными благами. Инспектор коронных имуществ Наполеона, двадцатисемилетний аудитор Государственного совета сделался ближайшим сотрудником генерального маршала императорского двора Дюрока, герцога Фриульского, родившегося в 1772 году и убитого 22 мая 1813 года<sup>[28]</sup>.

В воскресенье 16 декабря 1810 года якобинский философ, участник заговора Моро, Анри Бейль впервые после многих лет посетил «храм божий». Он отстоял мессу в тюильрийской дворцовой капелле, после чего герцогиня Монтебелло, красивая фрейлина императрицы, представила господина Анри Бейля императрице Франции Марии-Луизе. Все салоны Парижа были открыты этому баловню судьбы.

Понимал ли Бейль свою сделку с совестью? Чувствовал ли он себя хорошо, попав неожиданно в колею карьеризма и компромиссов? Оклад в двенадцать тысяч франков, прекрасные лошади, охота, даже перспектива сделаться рантье... Во всяком случае, есть уверенность, что под конец жизни он будет обладателем состояния. Нужно будет разместить его в

Англии и Америке. А затем?..

И вот пришла неожиданная мысль: Бейль счел себя обязанным учредить премию за прекраснейшее литературное произведение Франции. Этого мало. Он усиленно стал изучать испанский язык и преодолел его в небывало быстрый срок.

Оглядываясь на недавнее прошлое, вспоминая то облака и кроны деревьев во время сражения под Бауценом, то нападение тайного общества германских националистов под предводительством Гофера и тирольского разбойника Катта на маленький город Стендаль, где Бейль охотился за козами в горах, — Бейль чувствовал все чаще и чаще захватывающую созерцательность, которая была свойственна ему уже в первые годы жизни в Париже. Но на этот раз реминисценции не привели его к занятиям литературой. И даже любовное увлечение Минной фон Гризхейм, которая потом в рассказе стала Минной фон Вангель, даже нежные чувства, внушенные графиней Пальфи, которую в дневниках Бейль именовал Александриной Пти или Эльвирой, не пробудили в нем никаких литературных устремлений. Венский дневник — 27-я тетрадь — оканчивается заметкой: «Я потерял мои дневники, содержащие продолжение и конец». Но даже уцелевший кусок больше, нежели парижский дневник 1810 года, составляющий 28-ю тетрадь гренобльской библиотеки: так, с 15 февраля по 3 мая он заполнил всего четыре с половиной листа<sup>[29]</sup>.

Новая придворная жизнь быстро оказалась неподходящей для Бейля. Он посещал Тюильри, наблюдал за изменением нравов: золото и бриллианты придворной капеллы, пышные одежды духовенства, звуки органа, латинское богослужение. Официальные встречи в парижских гостиных, приемы, многочисленные, сухие и чопорные. Бейль вспоминал нравы эпохи революции, и даже жирондистка Ролан казалась ему интереснее хозяйек салонов 1811 года. Бейль пишет:

«На смену крупным характерам явились женщины нашей империи, плакавшие, сидя в экипаже на обратном пути из Сен-Клу в Париж, только потому, что императору не понравился покрой их платья. А затем явились женщины, выстаивающие длинные обедни, чтобы вымолить у бога должность префекта для своих мужей».

Во время революции исчезли очень типичные для Франции салоны светских людей королевской эпохи, которые были чем-то вроде литературно-политических и артистических клубов.

«После падения террора французы бешено устремились к удовольствиям старинных салонов. Посмотрите на салоны Тальена, так

называемые «les bals des victimes» — «танцевальные вечера жертв революции». Случилось так, что, будучи в салоне Барраса, Бонапарт впервые увидел, какие тонкие волшебные наслаждения может предоставить ему утонченное общество. Но подобно негру, явившемуся на африканский рынок с гигантским грузом золотых монет и без единой разменной медяшки, ум первого консула был развит слишком широко, воображение было слишком горячо и живо, чтобы он мог найти себе успех в гостиных такого рода. К тому же он явился туда в возрасте двадцати шести лет, с характером уже сформировавшимся и непоколебимым.

В первые дни его возвращения из Египта тюильрийский двор представлял собою настоящий военный бивак. Он был откровенен, естествен и неостроумен, и только госпожа Жозефина Бонапарт словно исподтишка старалась быть любезной хозяйкой салона. Общество ее дочери Гортензии, ее собственное влияние смягчили железный характер первого консула. Он уже стал понимать утонченность обращения и манер Талейрана. А последний обладал удивительно непринужденными манерами.

Бонапарт ясно увидел, что если он пожелает стать коронованным властелином, то для прельщения слабовольных французов нужен будет двор — магическое слово. Он огляделся и увидел, что находится в руках военной конспирации. Конспирация итальянской гвардии может свергнуть его с трона и предать смерти. Он был окружен. И префекты, и дворянские дамы, и камергеры, и шталмейстеры, и министры влияли на гвардейских генералов, которые также были французами и обладали врожденным уважением ко двору.

Деспот стал подозрителен. У его министра Фуше были шпионы даже среди маршалов. Император завел пять полиций, из которых каждая контролировала и ненавидела друг друга: полиция министра, полиция первого жандармского инспектора, полиция префектуры, полиция главного почт-директора и, наконец, личная полиция императора. И с тех пор малейшее слово, уклоняющееся от обожания — не скажем деспота, но самой идеи деспотизма, — вело человека к бесповоротной гибели.

Наполеон в каждом старался возбудить высшую степень честолюбия. Служа у монарха, который был сначала артиллерийским лейтенантом, у монарха, маршалы которого были деревенскими скрипачами и учителями фехтования, трудно было не желать стать министрами, и не было младших офицеров, не мечтавших о шпагах коннетабля. В конце концов император захотел переженить весь свой двор в двухлетний срок: ничто так не порабощает, как узы брака. И когда это было сделано, он стал следить за

нравственностью французских семей.

В 1806 году он приказал передать богатейшему ювелиру города Парижа, отцу трех дочерей: «Генерал N женится на старшей вашей дочери. Вы дадите за нею пятьдесят тысяч экю приданого». Растерявшийся отец, имея доступ в Тюильрийский дворец, явился к императору просить о милости. Не поняв отказа, Наполеон заявил: «Генерал N посватается завтра. Брак состоится послезавтра». Супружество оказалось очень счастливым».

Стендаль описывает интимный кружок императрицы, в котором допускалась некоторая свобода разговоров:

«Кружок собирался в восемь часов в Сен-Клу. Помимо императора и императрицы, он состоял из семи дам и господина де Сегюра, Монтеスキю и Богарне. Одетые с невероятной пышностью, придворные кавалеры и дамы стояли вдоль стен этой маленькой комнаты. Император за маленьким столом просматривал бумаги. Проходило четверть часа мертвого молчания. Император вставал и произносил:

— Я устал работать. Прикажите войти Коста. Я взгляну на дворцовый план.

Барон Коста, страшный толстяк, входит с планом под мышкой. Император приказывает объяснить себе статьи расходов будущего года в Фонтенебло, постройку которого он решил закончить в пятилетний срок. Он молча читает весь проект, прерывая чтение лишь отдельными замечаниями Коста. Он находит ошибки

в вычислениях. Коста помогает ему выводить итог. Внезапно, словно очнувшись, два или три раза император обращается к императрице:

— Почему молчат эти дамы?

За этим следует несколько дамских слов, произнесенных холодным шепотом, на тему об универсальных талантах его величества, и снова на три четверти часа водворяется гробовое молчание. Император снова оборачивается:

— Но эти дамы опять ничего не говорят, дорогой друг мой. Прикажите принести лото.

Кто-нибудь звонит, приносят лото. Император продолжает свои вычисления; приказав принести лист чистой бумаги, снова начинает считать, увлекается, ошибается, ругается. В эти трудные минуты человек, вытаскивающий из мешочка номера лото, еще более гасит свой голос. Шепот превращается в беззвучное движение губ, неудачно называющих цифры. Дамы качают головой и глазами говорят, что они не понимают, какой номер вышел. Затем бьет десять часов. Печальное лото

прекращается, и так заканчивается вечер».

Бейль, описывая двор Наполеона и черты тогдашнего светского общества, добавляет еще один характерный штрих:

«Один генерал из моих друзей созвал на обед двадцать друзей. Он дал распоряжение Вери, ресторатору Пале-Рояля, приготовить кабинет на двадцать приборов. Вери выслушал приказание и заявил:

— Вы, наверное, знаете, генерал, что я обязан заявить о вашем обеде полиции, чтобы кто-нибудь из ее представителей присутствовал у вас.

Генерал вознегодовал и вечером, встретив министра полиции Фуше, герцога Отрантского, сказал:

— Черт возьми! Дело дошло до того, что я не могу позвать к себе двадцати человек, не пригласив одного из ваших полицейских!

Фуше длинно улыбается и приносит извинения, не отступая, однако, от условия. Генерал возмущается, Наконец Фуше как бы по вдохновению говорит:

— А покажите, кто у вас собирается.

Генерал показывает список фамилий. Поглядев поверхностно начало списка — не больше трети всех имен, — Фуше возвращает список с рассеянной улыбкой и говорит генералу:

— Нет надобности приглашать полицейского».

Париж 1810–1811 годов был Парижем хищений и афер: интендантские кражи, воровство Массрна, финансовые спекуляции Перрего. Прибрежные жандармы и таможенные чиновники покупали дома на лучших улицах Парижа. Они тонко усвоили технику своевременного она в те ночи, когда английские товары приставали к нормандским берегам. Капитаны сторожевых судов, пропускавшие хлебные грузы Англии, покупали поместья старинных французских графов.

И как ни боролся Бонапарт с этой шайкой воров, он ничего не мог сделать, ибо богатство было привлекательно. Он старался уничтожить дикую жажду безумных и скороспелых наслаждений, овладевшую его двором, но балеты Каролины Мюрат и Полины Боргезе выходили за пределы всякой сдержанности и приличия. Одна из сестер Наполеона стремилась устраивать балы в стиле эротических картин Арегино. Другая, жена покойного Леклерка, умершего от желтой лихорадки после поражения, нанесенного ему в Антилии негром Туссенем, сохранила извращенные и утонченные привычки к забавам смешанных рас и любила танцевать в костюме дикой африканки в объятиях красавца генерала Лагранжа.

Бейлю скоро прискучили эти зрелища. Ему было неприятно выполнять

поручения своих высокопоставленных «друзей» и возить к знаменитому доктору Кюйерье трех придворных дам, заподозренных в тяжелом венерическом заболевании. Кюйерье объявил Бейлю, что эти дамы болеют только самой пошлой лихорадкой эротической разнузданности.

Бейль явно скучал. С гримасой скуки и отчаяния сидел он в Государственном совете. И только противная на вид, далеко не красивая госпожа Беньо, которую тогдашний Париж третировал как «синий чулок» за большие страсти ума и тонкие интеллектуальные вкусы, привлекала действительное внимание Бейля. Он отдыхал в ее салоне. Там он познакомился с одним из замечательнейших своих современников — Полем-Луи Курье.

Создатель искусства фельетона Курье лучше чем кто-либо другой мог понять напряженность созерцательного ума своего современника. И Бейль не мог найти лучшего собеседника в тот год, когда он убедился, что для изучения человеческого характера надеть на себя ливрею наполеоновского лакея можно, но носить ее с обожанием и искренне нельзя.

Поль-Луи Курье родился в 1772 году. Он был старше Бейля на одиннадцать лет. Бросив военную службу за год до встречи с Бейлем, он посвятил себя филологическим исследованиям в самую горячую пору наполеоновских войн и мечтаний Франции о громадных походах на Восток. Ненависть Курье к войне, ненависть к трону и алтарю делала его типичным буржуа в мундире Национальной гвардии, но чрезвычайно плохим подданным его величества Наполеона. Он еще не создал ни одного своего памфлета, но пострадал от ярости иезуитов в Италии<sup>[30]</sup>. Уже горькая складка легла на его губах, и улыбка Поля-Луи Курье была полна хинной горечи, которая пропитала и страницы его памфлетов.

Бейль сам не ждал, что так быстро ему надоест и лакей Франсуа и полновесная актриса Анжелина Берейтер, за которой он заезжал в театр и, накинув на ее плечо модный плащ из голубого атласа, усаживал в коляску и увозил к себе.

Бейлю стало скучно смотреть на бутылку шампанского и на холодную куропатку, затем ужинать с этой не блистающей умом дамой и под утро разглаживать пуховкой синие круги у нее под глазами. И в августе 1811 года его охватывает непреодолимое стремление сломать привычный уклад жизни.

Не довольствуясь пятидневным пребыванием в Гавре, предпринятым для того, чтобы подышать морским воздухом, Бейль 29 августа 1811 года бросает все дела, получает отпуск и выезжает из Парижа по лионскому шоссе, направляясь в Италию.

Появляются всегдашние спутники литературных занятий Бейля — многочисленные псевдонимы: он становится Л. А. Догтье, просто буквой «Н», Роморентеном — в письмах к сестре Полине. Это значит, что он в разладе с действительностью. Это значит, что он подавлен. Это значит, что он убегает от самого себя, растраченного людьми, к самому себе, сосредоточенному на том, что он любит больше всего.

7 сентября 1811 года, перед заходом солнца, Бейль почувствовал себя возвращенным к жизни: он снова ступал по большим прохладным плитам миланского двора, как одиннадцать лет перед этим.

Вечер клонится к концу, но еще осталось несколько минут, и коляска доставляет его к билетной кассе гигантского театра Ла-Скала. И снова перед ним прекраснейшие складки драпировок и портьер на ложах бенуара, сплошь представляющих собою блистательные салоны итальянской знати и богатых людей.

Наиболее уважаемые миланские дворяне располагаются в четырех-пяти комнатах, из которых только одна, маленькая, с десятью креслами, выходит в зрительный зал. Прохладные оранжады, золотистые лимонные желе, бокалы, пенящиеся вином асти спуманте или дженцано, мозаичные столы, золоченые подлокотники диванов и кресел, подушки, вышитые прохладным бисером, цветы по карнизам и легкие фонтаны посередине комнаты — вот каковы ложи миланского театра тогдашнего времени. Стоит слегка нажать узорную скобку с пружиной — и открывается дверь в узкий коридор, из которого можно войти в то, что называется собственно театральной ложей. Но туда выходят только тогда, когда prima donna поет лучшие ариозо Чимарозы или Моцарта, когда ставятся оперы Ньекко или Паэра. В остальное время все заняты беседой, делятся новыми литературными впечатлениями и рассказывают о событиях, происходящих во всем мире, по сведениям, полученным в посольствах и военных штабах.

Главная цель Бейля — свидеться с юноноподобной итальянкой, прекрасной, как греческая богиня, Анжелой Пьетрагруа. Уже на следующий день по приезде он с трепетом ждет в маленькой гостиной выхода пленительной женщины. Вот великолепные кольцеобразные черные волосы, дуговидные брови, вся ее фигура, слегка округлая, завершенная в прекрасные античные формы. Она в ссоре с мужем, появляется слегка разгоряченная и не узнает стоящего перед ней человека. Это ужасно. Три раза он повторяет:

— Да я Бейль — друг Жуанвиля.

— А! — восклицает она наконец. — *Qu'egli è il Chinese* («Да это

Китаец!»).

И тут Бейль вспоминает, что действительно в те годы он имел прозвище Китайца за узость и раскосость глаз. Некоторые звали его Великим египтянином, словно пародируя его любовь к приключениям Калиостро.

Проходят дни, и чем больше развязывается язык Бейля, чем речистее он становится, тем больше Анжела удивляется: как можно держать в памяти все эти тысячи мелочей!

Но Бейль быстро находит выход:

— Это объясняется только тем, что все нанизано в этом ожерелье на одну священную нить любви.

Бейль записал впоследствии:

«Сегодня в час пополудни я пришел к ней. К счастью, она заставила меня прождать четверть часа. Это дало мне возможность прийти в себя».

Анжела Пьетрагруа не была «скупой женщиной». Она решила, что если человек с такой хорошей памятью приобретет крупицу счастья, а она при этом ничего не потеряет, то она сделает доброе и хорошее дело. И Бейль действительно был счастлив или казался себе таким до тех пор, пока после нескольких выездов в итальянские города он не очнулся от этого карнавального угара 27 ноября 1811 года в Париже.

## ГЛАВА VI



Если двор Наполеона в Париже и Сен-Клу утопал в роскоши, то сам он, подбираясь все ближе и ближе к польским пределам, ночевал в задымленных амбарах, по две недели не снимая сапог и не раздеваясь.

Италия, Пруссия, Австрия, Голландия, Испания покорены, и всюду с титулами великих герцогов, королей и вице-королей посажены его родственники, выполняющие роли губернаторов и полицмейстеров французского правительства. С Россией — мир; Англии декретом 21 ноября 1806 года объявлена та форма войны, которая служила признаком бессилия Наполеона, — континентальная блокада. Наполеон готовился сломить последних и самых сильных противников — Россию и Англию. Он собирал силы для нанесения решительного удара, успех которого превратил бы его в полного и единственного владыку всей Европы.

«Цезарь безумствует», — писали английские газеты. А Наполеон затевал «поход в пограничные с Азией владения, простиравшиеся от Польши до Урала».

Он хотел раздавить Россию, но это требовало давления на собственную буржуазию, не говоря о том, что новый поход тяжело

ложился, как и все наполеоновские войны, на массу трудового населения Франции.

Маркс писал: «Деспотически подавляя либерализм буржуазного общества — политический идеализм его повседневной практики, — он не щадил равным образом и его существеннейших материальных интересов, торговли и промышленности, как только они приходили в столкновение с его, Наполеона, политическими интересами. Его презрение к промышленным дельцам было дополнением к его презрению к идеологам. И в области внутренней политики он боролся против буржуазного общества как противника государства, олицетворенного в нем, в Наполеоне, все еще в качестве абсолютной самоцели. Так, например, он заявил в государственном совете, что не потерпит, чтобы владельцы обширных земельных угодий по произволу возделывали или не возделывали их. Тот же смысл имел и его план — путем передачи в руки государства гужевого транспорта подчинить торговлю государству. Французские купцы подготовили то событие, которое впервые потрясло могущество Наполеона.

Парижские биржевики путем искусственно созданного голода заставили Наполеона отложить русский поход почти на два месяца и т а к и м о б р а з о м п е р е н е с л и е г о н а с л и ш к о м п о з д н е е в р е м я г о д а»<sup>[31]</sup> (Разрядка моя. — А. В.).

Парижские спекулянты рассчитывали, что Наполеон, как человек сообразительный, опоздав на два месяца, вовсе откажется от безумной попытки идти в Россию в такое тяжелое для Франции время. Ведь только что закончился беспримерный 1811 год — кризис охватил торговлю и промышленность Франции и других европейских стран. Страна еще не оправилась от его последствий, и буржуазии вовсе не улыбалась необходимость новых напряжений и жертв. Крестьянство также устало от бесконечных войн, — ведь ему одному приходилось вносить налог кровью, потому что буржуазия откупалась, платя за освобождение своих сыновей.

Бонапарт знал, что не французские и фландрские суконщики и не оружейники Франции и Голландии делают ему амуницию и оружие для Русского похода и для войны с Англией, а на французское государственное золото все это изготавливается на фабриках и заводах Англии, то есть руками его врагов. 19 апреля 1811 года министр внутренних дел докладывал Наполеону:

— Рабочие большей части промыслов жалуются на безработицу и уверяют, что огромное число рабочих непрерывной волной полилось в эмиграцию.

Пятнадцать миллионов франков были ассигнованы Наполеоном на поддержку мануфактур. Эти пятнадцать миллионов быстро были размещены в глубоких карманах спекулянтов. А товары по-прежнему поставляла Англия.

Но ничто не могло удержать Наполеона от осуществления давно взлелеянного замысла.

Еще в 1810 году он задумал «поить своего коня водами Ганга». Громко говорить о таких вещах парижским банкирам было неловко: они, хихикая, вышли бы из кабинета императора и не дали бы ни копейки. Но не один Нарбонн, а и другие слышали об этом замысле. В самом деле, из двух врагов, оставшихся в мире — России и Англии, — надо было выбирать сейчас одного, для того чтобы раздавить обоих. Наполеон выбрал Россию и решил, что, завоевав подступы к Азии, он «из Москвы ударит на Индию и сразу раздавит и меркантильную империю англичан и берлогу северного медведя».

Французский консул Нерсиа скитался в это время по Сирии и Египту, подготавливая будущее вторжение в Английскую Индию. Французское золото расходовалось на антибританскую пропаганду среди мусульманского и буддийского населения.

Англичане обезвредили работу Нерсиа. Леди Стенгоп на свои средства вооружает сорокатысячный корпус бедуинов. Английское оружие наводняет Индию. Французы истребляются в целом ряде местностей Леванта.

Наполеон заблаговременно изучил материалы о России — литературные, исторические, экономические, географические. Он определил, что московскому дистрикту свойственны сто морозных и солнечных дней, но он не определил силы этого мороза. Он ринулся в поход в опьянении, ему совершенно неприсущем, словно его оставили те качества, которые так красиво определил в нем Тютчев:

И в самой бездне вдохновенья  
Змеиной мудрости расчет.

Расчет был продиктован тщеславием.

24 июня 1812 года триста поляков 13-го полка, входившего в состав наполеоновской армии, первыми переправились через Неман. Началась война с Россией, которую Наполеон на всякий случай называл Польской войной: он шел в Россию под видом защиты поляков от возможного вторжения в Варшаву войск Александра I, хотя сам Наполеон не верил в такую возможность.

Тонкие наблюдатели, офицеры, писатели старинного закала оставили нам незабываемые характеристики этих дней.

Следует обратить особое внимание на книгу «Moreau de Jonnès» — «Военные приключения времен Республики и Консульства». На странице 138-й второго тома этот морской офицер, прекрасно знакомый с изнанкой всех морских приключений Наполеона, прямо сравнивает поход экспедиционного корпуса французов на Антильские острова для подавления революции освобожденных негров с походом в Россию.

«Эта дальняя экспедиция была словно прообразом того, что через десять лет произойдет в России. И она должна была бы служить полезным предостережением императору, когда он составлял проект Русского похода. И та и другая экспедиции имеют поразительные черты сходства. И та и другая были ознаменованы чудовищными событиями — сожжением столиц, предпринятыми и в том и в другом случае правительствами этих стран, что вызвало гибель многомиллионных имуществ. И та и другая повлекли за собою полное истребление захватнической армии французов. Но в одном месте нас истребил холод, а в другом — огонь и желтая лихорадка. И, наконец, если одна из них была причиной разрушения колониального могущества Франции и закрытия для нас путей на Восток, то другая была причиной полного падения Французской империи».

Одним из интереснейших документов Русского похода являются записки Сезара Ложье «Дневник офицера Большой армии 1812 года». Русская традиция по недоразумению называет специальную армию Бонапарта, направленную в Россию, почему-то Великой армией. Слово «великий» имеет оценочный характер. На бланках Бонапарта пишется «Grande armée», то есть Большая армия, в отличие от частных объединений и корпусов, которые просто назывались у него номерами или именами главнокомандующих. Адъютант Евгения Богарне, вице-короля Италии, Сезар Ложье прямо заявляет, что он не литератор. Его дневник интересен в том отношении, что представляет не литературную обработку, сделанную позже, а подлинные записи, со всеми ошибками суждений и искажениями слухов.

С самого начала похода Ложье отмечает: «Солдаты живут весело, нимало не думают о том, будут ли они воевать с Россией или Персией. Есть между ними и такие, которые считают целью экспедиции Персию или Ост-Индию». Слухи об отдаленных целях похода просачивались в армейские низы...

Чрезвычайно ценным документом являются и воспоминания Сегюра, участника Русского похода. Юношей граф де Сегюр ненавидел Наполеона. Но вот он увидел однажды, как в Париж вступает триумфальная армия. Он стоял на мосту и наблюдал, как негры в красных мундирах, с гигантскими

белыми барабанами наполняют грохотом и звоном оконных стекол всю улицу, как движется пышная колонна всадников, блистающих мишурой и алмазными пряжками. Затем вдруг наступает перерыв, и на огромном пустынном пространстве он видит только маленького человека в сером сюртуке с бледным лицом и горящими глазами. Он идет пешком спокойным и большим шагом, обмахивая разгоряченное лицо простой оливковой веткой. Вот он прошел мимо. А за ним двинулись, сверкая штыками на солнце, пехотинцы, кавалеристы, с грохотом прошла артиллерия. И Сегюр почувствовал, как сердце его перестало биться... Этот день решил судьбу непокорного шуана.

В Русском походе Сегюр был адъютантом Наполеона. Его записки интересны потому, что касаются некоторых сугубо секретных сторон похода. Именно Сегюру принадлежит мнение о том, что первоначально затеянная Бонапартом как помощь его военному замыслу крестьянская революция в России была отвергнута. Сегюр пишет:

«Революция и свержение помещичьего гнета не только не обеспечат успеха французскому оружию, но сделают самое пребывание иностранных войск в России невозможным. Уже бывали примеры варварской свободы у варварских народов; они превращались в безудержную разнузданность. Мы уже имеем несколько собственных примеров тому. Русские дворяне погибли бы от своих рабов, как колонисты от негров Сан-Доминго.

Его величеству угодно было отказаться от намерения вызвать такое движение, которое французская политика не в состоянии будет в дальнейшем урегулировать, так как это может и за пределами России разрушить связи правительства и правящих классов всех европейских наций».

Совершенно ясно, что Бонапарт, восстановивший работорговлю и утвердивший сложную коммерческую систему в этой отрасли, никакой свободы ни польскому, ни русскому крестьянству нести не мог.

Чтение исторических материалов при подготовке к Русскому походу убедило Бонапарта в том, что династия Романовых является, по существу, группой «людей, не помнящих родства». Он дал поручение своим офицерам, не стесняясь, рассказывать, «на какой соломе ценились русские коронованные суки». Брошюры, печатаемые в России в московской типографии эмигранта-роялиста Плюшара, отвечали Наполеону комплиментами приблизительно такого же сорта<sup>[32]</sup>.

Вернувшись в Париж в конце 1811 года, Бейль понял, что придворная жизнь для него невыносима, что ему чужды те «неблагородные формы счастья», дорога к которым проходит через апартаменты императрицы и

салоны новой наполеоновской аристократии.

Бейль отдался умственной работе. Он засел за изучение труда доктора Кабаниса «Опыт изучения физического и нравственного существа человека».

Кабанис трактует о физиологическом происхождении чувственных ощущений, о влиянии климата, обстановки, возраста, болезней, сна на весь процесс психической жизни и, наоборот, о влиянии психической апперцепции, то есть всей совокупности предшествующих душевных состояний, на физическое проявление поведения, темперамента и инстинктов.

Желание применить это чисто материалистическое произведение к решению вопроса о существовании многонациональных и принадлежащих к разным общественным группам огромных человеческих масс, слитых в так называемых больших армиях Наполеона, и заставило Бейля предпринять рискованное и трудное дело. Его начальник, интендант императорского двора Шампаньи, и слышать не хотел об откомандировании Бейля в армию.

Преодолев все препятствия, Бейль 23 июля 1812 года получил аудиенцию у Марии-Луизы и выехал в Россию с министерскими докладами и сотней писем в армию. Сестра Полина, провожавшая его, зашила ему в пояс тужурки столько крупных золотых луидоров, сколько могло поместиться.

В день отъезда он успел написать прощальное письмо.

«Сен-Клу, 23 июля 1812 г.

Случай, дорогой друг мой, представляет мне отличный повод к переписке. Сегодня в семь часов вечера я отправляюсь на берег Двины. Я явился сюда получить приказание Ее Величества Императрицы. Государыня меня удостоила беседой, в которой расспрашивала о пути, каким я намерен следовать, о продолжительности путешествия и пр. Выйдя от Ее Величества, я направился к Его Высочеству королю Римскому. Но он спал, и графиня де Монтескью только что сказала мне, что его невозможно видеть раньше трех часов. Мне придется таким образом ждать часов около двух. Это не особенно удобно в парадной форме и кружевах. К счастью, мне пришло на мысль, что мое звание инспектора даст мне, может быть, некоторый вес во дворце; я отрекомендовался, и мне открыли комнатку, никем не занимаемую теперь.

Как зелено и как спокойно прекрасное Сен-Клу!

Вот мой маршрут до Вильны: я поеду очень быстро, до Кенигсберга нарочный курьер поедет впереди меня. Но там милые последствия грабежа начинают давать себя знать. Около Коано они чувствуются вдвое более.

Говорят, что в тех местах на пятидесяти милях расстояния не встретишь живого существа. (Думаю, что все это очень преувеличено, это парижские слухи, а этим сказано все относительно их нелепости.) Князь-канцлер пожелал мне вчера быть счастливее одного из моих товарищей, ехавшего от Парижа до Вильны двадцать восемь дней. Особенно трудно подвигаться в этих разграбленных пустынях, да еще в злосчастной маленькой венской колясочке, загруженной множеством разных посылок, — все, кто только мог, надавал их мне для передачи».

«Национальная война может превратиться в империалистскую и обратно. Пример: войны великой французской революции начались как национальные и были таковыми. Эти войны были революционны: защита великой революции против коалиции контрреволюционных монархий. А когда Наполеон создал французскую империю с порабощением целого ряда давно сложившихся, крупных, жизнеспособных, национальных государств Европы, тогда из национальных французских войн получились империалистские, породившие в свою очередь национально-освободительные войны против империализма Наполеона»<sup>[33]</sup>.

Понимал ли Бейль новый характер войн, которые вел Наполеон? Очевидно, в 1812 году для него не было разницы между войнами первого периода революции и новыми, захватническими наполеоновскими войнами.

На берегах Немана<sup>[34]</sup> впервые автор будущей «Истории живописи в Италии» собрал воедино свои записки и мысли, разбросанные на клочках бумаги, переписал их тщательно в сафьяновые тетради и сложил в баул. С этим грузом мыслей и замыслов 13 августа Бейль догоняет в Орше наступающую французскую армию, доказывая такой «подготовкой» к войне всю неосновательность той трактовки его характера, которую через несколько десятков лет преподнес европейскому читателю Стефан Цвейг.

Хотя итальянская поездка после жизни в Сен-Клу была похожа на карнавал, но и ее он использовал для сравнения итальянского характера с французским. Теперь перед Бейлем были другие объекты, но он остался тем же, чем решил сделаться еще в годы неудачного заговора Моро: исследователем человеческих характеров.

Когда Бейль присоединился к армии, угар первых побед начал уже рассеиваться.

Сожжение хлебных запасов, истребление жилищ и отравление колодцев скоро показали Наполеону, насколько он не понимал трудностей похода. Как и в Испании, он столкнулся с сопротивлением всего народа!

Боевые свойства русского солдата явились полной неожиданностью для Наполеона.

С самых первых страниц Ложье пишет:

«Полное отсутствие хлеба вынуждает солдат неумеренно потреблять мясо и мед, которые легче достать. Вода на биваках мутная и скверная, вареная рожь холодная и трудно перевариваемая пища; суровые ночи, — вот бедствия, которые мы переживаем, которых не предвидели, и в результате их — сопровождающая армию ужасающая дизентерия».

Самым неприятным для французов было то, что русская армия, избегая боя, уходит и уходит. Наполеон надеялся, что ее отступление не может длиться бесконечно: политически невозможно отдавать Москву без боя.

И бой состоялся! Бейль был участником Бородинского сражения. Он использовал впоследствии картины, открывшиеся перед ним, для описания в романе «Пармская обитель» битвы при Ватерлоо, которой он не видел.

## ГЛАВА VII



«Несколько человек из наших разведчиков успели взобраться еще на один холм. Новый мир — так буквально говорят они — открылся им. Прекрасная столица под лучами яркого солнца горела тысячами цветов — группы золоченых куполов, высокие колокольни, невиданные памятники. Обезумевшие от радости, хлопающие в ладоши люди кричат задыхаясь: «Москва, Москва!»

Лица осветились радостью. Солдаты преобразились. Одни обнимались и поднимали с благодарностью руки к небу, а другие плакали от радости. И отовсюду слышишь: «Наконец-то Москва, наконец-то Москва!»

Так описывает Ложье вступление французов в Москву.

История повествует, что их радость была весьма кратковременной!

Перед нами лежит книга, изданная в Москве в типографии Ф. Гиппиуса в 1803 году «с дозволения Московского Генерал-Губернатора». Она называется «История Тюссеня Лувертюра, предводителя негров, взбунтовавшихся в Сан-Доминго. С присовокуплением некоторых политических понятий о сей колонии и многих анекдотов, относящихся как к предводителю черных бунтовщиков, так и к агентам, которых Директория

посылала в сию часть Нового Света в продолжение Революции». Книга представляет перевод первой половины пасквиля на предводителя восставших негров, написанного французским моряком Кузеном Давальонос, и содержит обличение французской революции и предостережение всем монархам от опасных увлечений французской философией: автор настаивает на необходимости рабовладения во всех странах и констатирует, что методом борьбы негров против Бонапарта было сожжение негрской столицы. (Мой экземпляр помечен библиотекой графа Ростопчина.)

Ложье в 13-й главе пишет:

«Москва. 15 сентября. В городе постоянно вспыхивают пожары, и уже ясно, что причина их не случайна. Множество схваченных на месте преступления поджигателей предстало перед судом Особой военной комиссии. Их показания собраны, от них добились признаний, и на основании этого составляются ноты, предназначенные для осведомления всей Европы. Выясняется, что поджигатели действовали по приказу Ростопчина и начальника полиции Ивашкина. Большинство арестованных оказываются агентами полиции, переодетыми казаками, арестантами, чиновниками и семинаристами. В назидание решают выставить их трупы, привязанные к столбам на перекрестках или к деревьям на бульварах, зрелище, которое не может нас веселить».

Так описывает Ложье начало московских пожаров.

Книжка, изданная в России в качестве грозного предупреждения против восстаний рабов под влиянием французской революции и пагубных идей аббата Рейналя, неожиданно оправдалась еще раз в борьбе с Бонапартом. Сожжение гаитийского Капо и Сан-Доминго, столиц богатейших Антилий, возглавлявших, как говорили старинные французы, «остров — корзинку с цветами на голубых и розовых волнах Карибейского моря», — предвосхитило сожжение Москвы.

На Бейля очень сильное впечатление произвели пожар Москвы и поголовное бегство населения из всех занимаемых французами городов. Он понял народный характер войны против иноземного нашествия. Он научился ценить русский народ. «Оставление жителями Смоленска, Гжатска и Москвы, из которой в течение двух суток убежало все население, представляет собою самое удивительное моральное явление в нашем столетии».

Бейль пишет: «Сожжение Москвы было, конечно, героическим актом. Ростопчин — это характер позднего Рима, а вовсе не злодей, каким его изображают. Его действия были вполне целесообразны. Они остановили

развертывание операций Наполеона. Взгляните, какая разница между Ростопчиным и каким-нибудь бургомистром Шенбрунна, самолично выходящим навстречу Императору, чтобы заявить ему о своих верноподданнических чувствах».

Приводим письма-дневники Бейля, относящиеся к дням московского пожара:

«Феликсу Фору в Гренобле  
Смоленск, 19 августа 1812 г.

Пожар нам показался столь красивым зрелищем, что, несмотря на то, что уже было семь часов, и несмотря на боязнь пропустить обед, единственный в таком городе, и на боязнь гранат, которыми русские через огонь бомбардировали французов, могущих находиться на берегу Борисфена (Днепра), мы спустились через ворота, находящиеся близ красивой часовни; только что там разорвалась граната, все еще дымилось. Мы храбро пробежали шагов двадцать, перешли через реку по мосту, который наспех строил генерал Кирженер. Мы подошли совсем близко к пожарищу, где нашли много собак и несколько лошадей, выгнанных из города распространившимся всюду огнем.

Мы любовались столь редким зрелищем, когда к Маринье обратился начальник батальона, который был ему знаком, лишь поскольку он занял вслед за ним его квартиру в Ростокке. Этот славный малый рассказал нам подробно о своих стычках утром и накануне и потом начал бесконечно расхваливать дюжину ростокских дам, которых он нам назвал; но одну из них расхвалил гораздо больше остальных. Опасение прервать человека, настолько увлеченного своей темой, и желание смеяться удержали нас около него до десяти часов, когда ядра посыпались с новой силой.

Мы стали сокрушаться по поводу утраты обеда, и я условился с Маринье, что он войдет первым, чтобы получить выговор, который мы заслужили от г. Дарю, когда мы заметили в Вышгороде необычайный свет.

Мы приближаемся, мы находим все наши коляски посреди улицы, тогда как восемь больших домов по соседству с нашим бросают снопы пламени вышиной футов в шестьдесят и покрывают горящими угольями величиной с руку дом, где мы поместились несколько часов тому назад; мы продырявили крышу в пяти или шести местах и поместили там, как на церковных амвонах, полдюжины гренадеров, вооруженных длинными палками, чтобы сбивать и сбрасывать искры; они очень хорошо делали свое дело. Г. Дарю распорядился всем. Работа, усталость, суeta до полуночи.

Наш дом загорался три раза, а мы тушили огонь. Наша штаб-квартира была на дворе, где, сидя на соломе, мы смотрели на крыши дома и служб,

указывая гренадерам своими криками места, наиболее пораженные искрами.

Мы все — и Дарю, граф Дюма, Бенар, Жакемино, генерал Кирженер — настолько извелись, что засыпали, говоря друг с другом; не засыпал только хозяин дома (Дарю).

Наконец появился столь желанный обед; но как мы ни были голодны, ничего не ев с десяти часов утра, смешно было смотреть, как каждый засыпал на стуле с вилкой в руке. Боюсь, чтоб моя длиннейшая история не произвела того же действия. Простите мне его как шутку и сожгите письмо, потому что мы условились, что только бюллетени должны рассказывать об армии...

Армия отбросила русских еще на четыре лье в течение этой ночи; мы — на расстоянии восьмидесяти шести лье от Москвы».

«Феликсу Фору в Гренобле

«Смоленск, в 80 лье от Москвы. 24 августа 1812 г.

Я получил твое письмо через двенадцать дней, несмотря на то, что оно совершило путь в восемьсот лье, как все, что мы получаем из Парижа. Ты очень счастлив, и я этим доволен. Я совершенно не помню того своего совета, который ты находишь хорошим. Или это, может быть, совет пораньше начать работать над изданием Монтеスキе и сочетать мысль об этом труде с мыслью о своем счастье?

Мое счастье здесь невелико. Как человек меняется! Эта жажда видеть, которая у меня была некогда, совсем потухла; с тех пор как я увидел Милан и Италию, все, что бы я ни видел, отталкивает меня своею грубостью. Поверишь ли, что без всякой личной причины, без чего бы то ни было, что затрагивало бы меня больше другого, я иногда готов проливать слезы. В этом океане варварства ни один звук не отвечает моей душе. Все грубо, грязно, зловонно в физическом и моральном отношении. Я испытал только небольшое удовольствие, заставив существо, которое чувствует музыку в такой же мере, как я, играть «обедню» на маленьком расстроенном пианино. Честолюбие потеряло для меня всякую цену; самое лучшее отличие не вознаградило бы меня за грязь, в которую я влез. Я представляю себе высоты, где обитает моя душа (когда я пишу книги, слушаю Чимарозу и люблю Анжелу в прекрасном крае), как восхитительные вершины; вдали от этих вершин, в долине, — смрадное болото; я погрузился в это болото, и ничто на свете, кроме географической карты, не напоминает мне о моих вершинах.

Поверишь ли, что я испытываю живейшее удовольствие, занимаясь официальными делами, которые имеют отношение к Италии. У меня их

было четыре; даже будучи закончены, они занимают мое воображение, как роман.

Я трижды погибал близ Вильны, в Бойордовиском<sup>[35]</sup> (около Красного), где я нагнал армию, когда этот край еще не был организован. Я испытал чрезмерные физические лишения. Чтобы добраться, я оставил свою коляску позади, а коляска эта все еще меня не нагнала. Возможно, что она ограблена. Лично для меня это еще полбеды: потерянных вещей тысячи на четыре франков да неудобство, но я вез вещи всем и каждому. С каким глупым видом придется раскланиваться перед этими господами.

Впрочем, это не влияет на настроение, о котором я тебе говорил, — я старею. От меня зависит быть более деятельным, чем кто-либо в бюро, где я пишу, с ушами, оглохшими от вечных пошлостей, но я не испытываю никакого удовольствия, где бы ни было то бюро — в Брауншвейге или Вене. Все это заставляет меня страшно добиваться должности супрефекта в Риме. Я не стал бы колебаться, если бы был уверен, что умру в сорок лет. Это грешит против бейлизма. Вот следствие отвратительного морального воспитания, которое мы получили. Мы похожи на апельсины, выросшие посреди ледяного озера в Исландии.

Пиши мне больше; я нашел твое письмо слишком коротким для восьмисот лье. Попроси Анжелу написать мне. Я люблю Париж только в Париже; мне этот город приелся, как и тебе, кажется, но я люблю ощущения, которые мне там доставили живопись и комическая опера.

Прощай; кажется, мы двигаемся».

«Феликсу Фору в Гренобле

Москва, 2 октября 1812 г.

Позавчера я получил в кровати твое маленькое, но хорошее письмо от 12 сентября, мой дорогой друг. Чтобы усилить контраст между осенью 1811 и 1812 года, чрезмерная физическая усталость и питание исключительно мясом вызвали у меня здоровую желчную лихорадку, которая сильно разыгралась сначала; мы с ней все-таки справились, и я пишу тебе, сидя у министра; это мой первый выход. Эта болезнь была приятна мне тем, что доставила восемь дней одиночества. У меня был досуг, чтобы увидеть, что ввиду чрезвычайно скучных обстоятельств надо приняться за что-нибудь поглощающее. Поэтому я снова принялся за «Le bon partie»<sup>[36]</sup>. Меня потянуло к нему воспоминание о чистых и порой восхитительных наслаждениях, которые я испытал последней зимой в течение семи месяцев, начиная с 4 декабря. Это занятие увлекало меня вчера и позавчера. Удовольствием освещается способность суждения, и сегодня я увидел еще

яснее, что это очень хороший исход.

Ты должен чувствовать истину, что счастье освещает способность суждения. О вещах, относящихся к женщинам, о способе давать и заставлять их чувствовать любезность ты держался многих суждений, которые казались мне неверными, потому что по причинам странным и совершенно не существующим в природе, как, например, большой нос, большой лоб, ты упорно хотел видеть себя на одной чаше весов. Сейчас счастье перебросило тебя к принципам чистого «бейлизма». Неделю тому назад я читал «Исповедь» Руссо. Он был так несчастен только потому, что не знал двух или трех принципов «бейлизма». Мания видеть всюду обязанности и добродетель сделала педантическим его стиль и составила несчастье его жизни. Он сближается с каким-нибудь человеком в течение трех недель, этот человек не думает о нем больше через два года; он ищет для этого верное объяснение. «Бейлизм» сказал бы ему: «Два тела сближаются — рождаются теплота и брожение, но всякое состояние этого рода — преходящее. Это цветок, которым надо наслаждаться с упоением, и т. д.» Ты схватываешь мою мысль? Самые прекрасные вещи у Руссо для меня отзываются эмпирией и не обладают той корреджиевой грацией, которую уничтожает малейшая тень педантизма.

По-видимому, я проведу здесь зиму; надеюсь, что у нас будут концерты. При дворе будут, конечно, спектакли, но каковы будут актеры? Между тем с нами Тарквинини — один из лучших теноров.

Никто так не спасает меня от общества дураков, как музыка; с каждым днем она становится мне дороже. Но откуда это удовольствие? Музыка изображает природу; Руссо говорит, что она часто перестает изображать ее непосредственно. Когда это становится невозможным, тогда она приводит душу средствами, ей свойственными, в состояние, похожее на то, в которое привел нас предмет, ею изображаемый. Вместо того чтобы изображать тихую ночь — вещь невозможная, — музыка дает душе то же ощущение, зарождает в ней те же чувства, которые внушает тихая ночь.

Ты понимаешь в этом что-нибудь? Я пишу тебе в маленькой комнатке, где двое молодых дураков, прибывших из Парижа, высказывают свое мнение по поводу того, что надо было сделать в Москве, и не дают мне возможности связать двух мыслей; мне надо было много высказать тебе, а теперь я выдохся.

Что касается музыки, мне кажется, что я предпочитаю хорошие комические оперы, потому что они вызывают ощущение идеального совершенства комедии. Лучшей комедией для меня была бы та, которая вызывала бы ощущения, похожие на те, что вызывает у меня *Matrimonio*

segreto и Pazzo per la musica<sup>[37]</sup>, — это в душе мне кажется ясным.

Запечатай письмо для моего дорогого деда.

Капитан Фавье».

«Феликсу Фору в Гренобле

Москва, 4 октября 1812 г.

Я оставил своего генерала<sup>[38]</sup> за ужином во дворце Апраксина. Выходя и прощаясь во дворе с г. Z...<sup>[39]</sup>, мы заметили, что, кроме пожара в Китай-городе, который разгорался в течение нескольких часов, начался также пожар рядом с нами; мы туда пошли. Очаг был очень горяч. У меня заболели зубы во время этой экспедиции. Мы остановили солдата, который ударил два раза штыком человека, выпившего пива; я даже извлек шпагу и чуть было не ударил этого негодяя. Буржуа отвел его к губернатору, который его выпустил.

Мы ушли через час, высказав много общих мест против пожаров, что не произвело большого впечатления — по крайней мере на наш взгляд. Вернувшись в дом Апраксина, мы потребовали пустить в ход кишку. Я лег, мучимый зубной болью. Как кажется, некоторые из этих господ были так добры, что обеспокоились и выбегали в два и пять часов. Что касается меня, я проснулся в семь часов, велел запрячь коляску и поставить ее за колясками г. Дарю.

Коляски отправились на бульвар против клуба. Там я встретил г-жу Бюрсе, которая захотела броситься мне в ноги; это была очень смешная встреча. Я заметил, что во всем, что говорила мне г-жа Бюрсе, не было ни тени естественности, что, конечно, меня заморозило. Все-таки я много сделал для нее, взяв ее толстую свояченицу в свою коляску и предложив, чтобы ее дрожки следовали за моей коляской. Она сказала мне, что г-жа Сент-Альб<sup>[40]</sup> много говорила ей обо мне.

Пожар быстро приближался к дому, который мы покинули. Наши коляски оставались пять или шесть часов на бульваре. Наскучив этим бездействием, я пошел посмотреть огонь и остановился на час или два у Жуанвиля. Я любовался комфортабельностью обстановки его дома; мы выпили там вместе с Жиллье и Бюшем три бутылки вина, которые возвратили нам жизнь.

Я прочел там несколько строк английского перевода «Виргинии», которые среди общей грубости вернули мне несколько душевную жизнь.

Я пошел с Луи смотреть на пожар. Мы увидели некоего Савуа, конного канонира, который в пьяном виде наносил сабельные удары офицеру

гвардии и приставал к нему с глупостями. Он был не прав и в конце концов был принужден попросить прощения. Один из его товарищей по грабежу углубился в улицу, охваченную огнем, где он, вероятно, изжарился. Я увидел новое доказательство недостатка характера у французов вообще. Луи пожелал успокаивать этого человека ради офицера-гвардейца, который подвел бы его при первом соперничестве; вместо того чтобы питать ко всему этому беспорядку заслуженное презрение, он рисковал выслушать глупости на свой счет. Что касается меня, я восхищался терпением офицера гвардии: я бы ударил саблей Савуа по носу, из-за чего мог бы иметь столкновение с полковником. Офицер действовал осторожно.

В три часа я вернулся к веренице наших колясок и грустных товарищей. Только что в соседних деревянных домах открыли склад муки и склад овса, я велел своей прислуге взять того и другого. Они засуетились, сделали вид, что взяли много, а на самом деле все ограничилось немногим. Так они в армии поступают всегда и во всем; это вызывает раздражение. Как ни хочется не обращать внимания, в конце концов берет нетерпение, так как ко мне всегда приходят с жалобой, и я провожу несчастные дни. Впрочем, я проявляю еще меньшее нетерпение, чем другие, но зато имею несчастье выходить из себя. Я завидую некоторым из своих товарищей, которых, кажется, можно всячески обругать, не рассердив их по-настоящему; они повышают голос — и только. Они отряхивают уши, как говорила мне графиня Пальфи<sup>[41]</sup>. «Пришлось бы быть очень несчастным, если этого не делать», — добавила она. Она права; но как давать доказательства подобного смирения, обладая чувствительной душой?

Около трех с половиной часов мы вместе с Жиллье пошли осматривать дома графа Петра Салтыкова. Они показались нам подходящими для его превосходительства. Мы пошли в Кремль, чтобы предупредить его; мы остановились у генерала Дюма, который стоит на перекрестке.

Генерал Кирженер сказал Луи при мне: «Если бы мне дали четыре тысячи человек, я бы в течение шести часов остановил огонь». Эти слова меня поразили. (Сомневаюсь в успехе. Ростопчин непрерывно поджигал снова: будь огонь остановлен направо, он оказался бы налево в двадцати метрах.)

Мы увидели Маринье, который шел из Кремля, и провели его в дом Салтыкова, который был осмотрен всеми подробно. Г-н Дарю нашел в нем неудобства; ему предложили осмотреть другие дома по направлению к клубу. Мы увидели клуб, украшенный во французском стиле, величественный и дымящийся. В Париже в этом роде нет ничего похожего. После клуба мы осмотрели соседний дом, огромный и великолепный,

наконец — красивый белый четырехугольный дом, который решили занять.

Мы все очень устали, я больше других. Начиная от Смоленска, я чувствую себя совсем обессиленным, а вместе с тем имел ребячество внести оживление и интерес в эти поиски дома. Интерес — слишком много сказано, но много оживления.

Мы, наконец, располагаемся в доме, где, по-видимому, жил человек богатый и любящий искусство. Он был удобно расположен, полон статуэток и картин. Были и прекрасные книги, в частности Бюффон, Вольтер, которого здесь можно найти всюду, и «Галерея Пале-Рояля»<sup>[42]</sup>.

Сильные поносы заставляли всех бояться недостатка вина. Нам сообщили приятную новость, что можно было его достать из погреба прекрасного клуба, о котором я говорил. Я уговорил отца Жиллье идти туда. Мы проникли в погреб через великолепную конюшню и через сад, который был бы красив, если бы деревья этого края не казались мне неизменно убогими.

Мы отправили наших слуг в этот погреб; они прислали нам много скверного белого вина, камчатных скатертей, таких же салфеток, но очень поношенных. Мы все это взяли, чтобы сделать из этого простыни.

Маленький М. I, от главного интенданта, пришедший грабить, как и мы, принялся дарить все, что мы брали. Он говорил, что хочет завладеть домом для главного интенданта, и на этом основании морализировал; я призвал его несколько к порядку.

Мой слуга был совсем пьян; он натаскал в коляску скатертей, вина, скрипку, которую стащил для себя, и тысячу других вещей. Мы с двумя или тремя товарищами пообедали и выпили вина.

Прислуга устраивалась в доме; пожар был далеко от нас и заполнял всю атмосферу до значительной высоты дымом; мы устроились и, наконец, собирались отдохнуть, когда г. Дарю, вернувшись, объявил нам, что нужно уходить. Я мужественно отнесся к этой новости, но почувствовал себя без рук и без ног.

Моя коляска была полна доверху. Я поместил к себе еще этого надоедливого беднягу Б., которого подобрал из жалости, чтобы оказать другому доброе дело — Билиотти. Это самое глупое и скучное балованное дитя, которое когда-либо знал.

Я утащил из дому, прежде чем уйти оттуда, том Вольтера под заглавием «Фацетни».

Моя коляска с Франсуа заставила себя ждать. Мы отправились в путь только около семи часов. Мы встретили г. Дарю, взбешенного. Мы двигались прямо по направлению к пожару, следуя вдоль бульвара. Мало-

помалу мы попали в дым, становилось трудно дышать; наконец мы очутились между горящими домами. Все наши предприятия становятся опасны только благодаря полному отсутствию порядка и осторожности. Так, здесь довольно длинная вереница колясок углублялась в огонь, чтобы избежать его. Этот маневр имел бы смысл, лишь поскольку какой-либо квартал города был бы окружен огненным кольцом. Но положение совсем не было таково: огонь охватил город с одной стороны, надо было оттуда выйти; но совершенно не было необходимости проникать через огонь — надо было обойти его.

Невозможность остановила нас наконец. Мы сделали пол-оборота. Тогда как я думал о грандиозном зрелище, которое созерцал, я на мгновение забыл, что повернул мою коляску раньше других. Я устал, но шел пешком, потому что моя коляска была наполнена добром, награбленным прислугой, и в ней уже расположился Б. Мне показалось, что коляска моя потерялась в огне; она не подверглась бы никакой опасности, но мой слуга, как и остальные, был пьян и мог заснуть посреди горячей улицы.

Возвращаясь, мы встретили на бульваре генерала Кирженера, которым я был очень доволен в этот день. Он вернул нас к мужеству, то есть к здравому смыслу, и показал, что имелось три или четыре пути для выхода.

Мы проследовали одним из путей около одиннадцати часов, пересекая вереницу повозок и ссорясь с возницами короля Неаполитанского. Потом я заметил, что мы двигались по Тверской. Мы вышли из города, освещенного самым великолепным пожаром, который образовал громадную пирамиду; как молитвы правоверных, ее основание было на земле, а вершина на небе. Луна показалась над этой атмосферой пламени и дыма. Это было грандиозное зрелище, но надо было бы быть одному или в обществе людей неглупых, чтобы насладиться им. Русскую кампанию испортило для меня то, что ее пришлось совершить с людьми, которые уменьшили бы Колизей и Неаполитанский залив.

Мы двигались великолепной дорогой к дворцу, называемому Петровским, где Е. В. остановился. Трах! Посреди дороги я вижу из своей коляски, где из милости нашлось местечко для меня, что коляска г. Дарю наклоняется и, наконец, падает в канаву. Дорога была шириной футов в восемьдесят. Проклятие, раздражение. Очень трудно было поднять коляску.

Наконец мы подошли к биваку; он был напротив города. Мы очень хорошо видели громадную пирамиду из московских пианино и диванов, которые доставили бы нам столько радости без этой мании поджогов. Этот Ростопчин — негодяй или римлянин; увидим, как посмотрят на этот

поступок. Сегодня в одном из дворцов Ростопчина нашли записку; он говорит, что во дворце мебели на миллион, кажется, и т. д., но он поджигает его, чтобы им не могли воспользоваться разбойники. На самом деле его прекрасный московский дворец не подожжен.

Добравшись до бивака, мы поужинали свежей рыбой, фигами и вином. Таков был конец этого трудного дня, в течение которого мы двигались с семи часов утра до одиннадцати вечера. Еще хуже то, что в одиннадцать часов, садясь в свою коляску рядом с надоедливый Б. и сидя на бутылках, покрытых вещами и салфетками, я почувствовал опьянение от этого скверного белого вина, награбленного в клубе.

Сохрани эту болтовню — надо, чтобы я по крайней мере воспользовался этими лишениями и вспомнил бы их. Мне очень надоели мои товарищи по походу. Прощай. Пиши мне и веселись: жизнь коротка».

Эти письма дают далеко не полные сведения о том, чем занимался Бейль в Москве. В свободные часы он перебирал заметки по «Истории живописи в Италии», писал письма Феликсу Фору, сестре, отцу. Матье Дюма, его непосредственный начальник, изъявил согласие принимать от Бейля пухлые пакеты из синей бумаги, запечатанные зеленой печатью, и вкладывать их в зеленый курьерский ранец с буквой N и короной, отвозимый ежедневно перед восходом солнца французским курьером в Париж.

Скитаясь по горящей Москве после ночной диктовки при свете сального огарка пяти или шести военным писарям, Бейль выбрасывал из головы трудные, мучительные вопросы о пятистах квинталах ячменя, овса и сена для конницы. Он встречался с артистами походного наполеоновского театра, осматривал улицы, храмы и дворцы. Его очень занимал вопрос о том, каковы взаимоотношения сословий и классов в России.

Тоскливое чувство одиночества пробудило в нем старый вопрос — как в этой стране могла найти себе приют бежавшая от него хрупкая и изящная молодая женщина, артистка Мелани Гильбер? Где она? Где эта женщина, говорящая грудным тремолирующим голосом? Где она с ее маленьким ребенком?

И вот в голове этого скептика, человека, все более и более далекого от корыстного отношения к действительности, превращающегося в спокойного и ясного созерцателя, возникает мысль во что бы то ни стало отыскать подругу марсельских дней, обыкновенного, несколько нелепого человеческого счастья, когда из привязанности к такому простому, смешному и хрупкому существу он согласился на унижительную роль приказчика бакалейной лавки.

И вдруг неожиданная встреча с чудаковатым арфистом Феселем, который выходит из двора, осыпанный пеплом, в сером камзоле, в большой шляпе, с арфой через плечо. Давным-давно, в дни парижской богемы, маленький Фесель бегал между фойе и артистическими уборными. Он теперь казался дорожке самых дорогих друзей, ибо он помнил первые счастливые парижские встречи с Мелани Гильбер, которую в дневниках Бейль называл Луазон. Но спросить Фесея сразу о том, где она, невозможно. Постепенно перебирал он тысячи мелочных и ненужных имен и, наконец, совсем перед расставанием:

— Ах да!..

И после этого восклицания — самый серьезный вопрос и ожидание самого страшного ответа. Но она жива, Фесель ее видел, она живет в доме Волконских у Зубовского бульвара.

Все эти какие-то страшные имена, при произнесении которых надо сдавливать двумя пальцами горло, чтобы выпустить хотя бы одно сочетание звуков, похожее на русское.

И вот попытка между горящими зданиями Москвы пробраться к этому проклятому Зубову, чтобы найти пепел и обожженные балки особняка Волконских и узнать, что все обитатели выбрались благополучно из Москвы.

Русские дворяне выехали в Нижний Новгород на Волге. Они там обосновались, как на биваке, совершенно так же, как обосновались французы в Москве.

Но Мелани уехала в Петербург, потом во Францию. Необходимо во что бы то ни стало обеспечить ей возможность после побега из России счастливо и хорошо жить в Париже.

И посылается письмо:

«Господину Руссу, старшему секретарю господина Делоша, Нотариуса, улица Гельвеция, № 57, Париж.

Москва, 15 октября 1812 г.

Не имеете ли вы случайно, сударь, вестей о госпоже Барковой? В самый день вступления нашего в Москву я счел необходимым покинуть свой пост. Я бегал по московским улицам, с тревогой проникая в горящие дома, тщетно стараясь разыскать Баркову. Я не нашел ее. И лишь через три-четыре дня, случайно встретив одного знакомого, именно арфиста Августа Фесея, от него узнал, что незадолго до нашего вступления она выехала в Санкт-Петербург, что этот отъезд повел к почти полному разрыву ее с мужем, что она беременна и, болея глазами, ходит в зеленых очках, что ее муж, уродливый карлик и сентиментальный супруг, отличается жестокой

ревностью. Фесель сообщил также свое предположение о том, что у Барковой осталось денег в обрез, только на то, чтобы переехать во Францию. Он говорит, что сам Барков некрасив и вовсе уже не так богат, как о том говорили. Увы, это все неутешительные сведения. Впрочем, быть может, сам Фесель имеет зуб против Баркова.

Я думал, что наша с вами дружба и приязнь к Барковой обязывала меня собрать эти невеселые сведения. Трудно представить себе расстояние более непроходимое, чем между Петербургом и Москвою в нынешние дни. Если она его успела проделать, то новое путешествие из Петербурга в Париж для Барковой будет свыше сил, и мне кажется, что она останется в Санкт-Петербурге. Но как она поступит с мужем, и какая судьба постигнет этого супруга среди всех нынешних пертурбаций? Вероятно, вы узнаете обо всем этом гораздо раньше, чем я. Не будете ли вы так добры, в случае если получите какие-нибудь известия, сообщить их мне? А если она приедет в Париж, то пусть прямо переезжает в мою квартиру в д. № 3 по Новой Люксембургской улице. В каком я был бы тогда восторге! Не будете ли вы так добры передать ей все это и помочь ей у меня расположиться. Что касается прилагаемых писем, то вы должны проявить ко мне доброту и передать их Марешалю (отель Эльбеф, площадь Карусель). Это личный секретарь графа Дарю.

Простите мне помарки и плохой почерк, я пишу вам далеко за полночь, безумно тороплюсь и отрываюсь от этого письма, одновременно диктуя деловые бумаги пяти-шести военным писарям при свете сального огарка в Кремлевском дворце. Примите уверения в моем исключительном к вам уважении.

А. Бейль.

Р. S. Я прошу госпожу Морис, портьершу дома № 3 на Новой Люксембургской, отпереть мою квартиру для Барковой, которая станет там хозяйкой, если только найдет это жилище подходящим.

А. Бейль».

Товарищи по Государственному совету, Бюш, Бергонье и другие, смеются над Бейлем, который после выезда из Кремля, сожженного, изуродованного взрывами, в течение пяти дней меняет пять дворцов. Насмешки идут все дальше и дальше, и, наконец, шутники рассказывают, что нашелся какой-то кучер Артемисов, который провожал аудитора Бейля по ночной горячей Москве, и что этому бородатому русскому мужику принадлежит великая честь спасения легкомысленного «мастера пожарных дел, аудитора Государственного совета господина Бейля».

Бейль попадает во дворец Ростопчина. Он обходит анфилады зал, где

штофные обои и плафоны, расписанные лучшими художниками Франции и Италии, поражают так же, как дивные виллы Италии, в которых впервые Бейль был очарован мастерами итальянского искусства. Китайские синие чашечки, тонкий севрский фарфор, горки богемского хрусталя, брюссельские и алансонские кружева, ковры персидские, индийские, турецкие, коллекции чубуков и кальянов, погреба с изумительными французскими винами — все это, не тронутое ни пожаром, ни злой волей человека, предстало перед глазами удивленного Бейля. Но поразила его больше всего библиотека Ростопчина с весьма озорными пометками хозяина на полях книг. Печаль, перемешанная с чувством невольного уважения, овладела Бейлем, как только он стал разглядывать разбросанные книги и обыскивать опрокинутые полки замечательного ростопчинского книжного собрания.

Нам в достаточной степени известны сокровища старых дворянских библиотек тогдашнего времени. Если мы возьмем роккэновский перечень запрещенных, невышедших, сожженных рукой палача книг XVIII века, изгнанных с территории Франции, Англии и других европейских стран, то мы можем с уверенностью сказать, что эти книги более чем часто попадались на полках старинных дворянских библиотек, начиная с библиотеки Ростопчина в Москве, кончая библиотекой Юрия Лермонтова в Тарханах. И эти одинокие гнезда культуры на огромных пространствах России до сих пор производят впечатление загадочное, непонятное. Ведь книга «Философическая и политическая история европейских учреждений в обеих Индиях» аббата Рейналя появилась в России в таком полном и великолепном виде, в каком она потом не возобновлялась во Франции, где самый оригинал был сожжен палачом.

Бейль отмечает книги, найденные в библиотеке Ростопчина. Среди них в переплете с надписью «Святая библия» — рукопись на французском языке, «Книга, доказывающая небытие божие». И, как чудо из чудес, Бейль с восторгом рассматривает книжку графа Честерфильда. При свете пламени пожара Бейль впервые читал эту замечательную книгу, и чувство, испытанное им при чтении, напоминает биографу Бейля те страницы «Анри Брюлара», в которых Бейль рассказывает о казни Людовика XVI и чтении «Манон Леско».

В самом деле, сквозь облик завязанного авантюриста, бедового попарасстриги, острого памфлетиста

XVII века проглядывает будущий буржуа, человек вполне реальный, опирающийся на собственный ум и силу своих житейских наблюдений и навыков. И как бы ни поучали его высоким идеалам нравственности и

христианского смирения, он дает нам картины подлинных побуждений человеческого характера, которые создают нравы эпохи, настоящие картины социального быта. В этом сила «Манон Леско». И если маленький Бейль в день казни Людовика XVI читал эту книгу и не мог оторваться, то для нас его увлечение романом Прево столь же законно, как увлечение двадцатидевятилетнего Бейля книгой Честерфильда.

Лорд Стенгоп, Филипп Дормер граф Честерфильд (1694–1773) был одним из красноречивейших ораторов верхней палаты Англии. Он был дипломатом, государственным секретарем и имел огромный успех в светской жизни. Биографы сообщают о чрезвычайно счастливой обстановке его жизни, забывая при этом, что Честерфильд был универсальным дилетантом и разочарованным скептиком своего времени. Именно эта незаинтересованность в своих делах, отсутствие страстного увлечения своей жизнью и жизнью своего общества давали тот эфемерный блеск Честерфильду, который казался пленительнее подлинного увлечения большого ума. Ничего не доводя до конца в личной своей жизни, не имея устремления решительно ни к чему, этот своеобразный человек, который, казалось, не создан был для семейной жизни, имел любовницу тайком от семьи. От нее у Честерфильда был сын, которого он любил более нежно, чем полагается лорду и государственному деятелю, и которого вынужден был скрывать в силу лицемерной морали английского «света».

Когда мы читаем честерфильдовские «Письма к сыну», или, как некоторые издатели называют их, просто «Письма», мы начинаем понимать, какой горькой душевной болью создана эта тончайшая система советов молодому человеку. Честерфильд, казалось, мстил своему обществу тем, что без горечи, весело, с удивительной беспечностью осмеивал английский уклад жизни и всю систему религии и морали, беспощадно описывая английские нравы, государственные и религиозные законы и нормы поведения. Это предостережение отца скромному, увлеченному науками сыну. Старый государственный муж дает молодому человеку рецепты безболезненного и спокойного проведения той единственной отпущенной человеку жизни, которая является наилучшим благом. Рассказывая о лжи, составляющей основу общественного и личного поведения, отец учит сына, как обходить рвы и гнилые мосты правосудия, как удаляться от ложных маяков, притягивающих человека с юности, как держать себя в свете с людьми сильнейшими и слабейшими, чтобы не заискивать перед одними и не быть запанибрата с другими. Эта утонченная наука благоразумного эгоизма была преподана с глубоким знанием света и людей, с беззлобным скептицизмом отца, не отрывающего

сына от общества, но только предостерегающего его от ложных шагов. Трудно поверить, что эти письма напечатаны в тогдашней Англии. Друг и почитатель Монтескье и Вольтера, Александра Фохта, Джонатана Свифта, лорда Болингброка, Честерфильд никогда не предполагал печатать свои письма. Но вот он умер, умер его сын. Люди, хорошо знавшие и того и другого, повели наступление на оставшуюся в живых невестку старого Честерфильда. Стесненная в средствах, она продала эти письма за баснословную по тогдашнему времени сумму — пятнадцать тысяч золотых.

Письма разошлись в кратчайший срок и многократно были переизданы в Европе на всех языках. Поражала житейская мудрость старого Честерфильда и ее для Англии непривычно открытое выражение. Люди, которые думали так же, как он, но боялись высказываться, вдруг увидели, что старик прекрасно предусмотрел и разрушение Польши и французскую революцию. Это привлекло к нему умы крупнейших критиков века.

Эта книга в Москве увлекла Бейля. Все это описывается у него в следующем письме от 16 октября 1812 года на имя семьи Дарю:

«Милостивая государыня.

Примите выражение моего восторга по поводу Вашего сообщения, в котором Вы извещаете нас, что маленькая Алина и маленький Наполеон купили себе для забавы великолепных морских свинок; вся Москва говорит об этой новости, пришедшей из Парижа. Мне, конечно, хотелось бы самолично поздравить детей с приобретением, во-первых, потому, что я сам принадлежал к числу обитателей любезного моему сердцу Башвильского замка, а во-вторых, и по той причине, что ко времени получения моего письма дети и Вы, вероятно, будете оплакивать смерть великолепных зверушек. Те свинки, или, вернее, свиньи, среди которых сейчас живу я, представляют собою образцы существ совершенно иной породы. За исключением двух-трех собеседников, все остальные способны говорить только на самые тяжелые темы с видом чрезвычайной серьезности и с бесконечным углублением вопросов, не требующих более десяти минут обсуждения. Все, впрочем, идет довольно гладко. Мы совсем лишены женского общества — пожалуй, со времени последних встреч с польскими почтарками. Утешаемся тем, что стали тонкими знатоками, почти специалистами пожарного дела. Если б Вы знали, до какой степени комический вид имели наши молниеносные переброски из горящих домов в кварталы, не тронутые пожаром, в первые же ночи после вступления в Москву. Для Вас, милостивая государыня, это вряд ли большая новость; вероятно, в Париже об этих происшествиях говорят так много, что Вы

представляете себе картину горящей Москвы не хуже нас. Вам, вероятно, известно от курьеров, привозивших Вам корреспонденцию, что Москва — город, до сего времени незнакомый Европе, — имела четыреста или даже пятьсот дворцов, красота которых превосходит все, что знает Париж. Все было рассчитано на жизнь в величайшей неге. Только моя счастливая и благословенная Италия давала мне такие впечатления своими старинными дворцами. Но происхождение этой московской изысканности совершенно иное. Русская власть — это своеобразный вид восточной деспотии. Правящая верхушка — восемьсот или тысяча человек — имеет от пятисот тысяч до полутора миллионов франков ежегодного дохода и сотни тысяч рабов. Куда им девать такие деньги? Служить при дворе? Некий гвардейский сержант, ставший императорским фаворитом, унижал своих же дворян, ссылал аристократов в Сибирь только для того, чтобы конфисковать в свою пользу прекрасных лошадей и замечательные экипажи, принадлежавшие сосланным. В этом несчастном круговороте событий на неверной и зыбкой придворной почве люди устраивали погоню за счастьем. И если судить по их дворцам, в которых мы теперь обитаем по очереди, самое большее — тридцать шесть часов в каждом, то можно видеть, что их хозяева спешили как можно скорее взять все, что могли, от этого быстрого бега придворных событий. Для них подарком судьбы становился ненасытный царский разврат. В самом деле: ведь одна Екатерина успела создать имена четырнадцати знатнейшим русским вельможам. А нынешний граф Салтыков, у которого сейчас поселился наш с вами родственник, маршал Дарю, является настоящим, подлинным, действительным кузеном воюющего с нами императора Александра. Из этого Вы видите, что воюющий с нами император — не более как гражданин Салтыков: Александр Салтыков. И вот теперь владельцы этих изящных дворцов с перемещением своего счастья сами переместились на низшие ступени. Как быстро потеря внешнего благополучия погружает людей, по внешности столь милых и изящных, в ужасающее и отвратительное варварство! Уверяю Вас, милостивая государыня, что Вы не узнали бы более Ваших недавних столь любезных русских друзей. Помните ли Вы некоего красавца Аполлона, как Вы его назвали, танцую с ним прошлой зимой? Знаете ли Вы, что я сейчас был свидетелем, как этот прекрасный Аполлон вел себя настоящим негодяем, оскорбляя идущих за ним по комнате с плачем двух женщин и трех малых детей, из которых самой старшей была семилетняя девочка.

Когда же, наконец, я снова буду в Вене, в гостиной герцогини Луизы, вдалеке от всех этих отвратительных дикарей?! Идя навстречу этому

счастью, я завтра уезжаю в Смоленск, куда назначен на должность главного директора армейского снабжения. Услышь меня, боже, и сделай так, чтобы я снова очутился на Новой Люксембургской улице, в доме № 3, откуда всего лишь три с половиной часа расстояния до Башвиля. Живете ли Вы по-прежнему в Башвильском замке? Помнится, Вы намеревались не оставлять его без крайней надобности. Помните ли, какой чудесный виноград подавался у Вас к столу? Нынче вечером генерал Ван-Дедем, весьма любезный человек, прислал господину Дарю маленькую виноградную лозу в цветочном горшке. На этом растении висели три кисти винограда, два листочка и пять или шесть черенков. Это была эмблема нашей скудности. Господин Дарю, как всегда веселый и любезный, пожелал, чтобы все мы отведали винограда. Жалкие ягодки имели вкус настоящего уксуса. Все это было довольно печально. На досуге я скитаюсь, ища развлечений. Их нет здесь, и вот я постоянно думаю о Франции.

Будьте добры, сударыня, передайте чувства моего уважения князю де Плезансу. Я думаю, он уже вернулся из Боса. Почему-то мне кажется, что сейчас у Вас сидит госпожа Нардо. Пусть она примет мой привет. Ну, я, кажется, не изобрету иного способа приветствовать мадемуазель Камлен и Полину: я просто попрошу их хоть изредка вспоминать обо мне, бедном скитальце, на преданные чувства которого Вы, сударыня, вполне можете положиться.

Ну, вот. Кажется, ничего нового. Разве только кресты, полученные Сильвенем и Сен-Дидье. Мой генерал Дюма прекрасно относится ко всем своим подчиненным».

Ни одно из писем Бейля не дошло до Франции. Под Красным казаки захватили документы Главной императорской квартиры вместе с письмами Бейля.



Дом в Гренобле, где родился Стендаль.



Трельяж Стендаля на террасе квартиры Ганьона в Гренобле.



Доктор Анри Ганьон.



Полина Бейль-Лягранж.

Они были препровождены для обработки и извлечения соответствующих сведений в Собственную канцелярию генерала Аракчеева. На русском языке эти письма в значительной части печатаются впервые. Переданные в 1912 году директором Государственного архива Горяиновым во Францию, они были напечатаны издательством «Сабреташ» вместе со всей массой писем, представляющих собою интереснейший архив.

Все письма из Москвы были подписаны: «де Бейль». Но встречаются письма, подписанные «Ш. Шомет», «Капитан Фавье», «Полковник Фавье»; опять повторяется подпись «Анри» или, наконец, диковинная подпись «Сушвор, английский уполномоченный при дворе его Императорского величества»<sup>[43]</sup>.

Остальных подписей мы пока не касаемся. Они относятся к разряду тех сумасбродств, какими проникнуты письма из Венеции 1813 года за подписью госпожи Симонетты; ибо эта госпожа Симонетта является тем

же самым Бейлем.

В Москве Бейль потерял живость характера и надолго лишился беспечности. Теперь это был человек, озабоченный судьбой десятков тысяч вверенных ему людей. Когда наступила минута расставания с Москвою, Бейль получил от высших чинов командования три миллиона фальшивых русских рублей и приказание во что бы то ни стало обеспечить отступление большей части французской армии. Он выехал из Москвы задолго до начала общего отступления.

Могилев, Смоленск, Витебск и, наконец, Березина — самый последний момент героических усилий снабжения, — все это связано с именем скромного военного интенданта Анри Бейля, который зачастую забывал о сне, о еде, об отдыхе. Но он не забывал ежедневно бриться, пользуясь даже ледяной водой, чинить свое белье и обмундирование.

23 ноября Дарю от имени Наполеона поздравлял Бейля с успехом его снабженческих операций. Посмотрев на это выбритое, слегка посиневшее от мороза лицо, он добавил:

— Вы сегодня побрились. Вы совсем молодец. Поздравляю вас.

Французской армии в это время было уже не до бритья...

Наступило катастрофическое похолодание. Армия, застигнутая внезапным наступлением холодов и голодом, армия, отступающая по старой дороге, уже опустошенной войной, попала в ужасающие условия. Десять недель, проведенных Бейлем в этом страшном напряжении, на всю жизнь запечатлелись в его сознании, на всю жизнь в нем осталось восхищение героическим русским народом и презрение к царизму.

Перед Березиной он сжег все свои документы. Он сам не помнит, где он потерял сафьяновую тетрадь с записками по истории живописи в Италии. Он помнит только одно, что в Вильне он отдал широкоплечему контрабандисту, а может быть, слуге в гостинице свой военный сюртук, в пуговицах и в поясе которого были защиты золотые луидоры. Оставшись без денег, он лишь впоследствии вспомнил об этом безрассудном поступке.

И наступили совершенно реальные события, скорее похожие на страшный сон больного: переправа Бейля через Березину по трескающемуся льду, под угрозой провала, мужественная поддержка, оказанная им полумертвому Бергонье, который в состоянии полной психостенической апатии не знал, что ему делать, и машинально исполнял распоряжения Бейля; наконец пребывание в Вильне в качестве «человека, освобожденного от военных поручений, ибо армия уже не существовала».

Гладко выбритый, но истощенный голодом, с невралгией головы, с обмороженными висками, со всеми признаками сужения пищевода от

длительного недоедания, Бейль в кибитке направился по опустевшим деревням и обледенелым болотным камышам Мазурского края к Балтийскому морю. За ним гнались казачьи разъезды, утонувшие с размаху в полынье. Он видел семафоры Шаппа, работающие поспешно, и по цветным сигналам ночью читал донесения о гибели Большой армии, посылаемые гелиографом, находящимся явно уже во враждебных руках.

Едва не попав в руки партизан графа Платова, Бейль достиг, наконец, Кенигсберга. Теплая ванна, чистое белье и в тот же вечер опера Моцарта «Милосердный Тит», на другой день — посещение дома Иммануила Канта, — вот что пришло на смену впечатлениям от штабелей из обмороженных трупов, звенящих, как сосновые свежерубленые бревна, и тянувшихся на протяжении от Литовского замка до Ковенской заставы в Вильне.

И Бейлю показалось, что никогда не вернутся те ощущения молодости, которые ранее он всегда испытывал при соприкосновении с действительностью, какова бы она ни была.

Помещаем письмо, написанное Бейлем после отъезда из Москвы:

«Разбирай, если достанет у тебя терпения, прилагаемое маранье. У нас нет чернил. Я сфабриковал сейчас шестьдесят пять капель, и все они ушли на прилагаемое большое письмо г-же Беньо. Я буду стоять, как кажется, в двадцати или тридцати милях от Москвы. В эту минуту еще бьют русских<sup>[44]</sup>.

В Москве за пять дней мы были изгнаны из пяти дворцов. Наконец, наскучив этим, на пятый день мы отправились стоять биваком в миле расстояния от города. На пути туда мы испытываем невыгодные стороны величия. Со своими семнадцатью экипажами мы въезжаем в улицу, еще не вполне объятую пламенем. Но огонь шел быстрее, чем шли наши лошади, и когда мы достигли средних улиц, пламя горящих по обе стороны домов испугало лошадей. Искры жгут их, дым удушает нас, и нам стоит большого усилия сделать обход и удалиться оттуда.

Не говорю об ужасах, еще более страшных. Особенную грусть навел на меня — было это, кажется, 20 сентября, во время возвращения в Москву, — вид этого прелестного города, одного из прекраснейших храмов неги, превращенного в черные и смрадные развалины, посреди которых бродило несколько несчастных собак и несколько женщин, искавших остатков какой-нибудь пищи.

Этот город не был знаком Европе; в нем было от шестисот до восьмисот дворцов, подобных которым не было ни одного в Париже. Все приспособлено было здесь к величайшей неге. Отделка домов блистала белизной и самыми свежими красками. Самая лучшая английская мебель

украшала комнаты: изящные зеркала, прелестные кровати, диваны разнообразнейших форм наполняли их. Не было комнаты, где нельзя было бы расположиться четырьмя или пятью различными способами, один удобнее и уютнее другого, и самое полное удобство соединялось здесь с блистательнейшим изяществом.

Это очень понятно. Здесь было много лиц, получавших от пятисот тысяч до полутора миллионов франков ежегодного дохода. В Вене такие лица держат себя с серьезной строгостью целую жизнь и мечтают получить крест св. Этьена. В Париже они ищут того, что на их языке называется приятным существованием, дающим много наслаждений и льстящим тщеславию. Сердца их делаются черствыми, и они начинают ненавидеть людей.

В Лондоне они хотят составлять часть элемента, правящего страной. Здесь, при неограниченном правлении, им остается только удовольствие неги...»

«Сестре Полине в Гренобле  
Вильна, 7 декабря 1812 г.

Я здоров, дорогой друг. Я очень часто думал о тебе на протяжении долгого пути из Москвы сюда, который длился пятьдесят дней. Я все потерял и имею только платье, которое на мне. Еще лучше то, что я похудел. Я испытал много физических лишений и никакого нравственного удовольствия, но все забыто, и я готов начать все сызнова на службе Его Величества».

«Сестре Полине в Гренобле  
Кенигсберг, 28 декабря 1812 г.

Кажется, в Молодечно, в тридцати милях от Вильны, на пути на Минск, чувствуя, что замерзаю и теряю силы, я принял решение обогнать армию. Вместе с Бюшем мы сделали в три часа четыре мили. Нам настолько посчастливилось, что мы нашли на почтовой станции тройку лошадей. В то время лошадь была спасением жизни. Мы помчались и прибыли в Вильну совершенно разбитыми. Оттуда мы выехали седьмого или восьмого и прибыли в Гумбинен, где силы наши несколько восстановились. Из Гумбинена я приехал сюда...

На этом пути погибли генералы, комиссары-распорядители.

Я спасся благодаря решимости не погибнуть и собственным усилиям. Много раз был я на грани полной потери сил и видел пред собою смерть».

## ГЛАВА VIII



30 декабря 1812 года Бейль из Кенигсберга выезжает в Данциг.

Большая армия распалась. Отступающие во мраке и ужасе северных ночей наполеоновские полки формировались из офицеров. Эскадронными и ротными командирами были полковники, батальоны вели генералы, полками командовали маршалы — только для того, чтобы скинуть рядовых кавалеристов с их седел и посадить на коней офицеров — ветеранов наполеоновской гвардии, а спешенных и заслуженных простолудинов революционной Франции отдать на съедение белорусским и литовским волкам. Обо всем этом прямо сообщает Европе последний императорский бюллетень: «Господь бог, царь и морозы выгнали французов из России».

В своих записях о Наполеоне Бейль анализирует внутренние причины этого страшного разгрома французской армии.

«Глупость составляла необходимую принадлежность гвардейских офицеров, которые по преимуществу должны были состоять из людей, не способных взволноваться антиправительственными прокламациями. В гвардию назначались лишь те, кто мог быть только слепым орудием Магометовой воли.

Во французской армии бесподобны были унтер-офицеры и солдаты. А

так как заменять себя при рекрутском наборе стоило больших денег, то налицо были почти исключительно дети мелкобуржуазных семей... Не было ни одного подпоручика, который не верил бы, что если он будет храбро драться и не падет под выстрелами, то может стать со временем маршалом Франции. Эта счастливая иллюзия продолжалась вплоть до получения чина бригадного генерала. А тогда в прихожей князя, помощника командующего армией, эти молодцы убеждались, что, получив право входа в эту прихожую, можно надеяться на повышение вовсе не при посредстве боевого подвига, а по способу самой обыкновенной протекционной интриги. Начальник императорского штаба окружал себя чем-то вроде двора, чтобы держать на расстоянии маршалов, ибо чутье подсказывало ему, что они неизмеримо выше его самого в достоинствах. И вот герцог Невшательский<sup>[45]</sup>, будучи начальником штаба Императорской армии, получил право распоряжения всеми повышениями во всех армиях, находящихся вне Франции, а военный министр наблюдал за чинопроизводством лишь в частях войск, расквартированных внутри Франции, где, как правило, было установлено, что люди повышались в чинах лишь в связи с количеством ружейных выстрелов, направленных в них вне Франции. Однажды в кабинетном совещании генерал Гассенди вместе со всеми уважаемым генералом Дежаном и министром внутренних дел, собравши еще кое-какие голоса, обратились к Императору с соединенной просьбой назначить командиром батальона некоего артиллерийского капитана, с которым были связаны надежды на услуги по министерству внутренних дел. Военный министр напомнил, что Его Величество в продолжение четырех лет трижды вычеркивал имя этого офицера в декретах о чинопроизводстве. Как-то все оставили официальный тон и обратились к Императору с простой человеческой просьбой.

— Нет, нет, господа, — сказал Бонапарт. — Я никогда не соглашусь повысить в чине офицера, десять лет не бывавшего в боях. Но вам, конечно, известно, что мой Военный министр<sup>[46]</sup> обманом может добыть мою подпись.

На следующий день Император, не читая, подписал декрет о назначении этого милого человека в батальонные командиры.

Делая смотры после побед или после удачных выступлений какой-нибудь дивизии, Император проезжал по рядам в сопровождении полковника или командира части, лично разговаривал со всеми отличившимися солдатами и затем приказывал ударить сбор, после чего все офицеры его окружали. Если убит был в бою батальонный командир,

Император громко спрашивал:

— Кто из капитанов отличился большей храбростью?

И так как момент был восторженный, непосредственно идущий за пылким настроением победы, то мнения были искренни и ответ прямодушен...

Но под конец дух армии изменился. Дикая, республиканская, полная первобытного героизма при Маренго, армия становилась эгоистической и подло монархической. И по мере того как мундиры покрывались нашивками, мишурой и крестами, сердца под этими мундирами теряли свое элементарное благородство. Генералы, сражавшиеся с энтузиазмом, оставались в тени. Их искусственно изолировали, удаляли и свергали в безвестное и томительное ожидание. Восторжествовали интриганы, создавшие среду, в которой Император не осмеливался карать ошибку и фальшь...

Во время Русской кампании армия была беспредельно эгоистична, испорчена настолько, что была готова ставить условия своему полководцу...

Один из моих друзей, полковник, отправляясь в Россию, рассказывал мне, что он наблюдал, как за три года через его полк, как через проходные ворота, прошло тридцать шесть тысяч человек. И год за годом уровень военной подготовки и общего образования становился ниже, исчезала дисциплина, истощалось терпение воинов, уменьшалась точность в исполнении приказаний... Армии в массе больше не существовало.

Вот откуда те победы, которые казаки, «скверно вооруженные мужичишки», торжественно одержали над храброй армией победителя вселенной. Я сам был свидетелем того, как двадцать два казака, из которых самому старшему не исполнилось двадцати лет и за которым, как потом выяснилось, числилось лишь два года службы, разбили и обратили в бегство конный отряд в пятьсот воинов».

Пересечение германской территории открыло смягченному и усталому взору Бейля картину совершенно неожиданную. Скрывая свое имя и подлинную должность, привыкнув и к фальшивому паспорту и к умению держать язык за зубами, Бейль заводил разговоры с германскими попутчиками эйльвагенов и почтовых карет и умело вызывал их на откровенность. Все чаще приходилось ему слышать открытые речи о конце владычества Бонапарта. «Люттихозы юнцы» и молодежь из Тугендбунда верхом и пешком бороздили Германию. И Анри Бейлю, писавшему о том, что он разочарован сохранением крепостного права в Польше и России, вдруг стала ясна картина пробуждающегося национального сознания в

Германии. Он понял, что так называемое Магдебургское право, которое было приспособлением Гражданского кодекса Наполеона к местным условиям, является не только проповедью отмены феодального строя во имя свободы буржуа, но также и причиной пробуждения страстного и горячего национального чувства на всей территории Германии. Он понял, что Наполеон Бонапарт расшевелил экономически отсталую, спящую Германию, нанеся ей такой удар кулаком, который не победил, а разбудил эту страну. И молодежь, собираясь в тайные союзы, спит и видит день свержения французского ига.

Бейлю исполнилось тридцать лет, когда он 31 января 1813 года в тряске мальпосте переехал на французскую территорию. Он въехал в Париж усталый, в состоянии полнейшей депрессии, но с огромным запасом наблюдений и с полной возможностью критически разобраться в них. Он вернулся в Париж, разгадав, наконец, того странного человека, которого судьба сделала императором французов. Ранее отношение Бейля к Наполеону было основано на итальянских впечатлениях, на декретах и ордонансах первых лет. Поведение наполеоновской армии в пределах России, Польши и Литвы раскрыло глаза Бейлю. И если после итальянского похода пали его республиканские надежды и взгляды, выросшие в Гренобле и взлелеянные в Париже, то теперь пали его надежды на «Бонапарта-младца» — *le petit tondu* — на маленького капрала, который раскрепощает народы силой французского оружия.

Государственный совет и сенат, собранные Наполеоном после прибытия в Париж, услышали от него слова неожиданного самооправдания:

— Война, которую я веду, — заявил Наполеон, — есть война политическая. Я ее предпринял без вражды и хотел избавить Россию от тех зол, которые она сама себе причинила. Я мог бы поднять против нее вихри гражданской войны, провозгласив освобождение крестьян.

И далее:

— Многие деревни и села просили меня о раскрепощении. Но я отказался от меры, которая обрекла бы на смерть тысячи семейств.

Этих слов не забыл Бейль до конца жизни!

Первое его впечатление по приезде во Францию: целые батальоны дезертируют — люди не хотят воевать. Одни — потому, что бесконечно устали и утратили все лучшие надежды жизни, — эти люди вовсе не видели никакого смысла в войне, у них не было прошлого, и перед ними было закрыто будущее. Другие — сытые и разбогатевшие, «термидорианская сволочь», «мошенники из армии Фрерона», люди,

которые нисколько не верили в длительный успех Бонапарта, но так же, как он, ради авантюры ставили все на карту. Награбив на интендантских поставках, получив чины, ордена, имея собственные экипажи и великолепные особняки в Париже, загородные виллы и массу слуг, эти люди пожимали плечами при каждом новом наборе рекрутов и, посвистывая, тихонько говорили, что император зарвался.

А у парижских банкиров были свои особые счета с маленьким капралом. Перед Русским походом император сделал бестактный поступок: он призвал Уврара и прочих интендантов и с документами в руках показал им, что ему известна вся система интендантского хищения. Когда Уввар с улыбкой льстеца пытался все обратить в шутку, Бонапарт затопал ногами. Уввар и его друзья «а следующий день безропотно внесли восемьдесят семь миллионов золотых франков, малую часть богатства, украденного ими у французского народа. Все остальное они оставили у себя. Наполеон ликовал. Ему казалось, что он раздавил верхушку буржуазии, которая поставила его у власти. Но эта верхушка также ликовала. Она отделалась пустяками и после слов Бонапарта: «*Sans rancune*» — «обойдемся без мести», — она, выходя из его кабинета, твердо решила: «*Soyons rancuniers*» — «будем мстительными». И вот настал их час, час мести. Император накануне гибели? Ну и черт с ним! Эти люди приемлют лишь ту власть, которая обеспечивает им наживу, и им отныне безразлична судьба переоценившего свою удачу генерала с брюшком, корсиканского уроженца из семьи ничтожного Карла Бонапарта.

Бейля встретили насмешками в Париже: «Как? Обладая такими полномочиями, не наворовать достаточного обеспечения на старость? Какой же ты после этого интендант? Не нынче-завтра власть императора кончится, а этот щеголь не получил даже хорошенькой должности, не округлил свое состояние на военных поставках. Что это за человек?!»

Однако в письме, посланном из Смоленска с оказией в Гренобль, Бейль в надежде на то, что письмо будет прочтено тайной полицией, подготавливает почву для правильной оценки его поведения и для императорской награды.

«Гоподину Шерубену Бейлю.

Улица Бон. Гренобль.

Приходится пользоваться этой редкой оказией, дорогой отец, чтобы иметь возможность написать отсюда письмо. Я получил спешное письмо от господина Жоли, который уведомляет меня о переписке с тобой. Пожалуйста, ускорь ход этих дел, чтобы добиться хоть небольшого успеха в результате огромной затраты сил и крайней усталости, угнетающей меня

со дня моего отъезда из Москвы, 16 октября. Уезжая, я растерял все свое имущество, все свои запасы; я восемнадцать дней жил, питаюсь убийственным солдатским хлебом и водой, что все-таки обходилось мне в четыре франка. Большая часть армии снабжена продовольствием. Если до тебя дошли мои письма, то ты знаешь, что я теперь назначен главным директором армейского снабжения. В этой должности я пользуюсь полной свободой передвижения. Завтра я выезжаю в Оршу по дороге на Минск. Я буду в восьмидесяти милях в тылу армии. Я вполне здоров, но измучен и умираю от усталости. Был болен в дороге. Если Его Величество сделает меня бароном, этот титул не будет украден. Гаэтан устал, но здоров так же, как и я. Тысяча приветствий всей нашей семье».

Письмо подписано «Ш. Шомет».

Эта маленькая хитрость — самая большая из тех, на какие способен был Бейль, — не удалась: вместо секретаря императора Наполеона просьбу о баронском титуле читал секретарь графа Аракчеева.

Бейль вернулся в Париж, ничем и никак не награжденный, материально совершенно не обеспеченный. У всех очень хорошие должности, все успели подумать о будущем. Верхним чутьем предугадывая падение власти Наполеона, все запаслись недвижимым и движимым имуществом. Бейль представлял редкостное исключение: бескорыстный, вызывающий усмешку интендант. Подумайте, он использовал страшные дни московского похода не для создания карьеры, а для того, чтобы закончить свои наблюдения, собрать их воедино и озаглавить их «История живописи в Италии», для того, чтобы возненавидеть крепостнический режим и коронованного генерала Бонапарта, не давшего освобождения крепостным рабам ни в Польше, ни в Литве, ни в России.

Бытовое разложение не коснулось этого сурового, скептического, крепкого и могучего характера. Ему и в голову не приходило обогащаться за счет сотен тысяч раненых или искалеченных людей. Двоюродный брат Бейля Ромен Коломб отмечает: «Станным образом смягчился характер Бейля после стольких высоких и печальных переживаний, испытанных им в России».

Бейль в своих рассказах друзьям повествует о себе как о трусливом интенданте, бежавшем спросонья, держа сапоги под мышкой, без каски и шинели. А Проспер Мериме передает десятки анекдотов о Бейле в России, которые показывают, как этот человек сохранял мужество и героически спасал из беды себя и других.

В Париже в 1813 году жил комиссар коронных имуществ императора Анри Бейль с надорванной нервной системой, с невралгией головы,

человек, каждый раз сизнова и все неудачно пытавшийся найти себе место в жизни. Начинаясь странный процесс в легких, тогда никак и ничем не объяснимый и даже не имеющий определенных терминов для своего обозначения. Господин барон не существует в природе, а просто гражданин Анри Бейль с досадой ходит по улицам Парижа, покашливая, прижимая ладони к вискам и чувствуя, что минутами он теряет зрение.

Бергонье, которого он спас при переправе через Березину, обогнал его в Париже и теперь уже занимает должность префекта департамента Юры, а милый Бюш, Антуан Бюш, неудачный студент Политехнической школы, гусар 12-го полка, прекрасно устроился в качестве префекта в округе Двух Севров. Никто из этих скороспелых карьеристов, клявшихся ему в дружбе и в вечной признательности, не вспомнил о том, что одинокий и усталый человек, вернувшийся из Русского похода, потерявший все свои рукописи и все свое имущество, сейчас один, без поддержки, стремится избавиться от тяжелого физического состояния и от еще более тяжелых размышлений на политические темы.

За городом обнаружено присутствие милого и старого друга — Мелани Гильбер. Русская помещица Баркова, мужа которой убили крестьяне, после долгих скитаний обосновалась где-то за Парижем. Но свидания с нею показывают, что новым, неузнаваемым кажется все милое. Новыми кажутся облака, и новое солнце над землей. И Бейль ничего не узнает, даже не узнает улыбки, которая когда-то казалась улыбкой самого пленительного счастья. Короткие свидания становятся все короче и короче, наконец наступает то счастливое забвение прошлого, при котором вовсе не хочется встречаться друг с другом. И вот г-н Анри Бейль терпит новый урон: он сознательно пошел на разрыв с Мелани Гильбер.

С важным видом Бейль появляется в Гренобле. Скрывая все свои неудачи, он «держит фасон» перед отцом. Неожиданная мягкость и уступчивость старого Шерубена приводит его сначала в восторг, а потом в отчаяние. Старик преподносит неудавшемуся барону подарок: двухэтажный дом на площади Гренетт.

— Вот весь твой майорат, — заявляет он сыну.

На следующий же день после вступления во владение Бейль узнает, что он должен уплачивать все чудовищные налоги и долги, покрывшие, как плесенью, этот дом, а кроме того, старик, очистивши свободную финансовую наличность продажей всех остальных имуществ, заявляет твердо сыну:

— Я буду жить в этом доме на твой счет — и очень долго буду жить.

И все, что удалось когда-либо скопить Анри Бейлю, идет в уплату

долга.

Окончательно обескураженный Бейль тихо смеется над собою и уезжает в Париж. Он еще и еще раз видит нелепость своих поисков житейского успеха и садится за письменный стол. Снова черновики, записи по истории итальянского искусства. Его старые рукописи, как любовное воспоминание о невозвратно потерянных годах, захватывают его и сообщают огромный творческий импульс.

Так наступает утро 19 апреля 1813 года, когда, оглушительно гремя шпорами, внезапно появляется курьер военного министерства, седоусый вахмистр-инвалид, и вручает Бейлю темно-зеленый пакет с императорской печатью: военный министр приказывает ему немедля отбыть в Германию по военным делам.

Не успев проститься с друзьями, Бейль выезжает из Парижа. Первым этапом его новой службы был Эрфурт. С дороги он жалуется в письмах сестре на то, что нет никаких вестей из Кюларо, — так называл он на условном языке родной Гренобль.

Военные дела инспектора коронных имуществ были в 1813 году едва ли не самым опасным делом наполеоновского командования. 15 апреля 1813 года Наполеон вступил в Эрфурт, он двигался уже не против России, а против соединенных прусских и российских войск. Изыскание местных средств и источников снабжения — такова была нелегкая задача помощника военного комиссара Анри Бейля. Инспектор коронных имуществ Анри Бейль имел дело с разъяренным населением германских городов и деревень.

Майские бои под Люценом и Бауценом отличались чрезвычайным кровопролитием. Союзники напрягали все силы, чтобы ускорить падение Наполеона. Бонапарт ничего не жалел в надежде, что новые победы загладят впечатление гибели Большой армии. В этих битвах погибли ближайшие друзья, спутники Наполеона, — маршалы Бесьер и Дюрок, бывший в свое время непосредственным начальником Бейля.

До нас дошел бауценовский дневник Бейля, поражающий читателя полным отсутствием каких бы то ни было соображений военного порядка. Он пишет главным образом о своих досугах, о том, как он пытается извлечь звуки Моцарта и Чимарозы из случайно найденного пианино, о том, как он напевает арии своих любимцев во время сражения под Люценом. Он делится с безвестным читателем своим восхищением перед талантом Альфиери и с необыкновенной для себя страстью рисует картины природы — холмы, лесистые поросли на песчаных склонах реки Шпрее, на которой расположен Бауцен:

«Наблюдая восхитительные холмы, расположенные справа от дороги, и перечитывая изысканные выдержки из любимых авторов, я описывал карандашом всю ясную красоту этого прекрасного дня бейлизма».

Бейль снова говорит о «бейлизме». «Бейлизм» — это особое состояние человека, известное ему с 1806 года. Это прекрасное, уравновешенное, гармоничное мироощущение. Бейль описывает самого себя разъезжающим беспрестанно в коляске в районе расположения вражеских армий. Он чувствует по целому ряду признаков и сообщений, что казаки нажимают на арьергард. Но ему приходит в голову вовсе не это. Он размышляет о словах Бомарше, и не только размышляет — он их чувствует всей полнотою существа: «Из всех видов возможного человеческого счастья — счастье обладания не имеет для меня никакой цены. Но наслаждение талантливым использованием — это все». Анри Бейль все больше и больше вырабатывал в себе эту склонность к наслаждению самим процессом творческого отношения к жизни. Им все больше и больше овладевало то чувство жизни, при котором весь мир становится его собственностью, но собственностью бескорыстной, когда возникает гармоничное и стройное чувство полезного участия во всем процессе непрестанно сменяющихся явлений мира.

«Бейлизм» превращался в манеру жизни, которую Бейль называл «эготизмом». Это не эгоизм в обычном смысле слова, когда человек отграничивает себя от мира. В письме-дневнике, написанном под Бауценом 21 мая 1813 года под аккомпанемент артиллерийского боя, Бейль смеется «ад наивным «ячеством», этой формой обычного эгоизма. В то время как эгоист уходит в себя от людей и от жизни, эгоист видит себя решительно во всем и решительно на все простирает могущество своего творческого впечатления.

В «Рассуждениях о войне» в день бауценской канонады Бейль пишет о своем отвращении к войне. Свое первоначальное упоение войной он сравнивает со стаканом пунша, а последующие впечатления — с тем отвратительным опьянением, которое дает злоупотребление напитком.

«Московский поход раскрыл для меня внутреннее содержание той коллективной души в обшлагах, мундирах, со шпорами и шпагами, которая называется армией».

Встают перед читателем дневника дозоры на биваках генерала Бертрана, холмы и гранитные глыбы, отряды вооруженных людей, батарея, взбирающаяся на холм.

Бейль наблюдает сражение:

«Мы великолепно видели Бауцен, расположенный вдоль по косогору, и

мы прекрасно видели с полудня до трех часов все, что можно видеть в большой битве, то есть ровно ничего. Удовольствие состоит, очевидно, в том, что наблюдающий бывает слегка взволнован тем фактом, что где-то там перед вами несомненно происходят события, страшный смысл которых обуславливает это воздействие... Но если бы пушки ограничивались только легким свистом, я убежден, что сражение не потрясло бы так людей».

Мы видим те черты, которые характеризуют большие батальные картины Бейля. Он делает первые попытки собрать и проанализировать впечатления боя. Глядя на Шпрее, через которую переходят войска, он тут же оценивает: вероятно, этот переход обошелся в 2 500 убитых и 4 500 раненых. Он пишет о том, как между холмами и деревней проходят части Макдональда и Удино, как главная колонна русских оказывает им яростное сопротивление. Он на минуту отнимает от бумаги карандаш, когда ружейная перестрелка начинается в нескольких шагах, за маленьким домиком германской деревеньки. С чисто кандидовской веселостью он описывает начавшийся дождь и благоразумие офицеров, которые, не имея лишней одежды, голышом сидят под дождем на собственных сложенных вчетверо мундирах и рейтузах.

Дождь кончился. Они обтерли щеки носовыми платками, оделись в сухую одежду и с торжеством вошли в деревню.

Бейль прячется за изгородь вместе с товарищем, потому что внезапно появились прусские жандармы. Все кончается благополучно. Под вечер товарищи находят свои коляски. Друзья, приходящие один за другим, сообщают диаметрально противоположные сведения об исходе боя с одинаковой уверенностью, божбой и руганью.

24 мая 1813 года Бейль подает декларацию о стычках с казаками под Горлицем. 9 июня он пишет сестре Полине из Глогау письмо, в котором бранит отца и подписывается: «Капрал Валье».

В Сагане — в Силезии — Бейль болел, и за неимением врача он читал Тацита. Тацит не только рецепт для выздоровления, но одна из тех химических реакций, к которым Бейль прибегал, когда лаборатория впечатлений была переполнена и его мозг нуждался в содействии историка, обладавшего способностью больших обобщений.

«Я читаю Тацита, — пишет Бейль Феликсу Фору, — или, скорее, я неудачно жую и пережевываю Тацита».

Это письмо содержит как бы основной психологический отчет Бейля самому себе.

«Все эти военные люди, все эти новые знакомые последнего месяца установили наилучшие отношения со мною. Их внимательность,

прямотушие и отсутствие мелочности, свойственные крупным характерам, — все это в миллионы раз лучше, нежели общество писателей или каких-либо других представителей схожей с литераторами человеческой породы». Однако письмо заканчивается словами: «Мое истинное несчастье здесь состоит в полном отсутствии питающих меня чувствований. Здесь нет искусства, здесь нет любви или ее талантливых изображений. У меня нет друга». Как ослепительная молния, врывается в письмо строчка об Италии: «Пусть полное одиночество — с музыкой, книгами и миланскими садами».

После Бауцена Наполеон-победитель демонстративно преследовал отступающих и разбитых противников, а 4 июня 1813 года в Плейсвице он, по предложению Австрии, подписал перемирие, ни на минуту не веря в то, что война кончилась.

— Государь, я только что проходил мимо ваших полков. Ваши солдаты — дети, — сказал Наполеону Меттерних. — Вы делаете досрочные наборы.

Наполеон пришел в ярость и стал топтать свою треуголку. Меттерних смотрел на этого разъяренного человека. Треуголка казалась ему картой Франции. Он увидел ослепление Бонапарта и 11 августа объявил, что Австрия находится с его императорским величеством Наполеоном в состоянии войны.

Бейль заболел тяжелой формой лихорадки со всеми нервическими явлениями, которые свойственны были этой болезни в Силезии. Зубы стучали, мучила ужасающая испарина, бред преследовал его по ночам в одинокой комнате, озноб не давал покоя даже в самые знойные дни. Военное начальство не желало считаться с болезнью Бейля. Постоянные разъезды и напряженные хлопоты ослабили его.

28 июля Бейль приехал в Дрезден. Перемена местности обманула его: считая себя выздоровевшим, он в тот же вечер пошел слушать музыку, но не мог до конца досидеть в креслах и, рискуя упасть на улице без памяти, едва дошел до своего жилища и бросился в постель, не раздеваясь. Пришлось прибегнуть к серьезной врачебной помощи.

7 сентября он снова в своем «родном городе» — в Милане, и снова Анжела Пьетрагруа, такая же обаятельная, такая же щедрая и расточительная в своих ласках. Сентябрь, октябрь, ноябрь он проводит на берегах Комо и венецианских лагун и снова возвращается в Милан. В письме от 8 октября 1813 года Бейль полушутливым тоном сообщает сестре Полине о своих итальянских впечатлениях:

«Первые годы человека со вкусом похожи на дикий кустарник, сквозь который не разберешь окружающего. Видны только шипы, колючие ветки,

колкие сучья. Ни красоты, ни радости не встретишь в этой крепости... Но вот проходит год, опадает кустарник, и прекрасное, величественное дерево, украшенное чудесными цветами, возникает перед глазами.

Мой 1801 год был таким кустарником, когда меня принимала г-жа Бороне, дочь миланского купца, с исключительной добротой. Две маленькие девочки — ее дочери — были украшением дома. Теперь они обе замужем, а их мать стала еще красивее. В этом обществе я нашел прекрасный прием. Здесь выслушивают все, что я рассказываю о своих скитаниях.

Уже двенадцать лет, как меня любят в этом доме».

Такими полувосторженными, полушутливыми фразами Бейль описывает свое новое миланское пребывание. Письмо заканчивается довольно забавным сообщением: «Очень возможно, что г. Антонио Пьетрагруа, молодой пятнадцатилетний человек, приедет во Францию... Если он появится в Гренобле, познакомь его с Феликсом». Письмо подписано: «Г. Симонетта». Эта графиня Симонетта — чрезвычайно редкостный псевдоним Бейля — чувствовала себя выздоравливающей по мере того, как приближалась к Милану, и заболела каждый раз, как только уезжала надолго от синьоры Анжелы Пьетрагруа.

Бейль упорно занимался немецкой литературой, перечитал Шиллера и внимательнейшим образом изучил курс литературы Шлегеля; затем вернулся к занятиям Шекспиром; на основе очень широких концепций он построил шкалу драматических воздействий, начиная от Эсхила, Софокла, Эврипида и до Шиллера и начиная от Кальдерона до Расина и Корнеля. К сожалению, продолжать все это пришлось не в итальянской обстановке, ибо 30 ноября Бейль был снова в Париже: кончился его отпуск, во время которого Наполеон проиграл битву под Лейпцигом (16–18 октября), а с нею и всю войну...

26 декабря 1813 года Наполеон, все еще не потеряв надежду на победу, распределил специальные обязанности чрезвычайных комиссаров среди сенаторов и членов Государственного совета. Этим людям были поручены особые работы по рекрутским наборам, по обмундированию и армейским заготовкам, по организации провиантских складов на территории Франции. Они должны были совершить чудо: воссоздать военную мощь страны, истощенной двумя десятилетиями войны... Сенатору графу Сен-Валье было поручено отправиться в 7-й военный дивизион в сопровождении двух помощников — аудитора Бейля и Ламарра. Ламарр уклонился на том основании, что болезнь приковала его на три недели к кровати. А Бейль, несмотря на полное отвращение к данному

поручению, должен был 31 декабря выехать вместе с Сен-Валье.

5 января 1814 года они расположились в Гренобле, где добрый Сен-Валье, целиком положившийся на своего помощника, не вникал ни в какие дела. Бейль был полновластным организатором обороны савойской границы.

К сожалению, в Гренобле он не застал того единственного человека из распавшейся семьи, который был ему близок, — сестру Полину. Эта милая и незаурядная женщина, сохранившая доброту к брату, снисходительность к отцу, насмешливость по отношению к сестре Зинаиде и тетке Серафии, была уже супругой Перье-Лягранжа, о котором Бейль писал однажды: «Мой превосходный зять — это настоящий буржуа. Господин Перье-Лягранж (бывший торговец, разорившийся в пух и прах, превратившийся в землевладельца неподалеку от нас, в Латур дю Пен) завтракал со мною в кафе Арди и с восторгом наблюдал, как я повелительно командую ресторанной прислужкой. Я действительно был вынужден торопить, а он пришел в восторг по поводу того, что ресторанная прислужка позволила себе шутку на тему о моем фатовстве. Я не обратил на это внимания и нисколько не рассердился. Но, глядя на моего зятя, я, как всегда, испытывал глубокое презрение к буржуа».

Бейль с огорчением узнал, что Полина Перье-Лягранж случайно разъехалась с ним: он поехал в Гренобль, в надежде ее встретить, она поехала в Париж в надежде его застать.

Барон де Бейль, выпустивший приказание о новом наборе в Гренобле, подвергся жестоким насмешкам.

Отец инспектора коронных имуществ Наполеона Первого имел дворянское звание, которое могло быть передано его сыну, особенно в силу того, что должность Анри Бейля сама по себе давала ему личное дворянство. Но барон? С каких пор? Типография помимо воли Бейля напечатала его подпись с титулом.

Жители Гренобля сделали для себя из этого эпизода своеобразное развлечение. Они писали по диагонали через прокламацию: «Что это? Опечатка или неумная шутка при наших несчастных обстоятельствах? Откуда Бейль стал бароном де Бейлем?»

Для маленького гренобльского буржуа вновь прибывший генеральный комиссар ровно ничего не значил. Конторские подсчеты шли правильно, вино, шелк, руда, лес продавались исправно. За каким же чертом принес господь бог этого Анри Бейля, всем известного атеиста, материалиста, прислужника Бонапарта?

Г-н Монталиве, министр внутренних дел, получает от господина Бейля

письма из Гренобля. Бейль заявляет, что он ровно сорок дней провел в работе без сна. Он напоминает, что работает и в качестве инспектора коронных имуществ и в качестве фактического чрезвычайного комиссара по охране савойских границ Франции. «Господин граф Сен-Валье по своей доброте переложил на меня всю тяжесть работы и очень доволен мною в тягчайших обстоятельствах, ставших нашим уделом». Бейль пишет: «Три недели уже как я лежу в лихорадке».

Не залечив ее, он садится в седло, щелкая зубами. Похолодевшие виски и спадающие внезапно веки доводят его до беспамьяства. Ромен Коломб поддерживает его в седле. Так они доезжают до Каружа. Вот она, граница Южной Франции. За Каружем высятся горы, за горами — чужая страна.

Маленький домик в Каруже, где расположились Ромен Коломб и господин Анри Бейль, находится впереди линии фронта. Женева и правый берег Арва кишмя кишат австрийцами. В хороший бинокляр можно видеть, как где-то очень далеко господа в хорьковых доломанах, с киверами из красной меди приходят к колодцам, обнимаясь с девушками. А на правом берегу Арва одна за другой выстраиваются параллельным веером австрийские батареи. Очень издали в предвечернем воздухе слышатся звуки оркестра, и хоры трубачей, прорезывая ночной воздух, возвещают о том сомнительном веселье, которому предаются люди, находящиеся в резерве.

Но очень странно полное бездействие французских войск. Против австрийских батарей не выдвинуто ни одного орудия, ни на один километр не продвинулись французские резервные войска, защищающие эту границу.

— Не правда ли, очень странное состояние охраны границ? — говорит Коломб.

Бейль не смотрит на двоюродного брата. Перед ним стоит дежурный офицер пограничного штаба и делает доклад. Каждый раз, когда Бейль предлагает прямой вопрос, офицер потупляет глаза и дает косвенный ответ, ничего не разъясняющий, полный предательства и подлости. И нет никакой возможности ни арестовать этого человека, ни начать расследование. Совершенно ясно только одно: австрийцы, расположенные в Швейцарии, Пьемонте и Савоие, просто не желают переходить границу, несмотря на то, что подлейшее французское командование, предавшее Наполеона и армию, эту границу открыло. Форт Барро имел 1780 человек гарнизона. Другие пограничные части были укреплены столь же хорошо, однако все эти войска ровно ничего не стоили по волевому напряжению.

8 марта 1814 года Бейль и его двоюродный брат после трехсуточной

убийственной верховой прогулки вернулись в Каруж. Оба прекрасно поняли, что при той обстановке, которая сложилась на савойской границе, любая кучка австрийцев может дойти до Парижа. Власти нет, офицерство и высшее командование относятся к Бонапарту с презрением и состоят почти сплошь из предателей.

На рассвете Бейль и Коломб проснулись от ударов тяжелого молота по деревянным стенам их маленькой мансарды. Поглядев друг на друга и решив, что исправляют крышу, они попытались заснуть. Но повалились балки и стропила, посыпались опилки — пришлось спешно одеваться, ибо австрийские ядра пробуровили чердак и разбили верхний этаж гостиницы. Каруж был под австрийским обстрелом. Лениво и с медлительной бранью Бейль натянул на себя рейтузы и сапоги. Ядро разбило зеркало. Сплюывая и ругаясь, пришлось уйти, не совершив обычного утреннего бритья.

Опросы офицеров и совещание в штабе по-прежнему бесплодны. От министра Монталиве — никакого ответа ни на одно из писем. Бейль убеждается, что только в Париже можно решать вопрос об охране савойской границы. Он возвращается из Каружа в Гренобль. Зашив секретные донесения, содержавшие в себе списки всех лиц, жаждавших возвращения Бурбонов, Бейль на рассвете 18 марта решил выбраться из Гренобля. Но поездка расстроилась, и Анри Бейль в промежутках между приступами лихорадки и тяжелым состоянием депрессии при нормальной температуре мчится то верхом, то в коляске к пограничной полосе, выезжая на линию дозоров и сторожевых охранений<sup>[47]</sup>.

Только в конце марта граф Сен-Валье сообщил ему о возможности поездки в Париж. Стуча зубами в приступе лихорадки, Бейль с маленьким чемоданом сел в почтовую карету. Его окружали молчаливые спутники, надвинувшие шляпы и цилиндры. Раздался звук почтового рожка, форейтор защелкал бичом, и лошади стали цокать по мостовой. Вот уже гренобльская застава. Незаметно пролетели часы, и вот Орлеан, вот башня, с которой Суффольк, английский командующий, упал под выстрелами ополчения Жанны д'Арк. Вот острова, на которых высаживались когда-то враждебные Франции войска. В отдалении исчезают башни и стены Орлеана, начинается парижское шоссе.

Предутренняя свежая прохлада, туман и легкий озноб.

По извилине шоссейной дороги от Орлеана на Париж движется гигантская лента, черная, стучащая и гремящая. Кучер, боязливо, косым взглядом посмотрев в стекла кареты, поворачивает быстро на боковую тропинку, с которой еще виднее становятся лошади, флажки, штандарты, громадные казачьи шапки и кивера русских гренадеров.

В тумане выплывают идущие от Орлеана парадным походом на Париж союзнические корпуса. Кажется, что это сон, что это где-то под Красным, где господин Дарю сидит и пьет кофе в крестьянской избе и ведет разговор о казаках, отступающих под натиском французской конницы.

Но это не сон. Прошло много лет с тех пор, как Бейль проезжал по этой дороге учеником Центральной гренобльской школы, кандидатом парижского политехникума. И опять та же дорога, знакомые повороты, кустарники, но вместо веселого, заливистого звука почтового рожка, сгоняющего с дороги коров и овец, слышен хор трубачей. Огромные пики казаков, тамбурмажоры с литаврами, гигантские трубы, перекрещивающие спины музыкантских команд, а затем артиллерия, громадные кулеврины и пушки с львиными мордами и с гербами русских царей... Бейль думает, что это продолжение саганской лихорадки. Он щиплет себя за уши, вырывает брови, и только одно реальное ощущение секретного донесения Бонапарту на груди возвращает его к действительности.

О взятии Парижа 31 марта 1814 года Бейль писал в «Анри Брюларе»:

«Мы ночевали (с Крозе. — А. В.) в одной комнате в вечер взятия Парижа в 1814 году. От огорчения у него ночью случилось расстройство желудка, я же, который терял все, тем более рассматривал это как зрелище».

1 апреля 1814 года Бейль меряет большими шагами свою комнату в Париже. Он подходит к конторке и пишет сестре:

«Чувствую себя хорошо. Позавчера была битва в Париже на Пантене и Монмартрском холме. Я видел, как заняли эту вершину.

Как прекрасно все вели себя! Не было никакого беспорядка. Маршалы совершали чудеса. Жажду известий от вас. Все родные чувствуют себя хорошо. Я у себя дома».

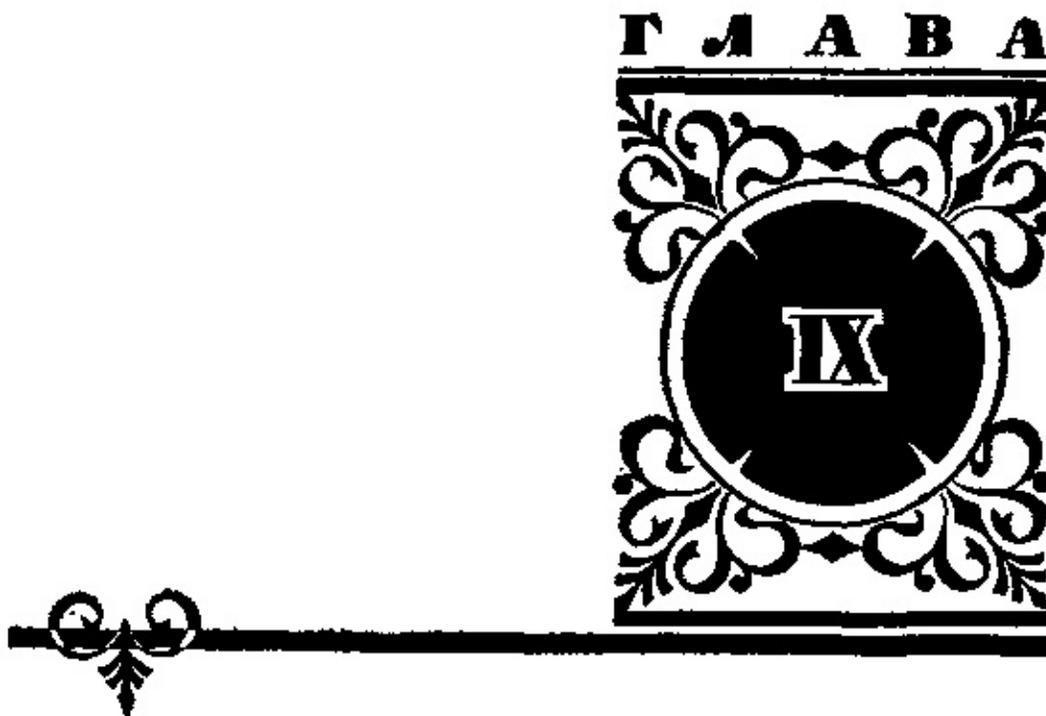
Битва под Монмартром была «пустяковым сражением», в котором несколько графов и князей лишились рук, ног и глаз. Глаз был выбит пулей у испанского графа Монтихо. Через шестнадцать лет Мериме в одной карете с этим одноглазым испанским графом уехал из Франции, скрываясь от надвигавшейся революции 1830 года. В тот день, который мы описываем, эти люди не были знакомы друг с другом. Маленький мальчишка, сын художника и художницы — Леонора и Анны Мериме, — рассматривал казаков через решетки Тюильри. Он смотрел на них глазами одиннадцатилетнего мальчика, тем пытливым взором незаинтересованного наблюдателя, который впервые уловила в нем молодая художница Анна Моро, его мать.

Тому человеку, которому впоследствии суждено было стать его

литературным учителем, Анри Бейлю, этот день дался не так легко.

Анри Бейль, аудитор Государственного совета и инспектор коронных имуществ, подписав согласие на низложение Наполеона, сурово и гордо расстается со своей карьерой и вступает на путь литературы, который оказался и дорогой маленького Проспера Мериме.

## ГЛАВА IX



Благосостояние Бейля рассеялось как дым. Он потерял все. С веселой улыбкой он подошел к зеркалу и посмотрел на себя как на явление прошлого: для него не существовало будущего. Он рассмеялся с той веселой беспечностью мужественного и понимающего события человека, которая отличала его всю жизнь. Он с величайшим презрением отнесся к тем недавним друзьям, которые с мышинной суетней забегали, нюхая воздух; вчерашние сторонники Наполеона, они делали все, чтобы отмежеваться от бонапартизма и сказать, что «и их копеечка не щербата» в деле свержения деспота и тирана.

Бурбоны вернулись в Париж в обозе интервенции. За последним казачьим маркитантом въехал в Париж в год царствования своего девятнадцатый его королевское величество Людовик XVIII. Так писал брат казненного Людовика XVI, считая, что ни одной минуты не прошло для него даром в брауншвейгской, лондонской и прочих отсидках за пределами Франции. А сын Людовика XVI считался Людовиком XVII, умершим в тюрьме. Недоразумение, именуемое империей Наполеона, окончилось. Николай Бонапарт, как о нем говорили, был свитский генерал его

величества короля Людовика XVIII, взбунтовавший часть королевских войск. И этим кончилась информация о Наполеоне, изготовленная для подрастающей французской детворы.

Сам «Николай Бонапарт», которого злые языки называли императором Наполеоном I, в настоящее время был императором острова Эльбы. Он объезжал виноградники, серные источники, соляные варницы этого маленького острова, возвращался усталый, но очень довольный своим именем. Его беспокоило только одно: отсутствие писем от супруги и известий о сыне. Мария-Луиза сделалась герцогиней, владельницей Пармы, Пьяченцы и Гвасталлы, но жила она в Вене, и благодаря заботам рачительного родителя, приставившего к ней вполне подходящего молодого генерала, она довольно быстро забывала о супруге.

Монархи, съехавшиеся после падения Наполеона в Вене на специальный конгресс, решили, что настало время ликвидировать опасные освободительные идеи во всем мире. Они поклялись во имя незыблемых основ религии и богом установленного монархического образа правления выработать такую систему европейского порядка, при котором народы вернутся в лоно церкви Христовой, рабы научатся снова повиноваться господам своим, и человеческий миропорядок, устроенный по образу божественного единовластия, будет незыблемой основой христианского государства.

Секретная организация иезуитов, всюду помогающая римско-католической церкви, была восстановлена в полной мере. Иезуитам во Франции были возвращены имения. Застучали кирки и заступы, откапывающие бочки с золотом и драгоценностями, зарытые орденовыми братьями в дни Конвента и революционных казней. Семь иезуитских коллегий во Франции взяли в свои руки воспитание молодежи. Международная полиция в виде специального корпуса жандармских мобилей сформировалась в Австрии. Все секретные нити общеевропейской провокации, полицейского надзора и мракобесия тянулись в кабинет Меттерниха.

Король, въехавший в Париж по милости тех, кто победил Наполеона, должен был считаться с волей победителей, и когда Франции предложено было вернуться в пределы границ 1792 года, Людовик XVIII повиновался. Один хитроумный Талейран разыгрывал комедию протестов на Венском конгрессе, затягивал переговоры, составлял длинные декларации. Люди, практически настроенные вроде римского полицмейстера, из падения Наполеона делали простые выводы: они запрещали оспопрививание и освещение римских улиц, так как это было введено французскими

якобинцами. Они объявили войну элементарной грамотности.

В качестве предохранения против народных волнений Людовику XVIII порекомендовали обзавестись хотя бы невинным представительством. Эта первая палата, избранная во Франции от ста тысяч богатейших буржуа и крупнейших землевладельцев, оказалась настолько послушной и раболепной, что получила прозвище «introuvable» («другой такой не сыскать»). Сто тысяч избирателей и вся Франция в качестве многомиллионного лишенца — это мало похоже на политическое равновесие... И Людовик XVIII не чувствовал себя спокойно в Париже. Он не любил этого мятежного города. Лишь изредка, в карете цугом, он проезжал по столице, стремясь сократить свое пребывание в ней и выехать куда-нибудь в королевские пригороды. Вялый, изможденный человек с дурной кровью, бычьими глазами, выпавшими зубами — он был трупом, долговременно гниющим на троне. Ему не хотелось ссориться с парижанами. Он не любил острых вопросов. Но вторая половина Тюильрийского дворца, именуемая Марсанским павильоном, была занята графом д'Артуа. Второй брат Людовика XVI был полон мистических мечтаний о восстановлении французского средневековья, французских рыцарей, сеньоров, вассалов, окружающих трон наследственного повелителя. Людовик XVIII царствовал девять лет, и все эти годы граф д'Артуа готовился к тому, что впоследствии он стал осуществлять, взойдя на престол Франции под именем Карла X.

В Марсанском павильоне были составлены проскрипционные списки генералов и офицеров, которых собирались выбросить из армии, ибо они поддерживали Бонапарта, эти революционные вскормленники когорт Конвента, люди, вышедшие из ничтожества, не имевшие никаких пергаментов о «благородности» и обладавшие только одним свойством: они жизнь отдавали за спасение родной Франции.

Бейль ходил в театр на «Севильского цирюльника», писал письма к сестре, незначительные и бессодержательные. Он с любопытством вглядывался в лица проходящих; встречая знакомых, он регистрировал и растерянные взгляды и звериный оскал зубов. Он перечитывал «Дневник моего печального пребывания в Гренобле». Он датирован «Шамбери, 2 марта 1814 года». Нужно было что-нибудь предпринять, как-то устроить свою жизнь.

18 июля 1814 года он написал генералу Дюпону, военному министру, просьбу о том, чтобы за ним сохранили его ежегодную пенсию и оклад, полагающийся ему по параграфу о пенсиях Гражданского кодекса в размере девяносто франков. Этим ограничились почтовые сношения Анри Бейля с

представителями правительства Бурбонов.

Он с величайшей охотой перефразировал эпитафию из «Космополита» Фуэкре де Монбрана (1753), взятый Байроном для первой песни «Странствия Чайльд-Гарольда»:

«Вселенная является книгой, в которой мы успеваем прочесть лишь первую страницу, живя в пределах своей страны и не видя ничего за ее пределами». Бейль считал себя обязанным перелистать все страницы этой книги вселенной. Это значило, что родина эпохи Конвента, родина, за которую не жалко было отдать жизнь, — для французов бейлевского типа уже сменилась подлым королевским гнильем, реставрированными интервентами.

В записи от 26 мая 1814 года с величайшей нежностью, недоступной для него ранее, Бейль говорит о встрече с молодым русским офицером, адъютантом какого-то князя Ваиссикова. Этот юноша, голубоглазый, с цветущим румянцем во всю щеку, скромный, простой и элегантный, произвел на Бейля удивительное впечатление в партере парижской оперы. Представители русской военной дворянской молодежи на территории Парижа 1814 года казались ему предвестниками какого-то нового возрождения варварской и грубой азиатской страны. Как это ни странно, Бейль, чуждый сентиментальности, был подвержен самым трогательным иллюзиям при виде того поколения, из которого впоследствии сформировались герои и героини 14 декабря 1825 года. Это был как раз тот период новых соприкосновений большой европейской Карбонады, когда Лунин виделся с Сен-Симоном и Базаре Буонаротти.

Мы находим в записях дневника тогдашнего времени следующие строчки:

«5 июня 1814 года. Я не нашел своего имени среди имен пэров.

К счастью, меня мало трогает роскошь. Она мне скорее мешает. Я приветствовал бы возможность жить в Париже в комнатке на четвертом этаже, опрятно одеваться и иметь услуги, обеспечивающие чистоту комнаты. Мне хотелось бы посещать Французский театр или «Одеон», которые я люблю» (в «Одеоне» играли итальянцы). Бейль заканчивает эту тираду словами, что необходимо бежать из Парижа, и 10 августа 1814 года он приезжает в любимый Милан, не испытывая никакой привязанности к «новой» Франции, к Франции Бурбонов, к этой феодально-дворянской монархии, которая, однако, не в состоянии уничтожить главного результата революции — победы буржуазного, капиталистического строя — и должна мириться с ним, примиряя с собой верхи буржуазии... (Ленин точно указал, что монархия 1815–1830 годов была шагом на пути превращения в

буржуазную монархию)<sup>[48]</sup>.

Дневник Бейля кончается 37-й тетрадкой, с 3 июня по 4 июля 1814 года. И если 36-я тетрадь 1813 года завершается восклицанием: «Наступит день, и австрийцы меня выгонят отсюда как карбонария», то 37-я тетрадь начинается мечтами о консульской должности в Италии<sup>[49]</sup>.

Как это ни странно, и прозорливость и упорство воли у Анри Бейля были настолько остры, что и то и другое впоследствии осуществилось.

Три года провел Бейль в Италии. Милан был его штаб-квартирой.

В Милане он переживал тот пароксизм страсти, который овладевает человеком, потерпевшим крушение. Госпожа Анжела Пьетрагруа давала ему возможность испытать все упоение молодого любовного счастья, которому формы старинной конспирации придавали особую остроту. Она так ловко и хорошо, с таким тактом умела чередовать впечатления бурных встреч и долгих ожиданий, так хорошо умела убедить Бейля, что она совершенно не любит своего супруга, толстого негоцианта, и только ради него, Бейля, решается преступить законы женской морали, что он был наверху блаженства. Все чаще и чаще госпожа Анжела рассказывает о ревности супруга. Она, конечно, не говорит ни о ревности безыменного рыжеволосого приказчика, ни о других, милых и немилых, молодых и старых людях, которые приходят в разные дни недели в четыре условные квартиры в разных кварталах города Милана.

Анри Бейль принят в доме графа Порро. Этот миланский салон был в то время одним из немногих мест Европы, где встречались люди большого интеллекта и лучших талантов. У графа Порро бывали часто молодой Федерико Конфалоньери, миланский дворянин Сильвио Пеллико, автор «Франчески да Римини»; туда приезжали изгнанная Бонапартом мадам де Сталь, англичанин Девис, лорд Брегем, братья Шлегель; там бывал сын викария Брэма — сеньор Лодовико де Брэм, молодой бледнолицый дворянин, владелец ложи в театре «La Scala»; там бывал Пьетро Борсиери из Фаэнца, будущий карбонарий и мученик итальянской свободы.



Оронс Ганьон.



Виктор Жакмон.



Антуан Барнав



Барон Марест.



Проспер Мериме.

В этом доме проходили безоблачные дни и вечера Бейля. Интеллектуальная насыщенность бесед, прекрасный миланский балет, лучшие картины итальянского Возрождения, архитектура, «единственная и неповторимая в мире» музыка Чимарозы. Что может быть лучше? Бейль был убежден в вековой прочности славы Чимарозы, которого постигла страшная смерть: возвращаясь из Прибалтики, он умер в Венеции, отравленный кубком венецианского вина, преподнесенным по приказанию неаполитанской королевы. Она боялась безумного бунтаря.

В этой обстановке Бейль жил как во сне, не имея лишних минут: радость ждала его утром, и веселье раскрывало объятия вечером. Проспер Мериме в 1855 году рассказал финал миланских дней. Горничная Анжелы Пьетрагруа, сжалившись, наконец, над чудаковатым французом, бескорыстно влюбленным в ее госпожу, сообщила ему, что Анжела принимает раз в неделю господина Бейля только потому, что все остальные вечера и ночи посвящены шести остальным любовникам. Бейль не верит. Тогда упорная итальянка подводит его к запертой двери, и сквозь замочную скважину Бейль убеждается воочию... Он сам рассказывал Просперу Мериме, как Анжела Пьетрагруа ползала на коленях по коридору и умоляла

Бейля вернуться. Бейль упрекнул себя в отсутствии великодушия, но не вернулся. Так кончился роман, тянувшийся много лет.

В 1814 году в Париже вышла первая книга Анри Бейля, которую он написал в Милане. Она появилась под псевдонимом, с очень длинным витиеватым названием: «Письма, написанные из австрийской Вены о знаменитом композиторе Жозефе Гайдне, с приложением жизни Моцарта и размышлений о Метастазии, а также о современном состоянии музыки во Франции и в Италии». Автором был назван Луи-Александр-Цезарь Бомбэ. Датировано «Париж. Печатня Дидо-старшего. Улица Моста Лоди, 1814 год».

Бейль сконцентрировал все свои музыкальные переживания в этой книге, посвященной классически ясной, строгой музыке Гайдна, солнечным прозрачным и чарующим мелодиям Моцарта и четкому итальянскому стиху Метастазии.

Гайдн был объектом особенной привязанности Бейля. Как мы знаем, он присутствовал на похоронах его. Что же касается Моцарта, умершего в 1791 году, то Бейль не имел возможности лично его знать. Но он любил этого композитора той любовью ко всему ясному, прозрачному и лучезарному, которая так характерна для материалиста и основоположника реалистического романа — Бейля. Последняя часть книги содержит письма о Метастазии, первое из коих датировано «Варез, 24 октября 1812 года». Бейль называет Метастазии поэтом музыки. Метастазии Пьетро-Антонио Доменико Бонавентура принадлежит к числу итальянских классиков. Он родился в 1698 году, а умер за год до рождения Бейля, в 1782 году. Он эллинизировал из уважения к классической древности свою плебейскую фамилию Трапасси, чем отдал свою дань позднему увлечению итальянским эллинизмом.

Его первая стихотворная законченная поэма называется «Покинутая Дидона». Она была поставлена впервые в Неаполе приблизительно в 1724 году, и Трапасси получил приглашение в Вену, где продолжал свою работу над музыкальными либретто. Звучность итальянского стиха помогла ему сделаться подлинно лирическим поэтом-музыкантом. От писания либретто он перешел к кантатам, а затем с латинского языка перевел Ювенала и Горация, чем окончательно закрепил свою славу. Его либретто — числом 28 — остаются до сих пор непревзойденными по качеству стиха и по полноте соответствующих звуковым распределениям слогов: писать стихи, распределяя гласные для пения, — эту формальную задачу либреттиста Метастазии разрешил блестяще.

Не охватывая творчество Метастазии в целом, Бейль устанавливает его

соответствие талантам Пер-голезе, Чимарозы и других музыкантов. Второе письмо Бейля о Метастазии чрезвычайно интересно: оно перечисляет всех увлекавших Бейля итальянских поэтов — и Тассо, и Петрарку, и Данте, и Ариосто. Чудесные стихи о свободе, написанные Метастазии в Вене в 1733 году, Бейль превосходно перевел.

Почему он укрылся под именем Цезаря Бомбэ?

Затемнение политического горизонта или усложнение житейской и политической обстановки Бейля всегда заставляли его прятаться — не из трусости и личной боязни, а из стремления сохранить созерцательную способность. В дороге, при встрече с интересными и возбуждающими любознательность явлениями, в ресторане, на почте при получении письма, в картинной галерее, при осмотре скульптур Бейль мгновенно придумывал или фальшивое имя, или бытовую маску и в таком виде выступал в качестве пытливого, жадного, малоосторожного в словах собеседника.

Однажды в холодную осень, трясаясь в дилижансе, он после полуторачасовой беседы со случайным спутником был спрошен о том, какого рода занятия определяют его житейское место. Бейль ответил просто:

— Я — наблюдатель человеческих характеров.

Спутник в ужасе отпрянул и надвинул на брови шляпу, думая, что перед ним обыкновенный сыщик.

Другая причина любви Бейля к псевдонимам разъяснена им самим так:

«Бейль был совершенно лишен и того элементарного чувства тщеславия, которое свойственно заурядным талантам, стремящимся всюду поставить свое имя».

К псевдониму «Бомбэ» он возвратился только раз, когда был представлен госпоже Виржинии Ан-сло. Но этот господин Бомбэ, вошедший с наглым видом в гостиную, вовсе не был автором книги о Гайдне. Это был просто интендантский поставщик, развязный нахал, толстый купчина. Перед лицом тридцати или сорока гостей он произнес нелепую тираду о преимуществе быть поставщиком нитяных чулок для армии по сравнению с господами литераторами, которые сидят здесь. Эта веселая выходка вначале привела в ужас госпожу Ансло. Но так как большинство ее гостей прекрасно знали господина Бомбэ — к этому времени довольно известного литератора Стендаля, — то все обошлось благополучно.

Бейль считал себя миланским гражданином и, быть может, поэтому утратил некоторую долю благоразумия и осторожности. У господина Бучинелли в Милане в 1812 году была напечатана господином Джузеппе

Карпани биография Гайдна. Пренебрегая невероятно у всех тогдашних буржуа возросшим чувством собственности, Бейль использовал книгу Карпани, не указав на источник своих заимствований.

Бездарный ученик гениального композитора оказался в высшей степени обидчивым собственником. Он не заметил блестящих, искрящихся умом замечаний, посвященных творчеству своего учителя. Он заметил только одно: его хронологическая схема жизни Гайдна и многие его материалы усвоены каким-то господином Бомбэ, и этому господину Бомбэ надлежит поплатиться за присвоение чужой собственности.

«Откуда он родом, этот господин Бомбэ?»

«Я из Космополита», — отвечает автор.

«Столицы мира? Но что это за гражданин мира, господин Бомбэ?»

Кто он таков? Что о нем известно? Ничего. А Карпани — известный человек. Он автор либретто для оперы учителя Паганини — Паэра «Камилла». Семнадцать писем Карпани, снабженных анекдотическими сведениями о Гайдне, в большей своей части имеют все признаки достоверности, так как Карпани непосредственно соприкасался с Гайдном.

Как Берлиоз трактует любую музыкальную фразу Гайдна? Очень просто: вот его высочество садится за стол — этому соответствует музыкальная фраза, построенная на крупно звучащих басовых тактах; его высочество поднимает фужер — этому соответствуют такие-то звуки у господина Гайдна... Одним словом, любую фразу композитора можно истолковать как прославление герцогского пищеварения — и больше ничего. Карпани недалеко ушел от Берлиоза в оценке своего учителя, с той только разницей, что он становится литературным Гайдном при его величестве композиторе Гайдне. Он так же истолковывает каждый шаг своего учителя, как, с точки зрения Берлиоза, Гайдн истолковывал обеденные жесты и процессы насыщения курфюрста, покровителя его композиторского искусства.

Дело Карпани — Бомбэ, возникшее в 1815 году и на шумевшее в газетах, сослужило службу литературной славе господина Бомбэ. Если бы господин Карпани умел молчать, книга Бомбэ прошла бы незамеченной. Но скандал, им поднятый и поддержанный Фетисом во «Всемирной биографии музыкантов», обеспечил Бомбэ славу. Фетис называет Бейля бесстыдным плагиатором, трижды перевирает даты рождения и смерти композитора Паганини и, наконец, будучи кривым царем слепого царства музыкальной критики, делает тысячу и одну ошибку в отношении всех объектов своего пера.

Письмо, помеченное «Vienne en Autriche ce juin, 1816», Карпани

заканчивается так: «Во всяком случае, что бы вы ни говорили, я имею честь быть автором Ваших писем о Гайдне».

В ответ на это 26 сентября 1816 года брат господина Цезаря Бомбэ — Н. С. G. Vombet выступил в его защиту. Он прямо обвиняет Карпани в плагиате.

Игра становится веселой для одного — в силу отсутствия мелочности характера, и приобретает чрезвычайно трагическую форму для другого — в силу его мизантропии. Карпани начинает сомневаться в собственном существовании. Polemika тянется долго, до 1824 года, и чтение всех писем братьев Бомбэ (из коих один — «невинная жертва», а другой — его защитник, и оба объединяются в лице господина Анри Бейля) доставило бы читателю немало веселых минут.

Спор об этой книге окончательно разрешил в 1914 году Ромен Роллан в своем предисловии к ней. Он указывает, что чувства, выраженные в книге, являются чувствами Анри Бейля, а не Карпани. Со свойственной ему глубиной Ромен Роллан вскрывает перед читателем простую и ясную картину того, каким способом дилетант овладел тайнами музыки, а человек, считающий себя специалистом, не достиг даже и сотой доли его проникновения в эти тайны. Ромен Роллан причины успеха дилетанта находит в его темпераменте, в его чувствительности, нервной и эстетической. Чрезвычайно интересны наблюдения Романа Роллана над языком книги Бейля. Карпани, автор «Итальянских писем», сделал все, чтобы великий, живой и прекрасный итальянский язык превратить в дубовый, канцелярский. Бейль в своих очерках обогатил французский язык. И неудивительно, что биография Гайдна была воспринята в трактовке Бейля, а не Карпани. Самое раннее произведение Бейля сохранило и для нас пленительную свежесть молодого увлечения итальянской музыкой тогдашних дней. Плеяда композиторов Милана, Неаполя, Венеции, Рима, Флоренции проходит перед нами. Освещая их музыкальное значение совершенно по-новому, книга осталась живым свидетельством о музыкальной жизни Италии начала XIX века. На английском языке она вышла в Лондоне в 1817 году одновременно со вторым французским изданием.

Сто дней нового владычества Наполеона ни на одну секунду не увлекли Анри Бейля. Он читал газеты в Венеции на Пьяцце в кафе Флориани и спокойно убеждался, что был прав, не веря ни в какие легенды о маленьком капрале.

Теперь, после страшнейших разочарований, этот созерцатель, когда-то в Милане обещавший себе проверить на людях теорию доктора Кабаниса,

был тонким и хитроумным наблюдателем, нисколько не зависящим от перемены житейских обстоятельств. Однако, услышав о трагическом исходе Ватерлоо и ссылке Наполеона на остров Святой Елены, он вспомнил, как Бонапарт, слушая Крешентини в «Ромео и Джульетте», неожиданно залился слезами, а потом послал в подарок артисту железную корону. Он вспомнил также и то, что герцог Фриульский, генерал Дюрок, до конца своих дней, даже за несколько минут до смерти в бою, говорил Наполеону «ты». И все же он записал: «Но ведь мировая история и формация человеческого общества вовсе не кончаются со ссылкой Наполеона на остров Святой Елены».

Большие записки Бейля-Стендаля о Наполеоне до сих пор не опубликованы даже во Франции, и поэтому приходится пользоваться частично редакцией, опубликованной по текстам Проспера Мериме, частично текстами, опубликованными Жаном де Митти, который писал:

«Просматривая рукопись, испытываешь впечатление какой-то скверной школьнической работы, яростно искаженной учителями, приведенными в отчаяние. На полях — отметки педагога в форме предложений, целый ряд слов автора, зачеркнутых раздраженным пером. Ошибки, по существу, оказываются восстановленными с терпением, заслуживающим лучшей участи. А в одном месте, начиная со слов Стендаля: «Наполеон сказал маршалу Бертье: «У меня сто тысяч человек доходу», — капризная черта зачеркивает страницу. Мериме зачеркивает трагические и великолепные слова Стендаля, своего учителя, и под ними пишет: «Эти слова не делают чести ни тому, кто их произнес, ни тому, кто их передал». Не предвосхищая анализа отношений Проспера Мериме к Стендалю, мы должны оговориться, что Проспер Мериме, сенатор Наполеона III, был чрезвычайно плохим текстологом, когда обрабатывал разрозненные замечания Бейля в первой и второй редакциях текста «Жизни Наполеона». Первая редакция относится ко времени отречения в Фонтенебло, вторая — ко времени после Ватерлоо. Они существенно разнятся между собою, а Проспер Мериме стремился обезличить и ту и другую.

Бейль писал: «Одним из главных средств понравиться императору было умение уничтожить до последней вспышки «социальный разум», который в те дни, как и теперь, назывался якобинством.

В 1811 году маленькая деревенская коммуна захотела после уплаты шестидесяти франков использовать бракованный булыжник, выброшенный наполеоновским инженером, которому был поручен ремонт большой дороги. Для этой простой операции понадобилось четырнадцать утверждений

префекта, супрефекта, инженера и министра. После невероятных трудов и проявления чрезвычайной активности получено было, наконец, необходимое разрешение одиннадцать месяцев спустя после подачи прошения, а булыжный брак за это время был уже израсходован на починку каких-то дорожных ям. Невежественный наполеоновский чиновник в силу централизации власти в Париже за двести лье от заинтересованной коммуны решал дело, которое требовало самое большее двух часов обдумывания и проверки на месте...

Главное стремление Наполеона было унижить гражданское достоинство человека, а еще более главное — помешать ему разумно мыслить, — отвратительная привычка французов, коренившаяся в них со времени Якобинского клуба...

Чиновничье бытие неминуемо влечет людей к отупению. В первый момент дебюта в канцелярии — это проявление красивого почерка и талантливое применение сандарака. Все остальное при Наполеоне состояло в том, чтобы уметь следить за внешностью. Человек, напустивший на себя многозначительный вид, обеспечен будущим. Интересы этого человека сводятся к тому, чтобы болтать языком без предварительных знаний. Так и получается явление: живой свидетель подлейших интриг — чиновник Наполеона I соединяет придворные пороки со всеми подленькими привычками, корни которых гнездятся в ранней нужде, определяющей биографию чиновника первые две трети всего срока его существования. И вот этим людям император Наполеон предоставил Францию как жертву. Себе он оставил право презирать людей...

Если что может живописать эпоху, так это бумагомарание и отчеты министерств. Они невероятны. Показателем их является исполнская, ненужная и поневоле плохая работа, которую делали эти несчастные министры и их жалкие префекты. Примером больших дел тогдашнего времени было собственноручное писание отчетов и многочисленных копий этих отчетов для разнообразных министерств, и чем больше работали эти люди, тем больше разрушали дело, им порученное...

Любые министерские решения, выходившие из Парижа, достигали адресата только через год. Они были смешны незнанием подробностей и всегда отличались полным безразличием. Однако есть страна, называть которую я не хочу, — там ни один мировой судья не может вывести решение, не совершив дикой несправедливости против бедного в пользу богатого...

Государственный совет императора прекрасно сознавал, что единственно разумной системой является оплата каждым департаментом

своих префектов, своего духовенства, своих судей, своих расходов на областные и коммунальные дороги, а что в Париж следует посылать только то, что полагается монарху, армии, министрам, и, наконец, общие сборы.

При Наполеоне эта система стала тяготить министров, ибо император не смог бы больше обворовывать коммуны».

Бейль писал: «Чтобы быть хорошо принятым у императора, надо было всегда быть готовым разрешить задачу, волнующую его в момент вашего прихода. Например: какой суммой выражается сейчас стоимость оборудования всех военных госпиталей. И если министр не сумел ответить искренне, как человек, который целый день посвятил только подготовке ответа на этот вопрос, такого министра уничтожали, даже если он обладал прозорливостью Фуше — Отрантского герцога».

Бейль отмечает чрезвычайную беспощадность Наполеона к своим сотрудникам. Крете, министр внутренних дел, умер от специфической болезни, происшедшей по вине Наполеона, не отпуская своего министра за элементарной человеческой нуждой. Бонапарт ответил: «Это только справедливо. Человек, которого я сделал министром, должен отвыкнуть мочиться».

Бейль записал фразу Наполеона по поводу спора с римским первосвященником:

«Вам легко говорить все это. Но если римский папа явится ко мне и скажет: «Нынче ночью меня посетил архангел Гавриил и объявил мне нижеследующее...», ведь я же принужден буду ему поверить».

Бейль точно передавал слова Наполеона в годы, когда Франция изнывала от рекрутских наборов:

«Да сидите же вы сложа руки. Полицейские префекты все сделают за вас, и, как награду за ваш сладкий отдых, я прошу у вас только одного: производите детей. Как можно больше детей. И зарабатывайте деньги, как можно больше денег, в отличие от моих генералов, которые разбогатели только воровством»<sup>[50]</sup>.

Прочитав все это, мы можем понять, почему Анри Бейль спокойно ел лимонное мороженое, когда площадь перед храмом Св. Марка в Венеции оглашалась выкриками газетчиков: «Лев сломал клетку — Наполеон снова в Париже».

«Сколько низости и трусости в генералах империи! — думал Бейль. — Вот в чем истинный недостаток гения Наполеона: он давал высшие должности по признаку храбрости, невзирая на то, что в гражданской службе его люди становились подлецами».

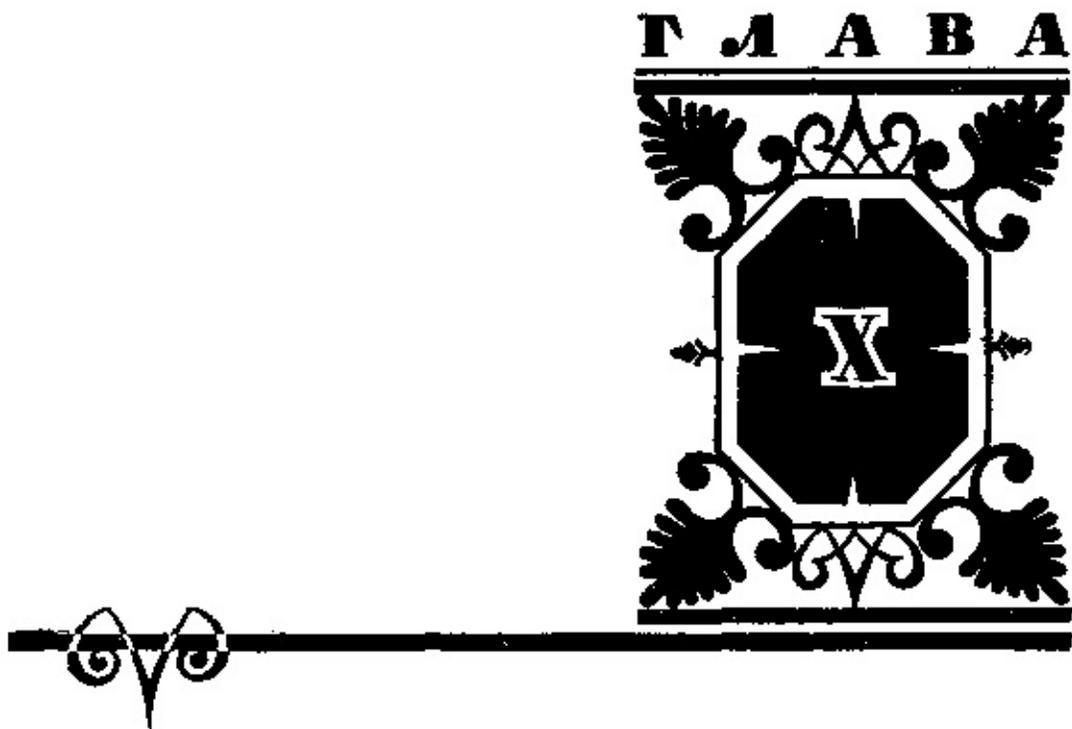
Анжела Пьетрагуа внезапно разрушила все представления Бейля о

верности женского сердца. В венских и французских газетах шумит синьор Карпани. И над всем этим — фигура огромного неудачника Бонапарта, который после скандального боя при Ватерлоо бесславно проводит свои дни на острове Святой Елены.

Нет никакой надобности связывать свою судьбу с чьим бы то ни было персональным авторитетом. И если сейчас во Франции господин Жозеф де Местр хлопочет о полной реставрации принципа авторитета католической церкви, то для Анри Бейля по-прежнему единым авторитетом остается упорное искание истины путем опыта и наблюдения, путем математического анализа. Никакой веры. Он вспоминает слова Дантона:

«Правда. Пусть бесконечно горькая, но только правда».

## ГЛАВА X



Молодежь Италии читала и перечитывала слова Уго Фосколо:

«Судьба наша почти свершилась. Все потеряно, и сама жизнь, если нам ее даруют, уйдет на оплакивание наших несчастий и нашего позора... И мы сами, в довершение несчастья, мы, итальянцы, омываем руки в крови итальянцев».

Бывший наполеоновский офицер к прежним наполеоновским солдатам из числа молодых итальянцев обращался с призывом начать борьбу за свободу родины. Уже в 1811 году Италия покрылась сетью секретных союзов, которые вели свое начало от старинного европейского масонства. В применении к секретному братству, возникшему приблизительно около середины XVII века, слово «масонери» обозначает «союз вольных каменщиков» — филантропическое общество с очень расплывчатой программой. Масоны объясняют свое название каменщиков ссылкой на то, что основу их союза составляют строители древнего Соломонова храма, и самый внутренний распорядок своей организации они уподобляют цеховым и иерархическим степеням строителей этого храма. Тройки, семерки и пятерки, лежащие в основе низовых ячеек тайных масонских

организаций, завершались более или менее значительным кругом венераблей — наиболее уважаемых членов масонских братств, возглавлявших областные объединения масонских лож.

По типу масонских организаций и возникли в Италии первые конспиративные союзы, имевшие целью объединение всех говорящих на итальянском языке. Эти масоны новой итальянской формации, стремившиеся к восстановлению единой Италии, свободной от иноземного ига, получили название карбонариев. Carbonajo по-итальянски значит «угольщик». Определить происхождение этого наименования с точностью доселе не удалось. Некоторые говорят, что тайные братья, принадлежащие к этому союзу, должны были укрываться долгое время в лесах и жить в лачугах угольщиков. Сами карбонарии вели свою историю от глубокой древности. Во времена Данте, по их словам, уже были карбонарские ячейки (венты). Комментаторы «Божественной комедии» Данте начала XIX столетия находят в ней символическое повествование о таких первоначальных союзах освободителей Италии, о которых, вероятно, сам творец «Божественной комедии» и не мечтал. Во всяком случае, сверстники Бейля карбонарии Россетти и Берше и в печати и на собраниях североитальянской карбонады комментировали Данте именно с этой точки зрения.

Первоначально Иоахим Мюрат, король Неаполитанский, сделал вид, что он опирается на национально-освободительные тенденции карбонариев, имевших в первой четверти XIX века до шестисот тысяч членов на территории Апеннинского полуострова. Историки указывают, что не было роты и эскадрона, а может быть, даже не было и семьи в крупных городах, в которых общество карбонариев не имело бы своих представителей. Особенной прочностью и солидностью отличался Воинский союз лесных итальянских угольщиков<sup>[51]</sup>. Совершенно несомненно, что Главная, или Верховная, вента карбонарских организаций Италии входила в соприкосновение с международными революционными организациями, что особенно усилилось со времени создания на Венском конгрессе Священного союза монархов.

Соприкосновение Мюрата с карбонарскими организациями Южной Италии дало возможность полиции Наполеона широко ориентироваться в движении и узнать всю его подноготную. Когда эта цель была достигнута, Мюрат прекратил легальную деятельность карбонарской конспирации. Но этого мало: он с дикой жестокостью расправился с теми представителями южноитальянской карбонады, которые возглавлялись великим конспиратором Капобьянко. Загнанный в горы, Капобьянко был пойман за

обеденным столом у священника-предателя и тут же расстрелян.

Карбонарии ушли в подполье. Их союз все более и более усложнял конспиративную технику, после того как 4 апреля 1814 года Мюрат декретировал смертную казнь за простую принадлежность к обществу карбонариев.

Генерал Колетта писал: «Карбонарии являются первоначальным ядром всех недовольных Италии. Мало-помалу вокруг них формируются дружины людей, у которых есть разногласия с правительством. Мы можем составить себе правильное представление о взрыве итальянского недовольства по огромному количеству лиц, занесенных в карбонарские организации, ибо в марте 1820 года их числилось 624 000. Мы жили на вулкане, а министры спали. Недовольство охватывало все более и более широкие массы населения».

На севере Италии центром движения был Милан, а во главе обширной североитальянской конспирации стоял человек, о котором мы уже упоминали, — Федерико Конфалоньери, молодой, полный сил и отважных замыслов, стремившийся к преобразованию итальянской индустрии, приветствовавший паровые суда, газовое освещение и те улучшения в области техники, от которых отказался даже весьма сообразительный в области практической Бонапарт. Его секретарем был поэт Сильвио Пеллико. Когда Ломбардия после падения Наполеона снова попала в руки Австрии, руководители тайного общества собирались у Лодовико Брэма, сына монсиньора Брэма, духовника вице-короля Евгения Богарне, пасынка Наполеона.

В этой среде Анри Бейль чувствовал себя своим человеком. Мы не имели возможности удостовериться по материалам гренобльской библиотеки и архива, насколько непосредственной и непрерывной была связь Анри Бейля с масонскими и карбонарскими организациями в 1806–1811 годах. Во всяком случае, далеко не случайными являются последующие встречи Бейля именно с теми людьми, которые были членами масонских лож и розенкрейцерами высоких степеней. Анри Бейль очень дружил с Александром Тургеневым. Александр Иванович Тургенев, ровесник Стендаля, в силу семейной традиции принадлежал к высшему кругу масонства: его отец Иван Петрович, личный друг Радищева, был сослан Екатериной II за принадлежность к масонству<sup>[52]</sup>.

Не приводя огромного списка карбонарских друзей Бейля, мы обратим внимание на то, что никогда так пестро не звучали ложные имена Бейля, как в пору его бесконечных поездок по Италии, ничем не объяснимых,

кроме карбонарских поручений<sup>[53]</sup>.

И вот однажды в театре, в ложе монсиньора Брэма, Бейль увидел прихрамывающего человека с черными волосами, с великолепным блеском глаз, гордого, надменного и необыкновенно грустного. Это был лорд-карбонарий Байрон.

В письме, написанном Бейлем в 1824 году<sup>[54]</sup>, он гораздо более открыто, чем в воспоминаниях о Байроне, передает впечатления от своих встреч с величайшим поэтом Англии в миланские дни 1816 года. Книга маркиза де Сальво «Лорд Байрон в Италии и Венеции» вышла в Лондоне на следующий год после смерти Байрона, когда Бейль еще не был знаменитым писателем, и во всяком случае задолго до опубликования им воспоминаний о Байроне. Тем более интересно, что на странице 156-й, при описании неаполитанской резолюции и карбонарского движения, маркиз де Сальво передает важное суждение Бейля о Байроне. Ни в одном печатном произведении самого Бейля мы не находим указаний на то, что Байрон ссылаясь на свое нормандское происхождение— будто Бироны явились в Англию вместе с Вильгельмом Завоевателем. Бейль, по мнению де Сальво, этим подчеркивает мнение Байрона, что бунтарство и ненависть к королевской власти находятся у него в крови.

Ветки белой акации были преподнесены и Бейлю и Байрону, когда оба они теснейшим образом соприкасались с военно-конспиративными организациями Северной Италии. Такое подношение означало высокую степень доверия карбонарских организаций и чисто республиканскую ориентацию Байрона и Бейля, ибо белая акация знаменует собою в руках масона-карбонария ненависть к монархическому строю, ко всякому монарху, сидящему на престоле.

Байрон, взяв Бейля под руку, часами ходил с ним по фойе миланского театра, расспрашивая его как офицера, участника наполеоновского похода в Россию. Затем вместе с Бейлем, поэтом Монти, Конфалоньери, Сильвио Пеллико и другими Байрон поднимался ночью по лестнице на крышу миланского собора и, вдохновленный лунным светом, отражающимся в белоснежных мраморных плитах, произносил свои повествования о Каструччио Кастракани, которого называл Наполеоном средних веков и кондотьером Италии.

Монти, читавший в присутствии Байрона свою замечательную поэму «Маскерониана», символически представляющую путешествие по вселенским пространствам итальянских свободолюбцев, первоначально произвел сильное впечатление на английского гостя.

Но когда Байрон узнал, что эти же звучные метафоры Монти продает за деньги, за почести и за славу какому угодно правительству, он вознегодовал и в беседах с Бейлем называл Монти «парнасским Иудой». И он не пожелал больше встречаться с итальянским поэтом, воспевавшим великую деву Астрею — Австрию, восхвалявшим и Бонапарта, победившего Суворова, и Суворова, победившего Бонапарта.

Вся поэзия Байрона итальянского периода проникнута острым чувством политической действительности. От юмора поэмы «Беппо» через сатиры «Дон-Жуан» и «Бронзовый век» Байрон пошел по пути пламенного восхваления итальянского освободительного движения и, сделавшись подлинным итальянцем, создал недостижимые образы карбонаризма в поэме «Пророчество Данте». Выпущенная в Италии, она была немедленно конфискована. И папская энциклика и правительственные распоряжения австрийской жандармерии рассматривали ее появление как тягчайшее горе XIX столетия.

Байрон в Osteria Boraciana имел постоянные встречи с североитальянскими «Фрателли Качиатори». Так назывался союз американских стрелков, то есть самая сильная боевая дружина североитальянского карбонаризма. Имя Вашингтона, руководителя борьбы за свободу и независимость Северо-Американских Штатов, было у всех на устах. Отсюда — название, взятое для карбонарского союза, во главе которого стоял Байрон: «Американские стрелки»<sup>[55]</sup>.

Один из шпионов графа Седленицкого тщательнейшим образом вел суточную запись своей работы. Эти документы были опубликованы в 1899 году итальянским исследователем Триболати. Шпион, имени которого мы не знаем, указывает, что только полное сумасшествие английского лорда Байрона позволяет ему разгуливать по Италии и что если бы не факт безумия, то его надо было бы отдать на расправу мобилим Священного союза, то есть международной бригаде охранников и убийц. В этом документе подробно разбираются все разветвления карбонарского движения и обнаруживается влияние Байрона в таких областях, которые обычно историки литературы игнорировали. В байроновском дневнике мы, правда, встречаем прямое указание на то, что он встретил в лесу около Равенны «американцев» — отряд вооруженных людей верхами, по глухой лесной тропинке проехавших бесконечной вереницей и напевавших странную революционную песню: «Все мы воины свободы». С этим союзом мы уже знакомы. Но вот нечто новое и неожиданное. Специальная правительственная сводка секретных сведений о карбонарском движении, составленная для папского государственного секретаря кардинала

Консальви, содержит прямое указание на то, что в Милане возник революционный центр, имеющий разветвления по всей территории Ломбардо-Венецианской области в Тоскане. Подданный его величества короля Великобритании, пэр Англии, член верхней законодательной палаты Джордж-Гордон Байрон — руководитель болонской секции карбонарского союза. «Союз имеет целью внушение всем членам, братьям-угольщикам, мастерам и товарищам, основного правила выхода из-под гнета религии и освобождения от оков общественной нравственности, в силу закона следовать простому порядку организации человеческих обществ в полном соответствии с велениями природы, рождающей людей свободными и равными в правах друг с другом».

Но что самое замечательное, это наименование союза: «Societa Romana antica» — «Общество древнего Рима». Союз древнего Рима, или иначе — романтическое общество!

В 1818 году, без указания места печати и автора, вышел своеобразный манифест этих романтиков<sup>[56]</sup>, автором которого оказывается Арриго Бейль, миланский гражданин. Идеалы древнего Рима, то есть самое классическое, что нам оставила в наследство древность, превращаются в манифест антиклассического направления в литературе, политике и жизни. «Романтическое» общество объявляет себя врагом всех застарелых традиций, где бы они ни проявлялись, — оно зовет сломить старое общественное устройство и организовать счастливое и прекрасное общежитие людей на земной планете. Итак, то явление, которое впоследствии называлось романтическим движением во Франции, первоначально было чисто политическим явлением, и термин «романтики» прозвучал впервые как термин «карбонарии».

Журнал «Tenda Rossa», или «Красное знамя», появился в результате романтической деятельности лорда Байрона. Но полиции удалось найти типографию, в которой были набраны первые номера этого байроновского журнала; она раскидала набор, арестовала типографчиков и помешала выходу издания.

Второй журнал Байрона назывался «Освободитель».

Ему также помешали выйти в свет. Но все-таки Байрон отдал дань своему увлечению старинной и новой Италией в первых номерах этого заманчивого по названию и острого по тексту литературного предприятия.

Недаром в письме от 24 августа 1829 года Бейль писал Ромену Коломбу в Версаль<sup>[57]</sup>:

«Нынче вечером меня многое заставили сообщить о Байроне. Сейчас

близится полночь. Сон отступил от меня, и поэтому хочется доверительно поведать тебе мою вечернюю болтовню.

Я имею возможность сказать тебе все, ибо те друзья, которых я тебе называю, уже погибли или томятся в кандалах. Мои слова не могут повредить заключенным, как никакая правда не может повредить благородным и мужественным сердцам.

Я не боюсь также, что меня будут упрекать мои умершие друзья, обреченные на жестокое забвение, всегда так быстро наступающее после смерти. Они, движимые естественным стремлением не быть забытыми, с радостью склонили бы слух свой к словам друга, произносящего их имена, и, чтобы оказаться на высоте моих умерших друзей-карбонариев, я обязуюсь и клянусь, что мой голос не произнесет ничего лживого и не позволит себе никакого преувеличения».

Нельзя не выразить удивления по поводу того, что все биографы Стендаля так легкомысленно обходят этот период его жизни и спокойно присоединяются к голосу тех, кто стремился доказать непричастность Бейля к карбонарскому движению. При жизни Бейля это, может быть, было целесообразно. Друзья стремились сохранить большого романиста, реалистического философа и просто прекрасного собеседника от грозной опасности. Но это вовсе не значит, что принятая ими система маскировки позволяет исследователю нынешних времен не заботиться о восстановлении правды. Если мы находим прямое признание Бейля в том, что он был участником заговора Моро в те годы, когда Бонапарт из революционного генерала становился узурпатором, то мы почти нигде не встретим его прямых признаний в принадлежности к карбонарским организациям Италии. И если бы не приказание австрийского правительства о розысках Бейля, известного полиции под чужим именем, если бы не серьезные косвенные доказательства, которые мы разберем, то историки-фальсификаторы Бейля могли бы и теперь удержать нас от вывода о несомненном карбонаризме Бейля.

В сентябре 1816 года Бейль пишет от имени Франсуа Дюрана предложение французскому законодателю— запретить политические дуэли. Комментатор писем Бейля приводит слова Ромена Коломба, что ужас Бейля перед дуэлями тем более замечателен, что он с большой легкостью сам был инициатором двух-трех дуэлей, причем стоял под выстрелами и стрелял хладнокровно. Мы должны сопоставить это письмо «господина Дюрана» с тем планом французских политиков, который стал известен карбонарским организациям. От графа д'Артуа, производившего секретную чистку армии от офицеров — приверженцев Бонапарта, офицеры-роялисты получили

разрешение устранять наиболее заслуженных командиров Наполеона путем многократных дуэлей. Восемь или десять человек одновременно вызывали на дуэль нежелательное им лицо, и кто-нибудь из них убивал вызванного. Этот способ политических дуэлей описан Стендалем в его романе «Красное и белое».

Г-на Дюрана сменяет г-н Бомбэ в новых острых полемических выпадах, причем г-н Бейль сидит на концерте вместе с Цингарелли, обсуждает историю Карпани с этим музыкантом, затем по рассеянности публикует весь этот разговор, якобы происходивший между г-ном Бомбэ и г-ном Цингарелли. Последний ввязывается в полемику Карпани — Бомбэ и говорит, что он никакого Бомбэ не встречал и с ним не разговаривал.

Г-на Бомбэ сменяет г-н Александр де Фирмэ, который пишет господину Луи Крозе из Рима 30 сентября 1816 года длинный план составления 3, 4, 5 и 6-го томов «Истории живописи в Италии». Ему же пишет письмо господин Дюбуа дю Бэ из Милана 21 октября, и из Рима же ему адресует письмо господин Онуффо Лани. Все эти письма содержат восторженные отзывы об итальянской живописи, впечатления от музыки и характере итальянского народа. Музыка и пение, живопись и скульптура внезапно сменяются политическими выпадами против Австрии и чисто карбонарскими высказываниями, которые делают понятной необходимость прибегать в переписке к двадцати-тридцати ложным именам.

В 1817 году Бейль выпустил первый том «Истории живописи в Италии». Эта книга вышла с очень странным обозначением имени автора: «Par M. V. A. A.». Книга, оригинал которой был в свое время, по выражению Бейля, «разорван казаками на пыжи», теперь, наконец, вышла в свет.

Бейль пишет распоряжение книгопродавцу, кому посылать и кому не посылать «Историю живописи в Италии». До истечения двухнедельного срока после выхода книги из типографии он просит не давать никаких объявлений и разослать книгу, к нашему удивлению, целому ряду французских аристократов, наполеоновских генералов и важнейших конспираторов Франции, будущих прямых участников июльской революции. Вместе с тем он красной чертой подчеркивает: ни одного экземпляра не высылать белым и католическим газетам: «Котидьен», «Дебаты», «Двухнедельное обозрение», «Добрый француз». Таким образом была исключена Бейлем вся правительственная пресса из списка тех, кто получает экземпляр его «Истории живописи в Италии».

В маленькой автобиографической записке, датированной

«Воскресенье, 30 апреля 1837 года. Париж.

Гостиница Фавар», Бейль пишет о себе в третьем лице:

«Он издал в 1817 году «Жизнь Гайдна» и «Рим, Неаполь и Флоренция», а затем «Историю живописи в Италии». В 1817 году он возвратился в Париж, который показался ему отвратителен; он поехал посмотреть Лондон и возвратился в Милан».

Биограф Бейля Ромен Коломб пишет:

«Все улыбалось Бейлю. Он не помышлял о будущем, а настоящее было безоблачно. Но пришел день, когда довольно сильные сердечные горести заставили его желать перемен: в июне 1817 года он выехал в Париж. В своем обычном состоянии он казался странным. Он был или крайне печальным, или веселость его доходила до шутовства. Во всем сказывалась попытка удержаться от крайней степени отчаяния».

Резкие отзывы о Париже 1817 года и горячая ненависть к Бурбонам — таково содержание парижской жизни Бейля. Все его поиски даже самого незначительного места во французских консульствах в Италии получили решительный отказ.

В августе 1817 года Бейль с неизвестными целями выезжает в Англию. Письма этого периода не уцелели. С кем он виделся, как он проводил время в Лондоне, был ли он где-нибудь в других местах, кроме столицы, — об этом не сообщают даже его биографы. Только Коломб пишет: «В августе месяце маленькое путешествие ограничилось лишь кратким посещением Лондона».

Чрезвычайно характерна поездка в Англию непосредственно после знакомства с Байроном, а молчание Бейля зачастую было гораздо красноречивее его писем и мемуаров...

Быстро, почти нигде не останавливаясь, проезжает Бейль из Лондона через Францию и Швейцарию в Милан<sup>[58]</sup>.

В Париже у Делоне и Пелисье появляется книжка ин-октаво в 366 страниц под названием «Рим, Неаполь и Флоренция в 1817 году». И впервые на этой книжке появляется имя: «Стендаль — офицер французской конницы». Если историки литературы считали хорошим тоном расценивать «Историю живописи в Италии» как простой плагиат «Истории» Ланци, то ничто так не подтверждает право Стендаля на авторство «Истории живописи в Италии», как замечательные очерки «Рим, Неаполь и Флоренция». Ланци никогда не читал Гельвеция, Ланци не был материалистом, Ланци не читал «Дух законов» Монтескье и не был в состоянии определить всю сумму факторов, направляющих волю и творчество живописцев, факторов чисто материального свойства.

Своеобразной прелестью полны и описания истории городов, и характеристики их внешнего вида, и отдаленные эпизоды, встречи, впечатления от людей, архитектуры, скульптуры, музыки; в особенности интересны чрезвычайно острые характеристики австрийских властей в Италии и национально-политического характера итальянских стремлений. В отличие от простого прославления архитектуры древних и средневековых храмов, в отличие от более или менее тонких или грубых характеристик Рима античного, средневекового, папского и Рима барокко Бейль сумел дать живую итальянскую душу, дышащую и творящую в этих трех столицах.

Друзья Бейля, посмеиваясь, говорили, что в этой книге виден не только пламенный итальянский патриот, но и человек, умеющий дать наставления, как проехать без паспорта через границу, как обмануть бдительность папских и австрийских жандармов. Насмешливые, веселые страницы книги настолько напугали австрийскую полицию, что она начала разыскивать автора, но нигде никакого Стендаля не нашла. Она обнаружила только, что это странствующий барон, выехавший из Италии, очевидно, под другой фамилией. Ответа на запрос, кто такой барон Стендаль, от издательства австрийская полиция не получила. Это была первая полицейская пометка на жизненном паспорте Анри Бейля.

В этом же 1817 году произошло событие, радикально изменившее весь строй жизни, все поведение Бейля.

В Милане проживала Метильда Висконтини, молодая женщина, вышедшая замуж за польского офицера Дембовского. Адьютант командующего войсками и начальник штаба итальянской дивизии в 1810 году, а затем бригадный генерал в армии принца Евгения, Дембовский рано ушел из жизни. Метильда Висконтини принимала у себя лучших людей Милана. Одним из ее друзей был Конфалоньери. Женщина острого и тонкого ума, прекрасно образованная, она обладала той высшей формой ломбардской красоты, которая больше всего пленяла Анри Бейля в Италии. Он сравнивал голову Висконтини с ломбардскими рисунками Леонардо да Винчи, с теми женщинами, которые волнующими улыбками, поворотами головы и выражением полураскрытых глаз одинаково пленяют и в мадоннах Леонардо да Винчи, и в Иродиаде Бернардо Луини, и в богематери Чезаре да Сесто, и в Монне-Лизе Джоконде его учителя.

Бейль, который прикидывался всю жизнь легкомысленным человеком, ловеласом, беспардонным жуиром типа старинного руэ<sup>[59]</sup>, вдруг был сражен простым и неожиданным для него самого человеческим чувством. Он спустя четыре года посвятил ему большой трактат «О любви», стремясь по способу материалистов XVIII века и аналитиков-сенсуалистов Англии

избавиться от субъективных ощущений путем превращения самого себя в объект научного исследования. Едва ли не с первых дней увлечения Метильдой Висконтини Бейль начал писать дневник, состоящий не из перечисления личных страданий, а из серьезных и больших исторических и критических размышлений на тему о любви как душевном состоянии. Он дал впервые анализ чувства любви, в котором благородная сдержанность сочеталась с глубокой серьезностью исторического и психологического исследователя.

Дом на площади Бельджойозо становится все чаще и чаще местом пребывания Бейля. Вот он, затерянный среди тридцати гостей, одиноко сидит в углу, как нахохлившаяся после дождя птица. Куда девались его развязность, бешеная острота языка, грубый хохот и умение всегда по-новому повернуть беседу большого числа слушателей!

Неподалеку стоит граф Порро, рассказывающий новости графу Федерико Конфалоньери. Конфалонье ри на семь лет моложе Бейля, бледный и смуглый, с яркими голубыми глазами, в которых сочетались огонь и лед, с быстрыми, резкими движениями, с огненной энергией, с насмешливой улыбкой на губах.

Конфалоньери рассказывает о последнем приключении Уго Фосколо. Бейль знает, что в 1799 году, еще не читая гетевского «Вертера», рыжеволосый красавец, венецианский лев Уго Фосколо выпустил книгу «Последние письма Джакомо Ортиса». Бейль знает, что эта книга начинается датой 11 октября 1797 года. Фосколо цитирует дантовское «Чистилище»:

Он ищет свободу — бесценный дар,  
Известный лишь тем, кто ему отдает свою жизнь.

Бейлю памятни и начальные строчки:

«Судьба наша почти совершилась. Все потеряно, и сама жизнь, если нам ее даруют, уйдет на оплакивание наших горестных бедствий и нашего постыдного бытия. Моя семья попала в список гонимых. Я это знаю. Но неужели ты желаешь, чтобы я, спасаясь от своих гонителей, отдался в руки предателей? Утешь мою мать. Побужденный ее слезами, я послушался ее: я бежал из Венеции, чтобы ускользнуть от начала преследования, которое всегда бывает страшнее продолжения. В довершение всех несчастий мы, итальянцы, омываем руки в крови Италии».

Конфалоньери называет Уго Фосколо «итальянским Маратом». Бейль

думает: «О, как это верно!» Сын гречанки и венецианца, рожденный в 1778 году на острове Занте, самом цветущем из островов Ионического моря, великий мастер стиха, один из образованнейших людей Италии, — вот он в изгнании, скитается из города в город, вот он пишет прокламации против Наполеона, за которые Бонапарт объявляет его вне закона и оценивает его голову в двадцать пять тысяч золотых. И теперь по-прежнему «величайший гражданин Милана» скитается, спасаясь от австрийских жандармов. Вот он, без обуви, в разодранной одежде, пользуясь огромным стечением миланской молодежи в парке у колодца, появляется неожиданно из акведука и с неслыханной силой произносит политическую речь. Молодая карьеристская сволочь, миланские семинаристы окружают его. Фосколо продолжает речь. Глаза его горят. Четыре дня питался он листвою и пил ключевую воду, однако речь его дышит неимоверным напряжением честной политической мысли. Но, зажав два пальца в рот, семинаристы уже свистят. В аллеи миланского парка вбегают, размахивая петушиными перьями, жандармы в треуголках. Фосколо, весело выхватывая из-за пояса два пистолета, стреляет в них и с криком «Да здравствует Италия!» бежит по аллеям, швырнув разряженный пистолет в лицо подбежавшему жандарму. Кто-то из-за кустов протягивает ему карабин. Фосколо сбивает пулей треуголку с жандарма. Дерево окружают, но стреляющий исчез. Разряженный карабин лежит на куче листьев. Все поиски оказываются тщетными: ни под деревом, ни на ветках нет беглеца.

Если мы прочитаем новеллу Стендаля «Ванина Ванини», то мы в образе Миссирилли узнаем Фосколо; и если мы читаем «Пармскую обитель», то в образе Ферранте Палла узнаем человека, умеющего скрываться в дуплах деревьев и в колодцах, закрытых листвою. Миссирилли свою любовь приносит в жертву общественному долгу. Он отказывается от связи с женщиной света, красивой и знатной, ради того, чтобы влачить тяжкие дни подпольщика.

...Бейль из своего угла в гостиной Метильды Висконтини наблюдает, как бледностью покрываются ее щеки, белеют губы и гаснут глаза. Слушая рассказ Конфалоньери о побеге Фосколо от жандармов, она осторожно берется за ручку двери, чтобы не упасть. Бейль уходит из гостиной тихо и незаметно, подавляя в себе бурю ревнивых чувств. Он вспоминает: она рассказала однажды, как во время представления драмы «Ричьярди» из средневековой истории Италии вошел австрийский полицмейстер и, прервав монолог актера, запретил пьесу Фосколо. Он вспоминает: проезжая по пыльной дороге к северу от озер, Бейль увидел карету; а ней молодая женщина в большой шляпе с развевающейся вуалью и рядом —

рыжеволосый курчавый гигант с орлиными глазами. Бейль только теперь понял, что это были Метильда и Фосколо.

Как можно вынести такую тяжелую трагедию сердца? Однако Бейль выносит. Часто задает себе вопрос: карбонаризм сблизил Метильду и Уго Фосколо или под влиянием Уго Фосколо эта женщина сделалась карбонаркой?

Стремясь рассеяться, г-н Бомбэ, или, как он заново переделывает свой псевдоним, г-н Джеферсон, посещает театр и балет. Со спутником по московскому походу Бюшем он в письмах делится своими театральными впечатлениями<sup>[60]</sup>.

Все чаще и чаще появляются письма г-на Дюрана, Джеферсона, Торичелли, Тавистока из разных городов Северной Италии. Если по карте проследить путешествия Бейля в этот период, то они поражают странной разбросанностью: маленькие, ничтожные деревеньки, села, остерии на больших дорогах, трактиры на перекрестках, наконец Турин и другие большие города. Отсюда идут письма в Париж от имени инженера Доменико Висмара или просто Диманш, то есть «воскресенье», по-итальянски «доменика». Если наивный историк литературы захочет искать в этих письмах прямых выражений симпатий к террористическому периоду французской революции или исповеди о карбонарских связях Бейля, то он будет горько разочарован. Письма больше чем когда-либо поражают легкомыслием и беспечностью. Большинство из них адресовано барону Адольфу де Маресту, о котором сам Бейль пишет: «родился не то в 1782, не то в 1785 году». Бейль называет его в своих записках систематически «Люсенжем». Этот во многих отношениях интересный человек, офицер Южного легиона, двоюродный брат г-на Аргу, многократного министра многих министерств Реставрации, был генеральным секретарем префектуры Дижона. Бейль очень часто вместо «Люсенжа» называет его «Безансоном». «Безансон» фигурирует в качестве секретаря паспортного бюро при Парижской префектуре.

Остробородый маленький человек с землистым лицом и подслеповатыми глазами, озлобленный и циничный, он всех пугал и отталкивал, и один только Бейль нашел в нем родственные черты. Их отношения отличались неизменной едкостью, грубостью обращения и постоянной, ничем не омрачаемой дружбой. У них была общая любовница — Альбертина Рюбампре, так называемая «г-жа Лазурь», героиня целого ряда писем Проспера Мериме. Бейль не был смущен и тем, что барон де Марест женился на этой женщине, в которой «была хотя бы та хорошая

черта, что она нисколько не похожа на куклу». В гостинной этой дамы получил окончательную шлифовку и цинизм Проспера Мериме.

Кажется совершенно непонятным, что в период увлечения Метильдой Висконтини Бейль не нашел никого другого, кроме Мареста, в качестве адресата для переписки. И вот тут нам могут оказать помощь только одни соображения — соображения политические. Симпатии барона Адольфа де Мареста, уроженца города Гренобля, шли вразрез с политикой Франции относительно Италии. Г-н де Марест в делах французской политики был довольно беспринципным человеком, но все его родственники и он сам обладали, по выражению Бейля, чисто пьемонтской желчью.

Ромен Коломб просто и бесхитростно заявляет, что в Милане жизнь Бейля сводилась к «*dolce far niente*» — «сладко ничего не делать». Но в это время барон Марест получал письмо за письмом о деятельности некоей «капральской трубки», обожженной табаком, о том, что инженер Доменико Висмара пролагает новые пути из Турина в северную Ломбардию. С каждым днем переписка Бейля с Марестом становится все более и более интересной. В ней нет политических высказываний, но вся она окрашена тем взволнованным и в то же время успокоенным настроением, которое свойственно только людям большого целеустремленного труда и ежедневного практического опыта.

Для нас совершенно несомненно, что проникновение в секреты итальянского освободительного движения сделало с Бейлем именно то, что он считал уделом французов эпохи революции: «Революция придала нравам естественность, умам и характерам серьезность». И письма, проникнутые ощущением музыки, живописи, итальянского солнца, письма, испещренные пометками о прочитанных книгах, все до единого являются письмами об итальянской свободе, о характере живого итальянского народа, разбивающего свои вековые цепи, о прекрасных итальянских городах, которые не нынче-завтра прогонят угнетателей. Подписи: «Тависток», «братья Робер», «семейство Фудж», «Ш. Дюриф», «Шарье», «Котоне», «Карре», «Дюпной», но чаще всего «Висмара».

Г-н Доменико Висмара перевозит какие-то письма, встречается с неведомыми людьми, делает никому не понятную, странную работу. А в это время в Париже, да и в Италии, появляются люди, именующие себя фамилиями, которые, по существу, обозначают дни недели: с «Понедельника» до «Субботы» формируется шестерка людей; их возглавляет «Воскресенье». Четыре «Воскресенья» имеют для себя начальником «Месяц». Части года имеют свои особые названия. И, наконец, возглавляет эти триста шестьдесят пять «дней» года карбонарский

венерабль, у которого во власти имеются двенадцать «месяцев» — двенадцать людей и времена года: «зима», «осень», «лето» и «весна». Такова была итальянская конспирация карбонариев.

Вот почему Бейль именует себя «Доменико» — «Воскресенье». И в то время как Доменико Висмара пишет в Париж г-ну барону де Маресту и другим письма о политическом состоянии Италии, австрийская полиция дает распоряжение о розыске г-на барона Стендаля, инженера Доменико Висмара. Гражданин Бейль на досуге пьет оранжады в миланском театре и целые вечера просиживает в салоне Метильды Висконтини, издали смотря на нее влюбленными глазами.

Узнав о том, что овдовела сестра Полина, Бейль выехал во Францию, где прожил с 9 апреля по 5 мая 1818 года. В Гренобле он выступил в суде в защиту имущественных прав овдовевшей сестры.

Никогда он не возвращался в Милан с такой торопливостью, как на этот раз. Уезжая на север, он не считал себя миланским пленником, но, увы, он едва мог перенести день разлуки с Миланом. В пути он сделал самое большое количество записей. Он любил писать под впечатлением ярким и острым, зная, что только записи и аналитические заметки спасали его от боли. Однако возвращение в Милан не принесло радости. Бейль увидел все признаки холодной настороженности и резкой перемены в друзьях. Многие из тех, кто раньше на улице дарил его улыбкой незнакомца, узнающего его в лицо, теперь переходили на другую сторону при встрече с ним. Люди, к которым он приходил как к родным, внезапно сказывались отсутствующими, хотя по всем признакам Бейль догадывался, что они были дома.

В таком мучительном и растерянном состоянии прошла неделя. Не у кого было выяснить причину, потому что никто не соглашался пробыть даже нескольких минут наедине с этим французом, неизвестно почему проживающим в Италии и только что вернувшимся из Франции. Разговоры мгновенно пресекались, как только он входил. Наконец Бейлю стало ясно. Друзья заподозрили его, члена карбонарской организации, в принадлежности к французской тайной полиции!

Не сохранилось документов, которые рисуют положение Бейля в этот трудный период<sup>[61]</sup>. Но переписка показывает, что сама австрийская полиция позаботилась о том, чтобы посеять эту молву среди карбонарских друзей Бейля и тем самым обезвредить опасного француза. Ему удалось устранить эти нелепые подозрения.

Бейль все чаще и чаще ловил себя на новой странности: ранее ему незнакомое инстинктивное безволие порой совершенно несвоевременно

влекло его на площадь Бельджойозо, словно ноги сами шли к тому дому, где во втором этаже он видел долго не гаснущий свет и сквозь занавески — темный силуэт проходящего по комнате горячо любимого человека.

Более чем когда-либо ревность посещает Бейля при мысли о том, что Уго Фосколо издал свои «Последние письма Джакомо Ортиса» на средства маркизов Траверси, родственников Метильды.

И вот, наконец, наступил печальный день. Метильда Висконтини говорит:

— Я знаю, что вы меня любите. Я думала об этом все время. Я знаю также, что нет человека более мне преданного из всех самых умных людей, приходящих в эту маленькую гостиную. Но я слишком много сил потратила на людей. Я не хочу новых разочарований. Я не могу бороться с обществом. Вы будете приходить не чаще двух раз в месяц, если хотите видеть меня одну, не вызывая никаких толков, требующих от меня объяснений.

— Не могу ли я писать вам?

— Да, если письма будут благоразумны. Но помните: одно неосторожное слово — и два раза в месяц превратятся в раз в два года...

Бейль капитулировал. Он писал к ней:

(май 1819 г.)

«Сударыня!

Ах, как тягостно легло на мои плечи то время, которое прошло с Вашего отъезда! А между тем протекло всего пять с половиной часов. Что же должен я сделать с собою в течение целых сорока последующих убийственных дней? Неужели я вынужден буду расстаться со всеми надеждами, уехать отсюда и поступить на службу? Но я страшусь, что у меня не хватит мужества миновать путь на Мон Сени. Нет, никогда я не соглашусь воздвигнуть альпийскую преграду между собою и Вами. Могу ли я надеяться на ту силу любви, которая должна воскресить жизнь Вашего сердца, не умершего для страсти? Но возможно, что я стал вам смешон: в Ваших глазах моя застенчивость и моя молчаливость должны были сделать меня скучным, и Вы рассматриваете мое появление у Вас всякий раз как какую-то нелепость? Я ненавижу самого себя: о, если бы я не оказался последним из людей, я обязан был бы иметь решительное объяснение с Вами еще вчера перед Вашим отъездом и тогда я знал бы по крайней мере, какой путь мне избрать!

Но когда вы тоном такой подчеркнутой искренности глубоко протянули голосом слова: «Ах, как хорошо, что уже полночь!», не должен ли я был понять, что Вы с удовольствием видите меня брошенным в

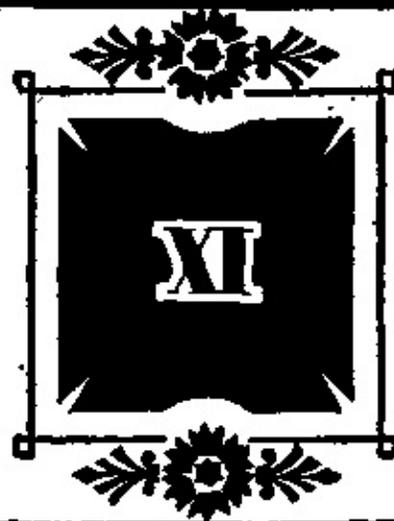
объятия превратностей судьбы и самого себя клянущим за то, что лишился чести увидеть Вас когда-либо! Но знаете ли Вы, что вдали от Вас всегда крепче растет во мне мужественная надежда сердца. В Вашем присутствии я боязливее ребенка, слова застывают у меня на губах; и я умею в такие мгновения только глядеть на Вас и только обожать Вас. Нужно ли было все-таки доводить меня до того, чтобы я так ушел в себя и допустил бы себя до такого обезличения перед Вами?»

Благоразумные и неблагоразумные письма Анри Бейля, сохранившиеся в черновиках и набросках, не раскрывают нам всей системы сложных отношений и чувств этого человека. Не пытаюсь пока расшифровать эти письма, в которых восхваление французских подвигов в России чередуется с весьма странными и малопонятными намеками на то, что инженер Висмара, известный по переписке Метильде Дембовской, по существу, обладает чисто французским лицом, мы должны сказать, что Бейль не сдержался в письмах и 30 июня 1819 года закончил свое письмо такими словами:

«Я надеюсь, сударыня, что из всего текста моего письма Вы можете вычитать то чувство к Вам со стороны пишущего, которое называется любовью».

## ГЛАВА XI

### Г Л А В А



Гражданин Бейль скитается по городам Северной Италии. Вот перед ним Наварра, снова Милан. Из Милана — в Комо, оттуда в Тревизо и Брешию. Вот перед ним Бергамо — и снова Милан. Вот перед ним Пьяченца и Кремона — и снова Милан. Вот перед ним Вогере и Павия — и снова Милан. И, наконец, Парма, а из Пармы через Гвасталлу, Модену, под чужим именем, переодетый старухой, Бейль переправляется через речки, проходит до Бастиджино, оттуда — до Кревальеры, а из Кревальеры — пешком по лесу мимо когда-то знакомой Кастиль-Франко. И вот, наконец, стены людной, великолепной Болоньи, где веселье считается самым серьезным делом, за которое можно отдать решительно все<sup>[62]</sup>.

В этом городе друзья приглашают его послушать бродячего скрипача-чудодея, бывшего каторжника, походка которого выдает многолетнее сидение на галерах. Это сын генуэзского спекулянта Николо Паганини<sup>[63]</sup>. Он выходит на эстраду, берет смычок, и кажется, что кенкеты и люстры со спермацетовыми свечами меркнут от невероятной ярости звуков. Паганини играет свои «Каприччио», доводя слушателей до состояния, близкого к безумию. Бейль — тот испытывает состояние, выходящее за пределы

собственного контроля. И когда тяжеловесный, громадный Паганини в три погибели гнется перед воспламененной публикой, Бейль уходит из концертного зала.

Болонские друзья сопровождают его, рассказывая анекдоты из жизни этого чудовищного скрипача, произведения которого называют «Пляской ведьм», а самого его — «южным колдуном». А затем предлагают Бейлю переселиться в Болонью и начать новую, не похожую на Милан жизнь. Один из них — фамилию его Бейль так и не запомнил — спрашивает, какой остаток капиталов, накопленных в Сен-Клу, может Бейль предложить вновь организованному Болонскому банку. Другой говорит, что нечего сидеть в Милане, надо переезжать в Болонью и пользоваться счастливым временем, когда обменные курсы стоят очень высоко. Бейль начинает совершенно серьезно подумывать о том, чтобы сделаться заурядным болонским дисконтером, стричь купоны, жить в этом городе без всяких сердечных тревог, без ненужных волнений и напряжения нервов. И с этой мыслью он засыпает. Биографу, конечно, неизвестно, видел ли он во сне себя приказчиком миланского бакалейного магазина, снилось ли ему что-либо похожее на состояние, предшествующее историческим испытаниям 1812 года. Но для нас, смотрящих на Анри Бейля со стороны, ясной становится эта аналогия двух периодов его жизни.

Проснувшись на другой день после концерта Паганини, он получил чрезвычайно удивившее его известие: «В последних числах июня 1819 года господин Шерубен Бейль отдал душу господу богу». Без единой слезы, но с некоторым смущением возвращается Анри Бейль с почты, доставившей ему это письмо «*Con la risposta pagasta*». Он расписывается в квитанции оплаченного ответа гренобльской палаты и уезжает в Милан.

Он долго стоит на площади Бельджойозо, не решаясь войти. После прямого объяснения в любви и неблагоразумия в письмах он несколько раз пытался снова проникнуть в дом на площади Бельджойозо. Каждый раз ему говорили, что никого нет. Ставни и занавески действительно указывали на необитаемость дома. Бейль приходит рано утром, когда еще весь Милан спит. С завистью думает он о том, что слуги имеют возможность целый день видеть Метильду Висконтини. Как бы он был счастлив, если бы судьба бросила его в качестве повара в этот замечательный дом, самый счастливый дом на земном шаре! Это было бы в тысячу раз лучше, чем писать никому не нужные книги. Овощные торговки и молочницы появляются на улицах. Мальчишки, продающие холодную воду, смуглые, загорелые, стреляя огненными глазами по сторонам, с громким пением проходят мимо. Бейль все еще дежурит, пока на его счастье не появляется

Лодовико, кучер графини Метильды. Бейль неосторожно сует ему золотые монеты, Лодовико, как обожженный, отдергивает руку со словами, что если синьору угодно что спросить, то все, что совесть позволит, будет сказано. Совесть позволяет Лодовико сообщить, что синьора Метильда с детьми выехала в город Вольтерру.

И вот Милан кажется опустошенным. Солнце светит иначе. Деревья, словно увядшие и лишенные зелени, не радуют глаз, как это было вчера. То, ради чего стоило жить и дышать г-ну Бейлю в этом дивном городе, исчезло. Цветники увяли, фонтаны перестали журчать и петь. Картинная галерея Брера перестала привлекать. Кастелло Сфорцеска, в которой на потолке Леонардо да Винчи изобразил родословное дерево герцогов Сфорца, вдруг показалось грубым и никому не нужным зданием. Ноги, словно наполненные свинцом, отказываются повиноваться.

Итак, Милан пуст. Предстоит дорога на север. Миланский гражданин Арриго Бейль, минуя все преграды, с легким баулом в руках перешел Страделлу и достиг Вольтерры — одного из самых высоких мест южной Тосканы<sup>[64]</sup>.

Старинный город на вершине каменистого холма, окруженный циклопическими стенами, созданием легендарных этрусков, и фортификационными сооружениями средневековья, залит горячими лучами солнца. Вокруг города расстилается мирный деревенский ландшафт: пашни желтеют яркими пятнами среди серебряной зелени оливковых деревьев и золотисто-зеленых виноградников. Старинная крепость противоречит мирному деревенскому пейзажу. Пологие зеленые склоны, дымчатые леса на горизонте — все дышит миром вокруг одинокого коричневого холма, и мир входит в душу, как только путник вступает на городские улицы. Невысокие каменные дома, покрытые черепицей, старинные улицы, в которых едва могут разойтись нагруженные ослики, площади, позолоченные тосканским солнцем, — все полно ленью и спокойствием. Желая быть незамеченным, Бейль воспользовался тем, что была пятница — базарный день, и, затерявшись в крестьянской толпе, прошел на городскую площадь. На каменных плитах около храма сидели старухи, вязали чулки и штопали белье; веревки, протянутые из дома в дом, были увешаны стираным тряпьем; дети играли на улице, перегораживая ее: путнику приходилось сворачивать в переулок; железные фонари с острыми концами торчали по углам зданий так, что в темноте фонарь мог ранить прохожего.

Высокие крестьяне в черных широкополых шляпах, в пестрых куртках из цветной материи, доходящих до пояса, с орлиными глазами, горбоносые, чернобровые, легкие и быстрые в движениях, наполняли площадь перед

собором скрипом огромных сплошных колес, горячей бранью и резким говором. В свободных, смелых движениях жителей Тосканского плоскогорья были воинственная величавость и властная простота старинных поколений воинов, населявших эти горы.

Миновав площадь, Бейль направился к дому коллегии, в которой воспитывались двое сыновей Висконтини. Он предусмотрительно запасся роговыми очками, рединготом оливкового цвета, новой тростью и зеленым цилиндром. В таком виде, привлекая внимание скупающих горожан, он шел по тихим маленьким улицам Вольтерры. Верхние этажи домов в североитальянских городах почти соприкасаются. Когда Бейль проходил, жалюзи открывались, любопытные взоры устремлялись на него с балконов, откровенные вопросы бросались ему вслед, и когда он достиг ворот, все улицы Вольтерры уже знали о прибытии иностранца.

Хуже всего то, что при выходе из города он встретил Метильду. Прислуга неслла зонт, два мальчика, оживленно разговаривая, шли впереди по мостовой.

Увы! Он был немедленно узнан. Она сама подошла к нему и сказала твердо:

— Вы хотите прослыть моим любовником? Это низко. Сейчас же уезжайте во Флоренцию, поселяйтесь на Виа-Фосси у Николини. Не возвращайтесь в Милан, пока я вам не разрешу.

Она не позволила вымолвить ему ни слова. Один из мальчиков, оглядываясь на уходящего Бейля, произнес:

— Мама, он вовсе не похож на нищего, а должно быть, хотел что-то попросить.

Бейль в этом приказании все же увидел, что «его жизнью распоряжаются как своей».

С 10 августа по 14 сентября 1819 года Бейль в Гренобле. Сентябрь и октябрь он живет в Париже, с ужасом наблюдая Францию Реставрации, белый террор, разгул католической реакции. Острые, едкие, бичующие фразы появляются в его письмах друзьям.

Никогда, кажется, не тосковал он так по своему миланскому жилищу, как в этот год беспрестанных потерь и непрерывных поездок. Ему казалось, что жизнь проходит в дилижансе от одного постоялого двора до другого. Он так привык видеть утреннюю зарю сквозь шторы почтовой кареты, так привык к тряским дорогам Франции и Италии, что эти постоянные переезды сделались как бы выражением его мятущегося сердца. Вся жизнь превращалась в какую-то длинную дорогу.

Но эта дорога должна была иметь определенную цель, и ею

становилась Италия, как рисовалась она живому и яркому воображению карбонария: страна свободная, объединенная в могучем порыве народной энергии, строящая новую, небывало прекрасную жизнь. И в этой стране есть чудный город с мраморным гигантом, испещренным узорами каменных кружев. В этой стране есть город, в котором лучшие живописцы мира оставили свои картины. В этой стране есть город с изумительным по грандиозности и по красоте зрительным залом, в котором раздаются звуки чудеснейших оркестров мира, способные дать человеку неповторимые, небывалые минуты счастья. В этом театре раздаются лучшие голоса мира, поют лучшие артисты. И в этом городе живет прекрасная женщина, которой отдано навеки и бесповоротно это сердце, считавшее себя легкомысленным.

С такими мыслями, высчитывая удары сильно бьющегося сердца по циферблату тихо звенящего брегета, человек в сером дорожном сюртуке и замшевых перчатках, с маленькой кожаной книжкой в руках узнает каждый кустик, каждое дерево магнолии, растущее на поворотах дороги к Милану. И вот, после проверки паспортов, после регистрации в Мессажере, уже обыкновенный веттурино.

Услужливо погрузили маленький ручной багаж в коляску — снова удары копыт по старым миланским плитам и знакомые дома. Сопротивление кучера, не желающего понять, что некоторые окольные дороги ближе прямых. Почему необходимо непременно с Мессажер ехать в Каза-Ачерби таким длинным круговым путем через площадь Бельджойозо? Бейль настаивает, кучер пожимает плечами и проделывает нелепый путь по городу.

Окна открыты, ветер колышет занавески, все на месте; недостает только звуков музыки, льющейся из окон, чтобы окончательно возликовало сердце.

Бейль принят как никогда хорошо. Но странная взволнованность, высокий тон речи и какая-то печать самозабвения и самоотречения лежит на хозяйке дома и удивляет Бейля. Он гораздо более внимателен, его взгляд гораздо пристальнее устремлен на Метильду, чем взгляды других людей и чем взгляд самой Метильды, обращенный на Бейля.

Речь идет о новых произведениях Байрона. Закончен «Чайльд-Гарольд», но появляется «Ода к Венеции» и печатается странная поэма «Дон-Жуан». Речь идет о том, что она уже выдержала шесть изданий в течение года. Очевидно, есть люди, которым нравятся эти жесткие, сухие искры, падающие на них из вулкана, именуемого лордом-карбонарием. Та теплота, с которой говорят о Байроне, показывает, что его считают более

чем своим. Сделаться для итальянских карбонариев родным — это трудная, почти невыполнимая задача. Английский лорд решил ее гораздо скорее, чем сын французского нотариуса, путешествующий по Италии, беспечально, эпикурейски настроенный и немного легкомысленный, с точки зрения суровых итальянских «рыцарей свободы».

Любовь самого Бейля к Байрону возрастала с каждым днем по мере вестей, получавшихся из тех городов, где он имел еще право жить. Но с каждым днем полоса земли, отведенная опальному лорду, становилась все уже и уже.

Байрон заключил политический и любовный союз с Терезой Гвиччиоли. Ее отец, старый синьор Гамба, и ее брат, молодой Пьетро, — люди, закаленные в политической борьбе. Выданная в молодости за романьольского старика в силу старинных матримониальных соображений, навязанных предками, Тереза — хрупкое существо, приносимое в жертву тем традициям, с которыми борется итальянская молодежь. И она развелась с мужем. Но по правилам католической церкви она должна после развода жить только в доме отца. И Тереза Гамба последовала за своим старым отцом, которого полиция высылала из города в город. Байрон сопровождал семью Гамба, разделяя все волнения готовящейся в Италии гражданской войны. Из почетного гостя у народа, говорящего на одном языке, но разделенного на тридцать государств, Байрон превращался в родного сына нации, решившей стать на путь самоосвобождения.

Давно собиравшаяся гроза разразилась, наконец, над Европой.

1 января 1820 года в Испании полковник Квируга и командир батальона Риго подняли своих солдат и повели их сражаться за народное представительство. В распоряжении революционных командиров было всего лишь полторы тысячи солдат. С этим маленьким войском в течение шести недель Риго и Квируга проделали свыше шестисот километров; широко поведя политическую агитацию за свержение Бурбонов, они в короткий срок привлекли на свою сторону население Испании. 23 февраля к ним присоединились Эспиноса и Лопес Баньос.

7 марта восстал Мадрид. Тюрьмы были открыты. Инквизиция уничтожена, церковные суды закрыты. Была провозглашена свобода печати. А через два дня король Фердинанд присягнул на верность конституции, призывая громы небесные и гнев господень на свою голову, если он вздумает когда-либо изменить революционному народу. За Испанией — Португалия, из которой королевская семья бежала в Бразилию еще в годы владычества Наполеона. Английский посол Бересфорд фактически был правителем Португалии.

И 24 августа 1820 года вспыхнула революция, возглавляемая карбонарским полковником Сепульведой. Об этих событиях в Милане говорили шепотом. Не было газет, которые печатали бы такие известия, а правительственный гелиограф не трудился сообщать населению Италии происшествия в окружающих ее странах.

В письме от 23 июля 1820 года Бейль рассказывает о посеянных полицией подозрениях, которые вторично нарушили доверие к нему карбонарских друзей: «Это самый страшный удар в моей жизни».

Однако и на этот раз репутация Бейля не пошатнулась, но итальянские друзья стали предупреждать его, что за ним следит австрийская полиция.

В те дни было ликование по поводу первых побед, ощущение счастья от наступающей политической весны, трепетное волнение: неизвестно, что принесет завтрашний день, но глаза горят, и пульс учащенно бьется.

И вот 2 июля 1820 года в маленьком городе Ноле неподалеку от Неаполя по приказу драгунского лейтенанта Морелли войска сбили замки казарменных ворот, захватили пушки и оружие и двинулись на Неаполь. Полковник Когилья и генерал Пепе присоединились к ним. Неаполитанский король Фердинанд временно отрекся от престола и назначил генерал-викарием королевства своего сына — герцога Калабрийского. Несмотря на то, что весь юг Италии кишмя кишел монахами, новый образ правления встретил симпатии населения. Только сицилийцы под начальством конного монаха Вавлики двинулись против революции. Эти события внушили самые смелые надежды северным революционерам. Но выступить они не могли, так как недостаточно рассчитывали на реальные силы, способные «выйти в поле». Соседи карбонарского Милана в Турине, узнав, что австрийскую армию генерала Фримона отправили на подавление неаполитанской революции и она находится в Тоскане, решили по приказу верховной карбонарской венты начать действия в тылу наступающих австрийцев. 10 марта 1821 года капитан генуэзского полка Пальма выступил в городе Александрия с провозглашением конституции по образцу испанской революционной хартии 1812 года, а на другой день поднялся Турин — главный город Пьемонта. Король Виктор-Эммануил I отрекся от престола в пользу своего брата. Но его брат пребывал в Модене, поэтому регентство, то есть временное правление, было поручено герцогу Кариньянскому — Карлу-Альберту.

Это был особый тип гамлетизированного принца XIX века: не довольствуясь охотой и любовницами из балета, Карл-Альберт прикидывался человеком интеллектуально изощренным, страдающим от

раздвоенности чувств. Он не знал, быть ли ему на стороне австрийских поработителей своей родины или на стороне мятежных карбонарских войск, свергнувших с престола его дядю.

И вот та ошибка, которую Байрон и Бейль отмечали в карбонаризме, совершилась впервые в Турине: карбонарии решили довериться Кариньянскому принцу Карлу-Альберту, которого потом сами же называли «кариньянской собакой».

Этот притворяющийся нерешительным принц-карбонарий взял в руки основные нити карбонарского движения Северной Италии и предал людей, которые доверились ему.

Напуганные революционной бурей, 20 октября 1820 года императоры русский и австрийский и король прусский съехались в город Троппау в австрийской Силезии, чтобы обсудить, как расправиться с вновь вспыхнувшей революцией. Не успел русский царь сесть за красное сукно дипломатического стола, как князь Васильчиков привез ему из Петербурга весть о волнениях в Семеновском полку. Князь Меттерних услышал слова от русского царя: «Это какая-то болезнь. Нужно лекарство». И три коронованных человека решили: «Соблюдать полное единодушие с целью добрым посредничеством и в случае надобности силой предупредить новые беды, нависающие над европейскими государствами».

Из Троппау король и императоры отправились в Лайбах для продолжения международного контрреволюционного конгресса.

Байрон был взбешен, узнав о заявлении представителя Великобритании в Троппау о том, что он умывает руки в той крови, которая прольется при подавлении итальянского освободительного движения иноземным оружием: «Великобритания не считает целесообразным это вмешательство, хотя и не окажет ему никакого препятствия...»

Неаполитанский король Фердинанд, как и испанский монарх, присягнул на верность конституции своему народу:

«Да поразит всемогущий господь ту дерзновенную главу и да отсечет ее по самые плечи, ежели в этой голове — будь то венценосная голова короля — появятся мысли, намерения, противные моей нынешней присяге».

8 января 1821 года неаполитанский король отправился в Лайбах якобы с докладом о том, что он помирился со своим народом и признал конституцию. Роковая ошибка карбонариев состояла в том, что они выпустили этого короля за пределы Италии. Едва появившись в Лайбахе, Фердинанд коленапреклоненно просил двух императоров и короля оказать ему помощь. Он требовал расправы с мятежниками и, превратив в

забавный анекдот произнесенные им слова присяги, получил в свое распоряжение генерала Фримона и пятьдесят две тысячи австрийских штыков.

Карбонарский генерал Пепе, тот самый, который держал в плену Фердинанда, выступил против австрийских войск и был разбит в битве при Риети.

Конституция была уничтожена. Австрийцы вступили в Неаполь 23 марта 1821 года и на три года заняли город. Карбонариев постигла судьба Риего, испанского героя. Вожди были повешены.

Генерал Бубна и шестнадцать тысяч австрийцев 10 апреля взяли с помощью Кариньянского принца Турин. Австрийский военный суд, заседавший в Венеции, прибыл в Милан. Началась расправа, жесточайшая из всех бывших в Италии на протяжении ее многострадальной истории. Правительственный гелиограф принимал и передавал шифрованные донесения. Солнечный свет, передававший знаки из Вены на кровлю «Санта Маргарита»<sup>[65]</sup>, иногда закрывал солнечный свет для сотен людей, арестованных по депеше: их отправляли в суровый, мрачный замок Шпильберг в Моравских горах, уединенно возвышающийся, как черная громада. Путники старались объехать даже тропинку, с которой открываются далекие очертания темного призрака. «Шпильберг» было страшное слово, которым пугали отцов и матерей священники-исповедники, требуя выдачи не только собственных прегрешений и мыслей, но полной искренности в рассказе о поведении и образе мыслей братьев, сыновей, мужей и отцов, соседей, друзей и врагов. Священника, принимавшего эти исповеди, охотно принимали после одиннадцати часов ночи с углового крыльца «Санта Маргарита». Его вводили по темной лестнице, накинув капюшон на голову, к отцу Павловичу, который был главным шпионом иезуитов, ставленником Меттерниха. А над ним этажом выше сидел горбоносый итальянец Сальвоти «с благородной осанкой, с благожелательным, ясным и честным взглядом», как описывают его пострадавшие. Это был инквизитор и старший полицейский шпион австрийского императора.

Если бы Анри Бейлю было известно, что с февраля 1820 года каждое его письмо попадало в копии к господину Сальвоти, он наверняка перестал бы смеяться и его мечты о будущей жизни рука об руку с Метильдой Висконтини потеряли бы всю свою счастливую окраску. Он понял бы, что каждый его шаг по итальянским мостовым, по маленьким и большим городам Ломбардии рассматривается как дерзость человека, с неуважением относящегося к власти его апостолического величества императора

Австрии, истинного владельца Милана. Если бы Бейль знал, что кельнер, подающий ему утром чашку кофе и бриошь, подробнейшим образом осведомлен обо всем его предшествующем маршруте и дает полиции указание точно по минутам и секундам, когда господин Бейль вышел из ресторана, то он не делал бы целого ряда неосторожных шагов. Но он их сделал.

Его постоянное пребывание у Конфалоньери, его встречи с друзьями Метильды Висконтини и, наконец, сличение почерков многочисленных французов, пишущих в Париж под разными именами, — все это привело к тому, что однажды он был вызван в «Санта Маргарита». Допрошенный секретарем барона Биндера, племянником графа Бубна, Бейль должен был не на шутку испугаться, когда ему объявили, что в течение девятнадцати дней он объехал тридцать городов и сел. Никакие ссылки на подагру, на необходимость путешествовать и менять места не подействовали на упрямого жандарма — он просто пододвинул Бейлю трафаретное обязательство в двадцать четыре часа покинуть владение его апостолического величества и никогда не появляться на территории Австрийской Италии<sup>[66]</sup>.

Когда бледный Бейль трясущимися руками подписал это обязательство, жандармский чиновник, зевнув, не глядя на него, спросил, не знает ли он местонахождения этого наглеца и негодяя, барона Стендаля, автора книги «Рим, Неаполь и Флоренция», ибо в этой книге написано столько отвратительных характеристик австрийской власти, столько явно карбонарских утверждений сделано этим злосчастливым французом... Дабы не утомляться дальнейшим изложением, чиновник вынул печатный приказ за подписью князя Меттерниха:

«В случае нахождения господина барона Стендаля, автора книги «Рим, Неаполь и Флоренция», на территории Неаполя — повесить без суда и следствия, ибо преступление доказано и преступник подлежит уничтожению».

Бейль покачал головой и заявил:

— Нет, ни разу не встречался с этим человеком и даже не читал его книг.

— А кто такой Доменико Висмара, инженер из Турина, по нашим сведениям, приехавший из Милана?

— Понятия не имею, — заявил Бейль уже совершенно спокойным голосом.

— Желаю вам доброго пути, — милостиво сказал жандарм и отпустил праздничношатающегося француза Анри Бейля, еще раз напомнив, что он не

должен отсрочивать отъезд.

Бейль писал об этих днях много лет спустя в «Записках эгориста»: «Мне немалых усилий стоило удержаться не пустить себе пулю в лоб. Я рисовал пистолет на полях скверной любовной драмы, которую тогда стряпал... Мне кажется, покончить с собою помешал мне тогда интерес к политике; может быть, удерживал и бессознательный страх перед болью.

Словом, я простился с Метильдой.

— Когда вы вернетесь? — спросила она.

— Никогда, я надеюсь.

Это был последний час колебаний и пустых слов. Одно ее слово могло бы изменить дальнейшую мою жизнь — увы, ненадолго. Эта ангельская душа, таившаяся в теле столь прекрасном, ушла из жизни в 1825 году.

Я уехал в расположении духа, которое нетрудно себе представить, NN июня. Я приехал из Милана в Комо, опасаясь и почти веря каждую минуту, что вернусь с полдороги в Милан.

Этот город, пребывание в котором казалось мне смертью, я покидал с чувством, словно отняли у меня душу. Мне казалось, что я оставил там жизнь. И только ли жизнь? Что была жизнь по сравнению с нею, с Метильдой! С каждым шагом, удалявшим меня от нее, я готов был лишиться дыхания. Казалось, каждый глоток воздуха лишал меня жизни...

Затем наступило состояние полной тупости. Я вступил в разговор с кучерами, серьезно вторил их размышлениям о ценах на вино. Я обсуждал вместе с ними причины вздорожания вина на одно су. Страшнее всего мне было поглядеть на самого себя, внутрь самого себя. Я миновал Айроло, Беллинцону, Лугано (один звук этих имен заставляет меня вздрагивать нынче, 20 июня 1832 года).

Я доехал до ужасного в ту пору Сен-Готарда, переход через который я совершил верхом... Хотя я и старый кавалерист, всю жизнь кувыркавшийся, вылетая из седла, но мне в голову не раз приходила мысль скатиться вниз на острые камни.

Наконец проводник остановил меня, заявив, что если ему несколько не дорога моя жизнь, то я должен побережь его репутацию, ибо моя смерть несомненно причинит ему убыток».

Он ехал в июле, в ту пору, когда ломбардское солнце сжигает города, когда пустуют дома и все, кто может, с женами и детьми выезжают на северные озера.

Арестованные Конфалоньери, Марончелли, Сильвио Пеллико стали узниками Шпильберга. Сицилийские рудники, мантуанские колодцы, пиомбы-камеры под свинцовыми плитами на чердаке Дворца дождей в

Венеции — все было наполнено сотнями тысяч карбонариев. Папская власть, иезуитский орден и международная полиция Священного союза благословили дикие орды дорожных бандитов на формирование Союза кальдерариев. «Кальдерарий» — по-итальянски «котельщик». Против «Угля» выступил «Котел». «У нас для вашего угля есть чугунные котлы», — говорили на допросе священники и полицейские. И действительно, по спискам, составляемым в кабинете кардинала-легата, людей хватили на улицах и уничтожали. Никогда не пропадало без вести столько молодых, сильных итальянцев, как в 1821 году. Страна переживала состояние ужаса и отчаяния, а Бейль испытывал вторичное крушение на жизненном пути. В дороге он узнал о судьбе своих друзей, и седина, которую он заметил в Париже, взглянув на себя в зеркало в номере гостиницы «Брюссель» на улице Ришелье, была лишь слабым следом того горя, которое оцепенило этого живого и темпераментного человека.

## ГЛАВА XII



Смесь фабричного дыма и утреннего противного тумана отравляла нервы Бейля в Париже. Больше чем когда-либо он чувствовал, что ушел золотой сон ломбардской долины. Он был заброшен и одинок в этом громадном городе, где все было ново и страшно.

«Я вступил в Париж, показавшийся мне более чем безобразным, оскорбительным для моей скорби, с единственной мыслью: не дать догадаться о моей тайне...

Затем прошло несколько месяцев, от которых у меня ничего не осталось в памяти. Я осыпал письмами моих миланских друзей, чтобы получить оттуда косвенным путем хоть словечко насчет Метильды. Те, кто осуждал мою глупость, никогда не упоминали о ней».

«В 1821 году, в Париже, воскресенья были для меня в самом деле ужасны. Затерянный в тени громадных каштановых деревьев Тюильрийского сада, столь величественных в эту пору, я думал о Метильде...»

Бейль боялся старых встреч. Он не мог принудить себя пойти к Дарю.

«Тяжело было мне в 1821 году возобновлять отношения там, где меня

ласково принимали в бытность мою при дворе Наполеона. Я уклонялся, я откладывал без конца. Но так как надо было пожимать руки друзьям при встречах на улице, мое пребывание в Париже стало известно; жаловались на невнимание».

Бейль встречал в Милане черноволосого и высокого человека, гостившего у Конфалоньери. Это был Андриан, французский карбонарий, посланный в Италию для распространения политических взглядов Кая-Гракха Бабефа и его друга Буонаротти. «Заговор равных привез с собою Андриан в миланскую венту Конфалоньери. Андриан был арестован одним из первых. Бейль не знал о его аресте, но когда в Париже до него дошли вести о том, что установлена связь между карбонариями Франции и Италии, на сердце у него стало беспокойно.

«Однажды, выходя с заседания Палаты пэров, я встретил моего кузена, барона Марсиаля Дарю...

— Как, вы в Париже? Давно ли?

— Три дня.

— Приходите же завтра. Брат будет очень рад вас увидеть...

Как я ответил на столь любезное приглашение? Я отправился навестить этих славных родственников не раньше как через шесть или восемь лет».

Внезапно появился автор «Идеологии», Дестют де Траси<sup>[67]</sup>, тот самый, по проекту которого Конвент сформировал центральные областные школы. Он сам разыскал одинокую квартиру Бейля и пришел, чтобы поговорить с ним на тему об истории живописи в Италии.

С этих дней началось общение Бейля с семьей Траси.

В октябре 1821 года Бейль совершает второе путешествие в Лондон. Для этой поездки были тысячи поводов. Ехать надо было для того, чтобы отвлечься от французских впечатлений, подышать воздухом той страны, откуда вышел Байрон, чтобы увидеть на сцене Шекспира в исполнении гениального Кина.

«Трагизм, как я его понимаю, я нашел у Кина и обожаю его. Он до краев переполняет мое воображение и мое сердце».

В «Записках эготиста» содержатся подробные са-моразоблачающие анекдоты Бейля о пребывании в Лондоне: и приключение с капитаном Эдвардсом, и пьянство, и публичный дом где-то на окраине Лондона. Перед отъездом из столицы Великобритании — в утреннем дождливом тумане безнадежно тоскливое зрелище шести виселиц на пятиугольной мрачной площади. Бейль этой картиной заканчивает описание своих английских дней и подчеркивает свой отъезд вопреки приглашению коридорного из

меблированных комнат посмотреть увлекательное зрелище повешения шести воров. Концовкой главы об Англии служит сентенция:

«По-моему, когда в Англии вешают вора или убийцу, это значит, что аристократия приносит человека в жертву своей собственной безопасности, ибо ведь она сама же толкнула эту жертву на преступление. Истина, которая кажется теперь таким парадоксом, станет общепризнанным фактом к тому времени, когда моя болтовня найдет себе читателей».

Эти виселицы представляли собою только слабое проявление того жестокого гнета, от которого английский народ страдал не меньше, чем другие народы Европы в эти годы.

Бейль вернулся в Париж.

В учебных заведениях и в особенности в Политехнической школе, в Палате депутатов, в армейских корпусах, в управлении французских департаментов и даже в качестве подставных лиц среди агентов полиции — всюду были представители французского карбонаризма.

Еще в 1820 году ложа «Друзей истины» откололась от объединения масонов «Великий Восток» и реорганизовалась во французскую карбонаду. Эти карбонарии имели с народными массами еще менее связей, чем их итальянские сотоварищи, ряды их организации состояли из учащейся молодежи и бонапартистов-офицеров и солдат. В конце 1821 года и в начале 1822 они организовали несколько выступлений, которые все были быстро и жестоко подавлены.

Однако эти движения и заговоры показывали, что продолжают тлеть искры когда-то грандиозного пожара, что остался еще горючий материал, способный к революционным вспышкам.

Положение крестьянской бедноты ухудшалось с каждым годом, целые области Франции переживали одну голодовку за другой — сотни тысяч людей питались травой и древесной листвой, подмешанной в суррогаты' муки. Положение рабочих было не лучше. Как раз в годы Реставрации Франция переживала промышленную революцию. В промышленность бурно внедрялись машины, количество фабрик множилось, капиталисты вовлекали массами женщин и детей, — это усиливало эксплуатацию всего рабочего класса в целом. Рабочий день удлинялся, заработная плата падала: не было ни намека на минимальные ограничения особенно зверской эксплуатации, присущей периоду промышленного переворота. Во Франции возник и окончательно формировался новый класс — фабричный пролетариат. Рождение его в стране, измученной войнами, сопровождалось неслыханными муками. Великий народ Франции стонал, и его мучения и страдания ярко выразил замечательный памфлетист Поль-Луи Курье. Его

«Простые речи Поля-Луи Винодела из Шавоньера» смело и горячо обличали ужасы французской жизни. Именно в эти годы, начиная с 1821 года, Бейль тесно сошелся с Курье. Мы приводим лишь несколько строк, показывающих, что сближало трагически умершего основоположника памфлетного фельетона Курье с основоположником политического реального романа Стендалем.

Курье писал:

«Вот что случилось великим постом 25 марта в первом часу ночи. Все спали. Сорок человек жандармов вошли в маленький город и остановились в гостинице. Здесь они составили план действий и приняли все меры, собрали необходимые для них сведения и, как только начало светать, рассеялись по домам. Считаю не лишним заметить, милостивые государи, что Лю-инь составляет по величине половину пале-рояльского сада. Ужас распространился в этом маленьком городе. Одни бежали, другие прятались, иные, захваченные в постели, были оторваны от семей. Большинство без одежды бросилось на улицу, бежало за город и попадало в руки поджидавших их полицейских. Они были уведены. Их родственники и дети последовали бы за ними, если бы знали куда.

Во Франции, милостивые государи, слово «власть» имеет особое значение». Так пишет Курье в своей знаменитой «Петиции обеим палатам».

Бейль провел с автором памфлетов немало количество часов в очень тяжелый период жизни французского народа. И если мы перелистаем его трехтомную переписку, изданную Морисом Барресом в 1908 году у Шарля Босса, то мы можем найти немало прекрасных отзывов о Виньероне, Поле-Луи Курье, человеке стендалевского пошиба, воспитанном на писателях материалистах и атеистах, на путешествиях, дуэлях и ружейных выстрелах предшественников и современников Великой французской буржуазной революции.

До сих пор не выяснено участие Анри Бейля в памфлетной работе Курье. Но целые абзацы Курье мы встречаем в памфлетах Бейля, опубликованных и неопубликованных, а мысли Поля-Луи Курье зачастую полностью воспроизводят высказывания Бейля (см. например, в романе «Красное и черное», глава «Духовенство, леса, свобода»).

Падение Наполеона не сломило Бейля, но падение карбонаризма лишило его сил. Он должен был много работать над собою, чтобы снова войти в житейскую колею. У Бейля было представление о труде как функции здоровой воли. Он хорошо написал о самом себе: «Корабль жизни поддается всем ветрам и бурям, если не имеет трудового балласта». Он начал работать — работать лихорадочно и усиленно. Он начертал короткую

фразу на листе бумаги и повесил листок над письменным столом:

«Nulla die sine linea» — «Ни одного дня без писательства». И он, не ожидая никаких «вдохновений», принялся за работу с порывистым увлечением, забывая о том, что иногда нечего было есть: интендантство лишило его последних девятисот франков годовой пенсии. Он готовил к печати свою книгу «О любви».

«Начиная с лета 1822 года, когда исполнился приблизительно год с тех пор, как я покинул Милан, мысль о добровольном уходе из этой жизни стала посещать меня реже. Жизнь моя начала мало-помалу наполняться не то чтобы очень приятными мне вещами, а просто так, кой-чем становившимся между мною и высшим блаженством, которое было предметом моего культа...

Когда летом 1822 года появились признаки душевного выздоровления, я стал подумывать об издании одной книги под заглавием «Любовь», которую я написал карандашом в Милане, гуляя и думая о Метильде.

Я рассчитывал переработать ее в Париже, это очень следовало бы сделать. Углубляться мыслью в эти вещи было для меня слишком мучительно. Это то же самое, что грубо прикасаться к едва затянувшейся ране. Я переписал чернилами то, что написано было карандашом... [68]

Это была очень опасная для меня работа — читать корректуры книги, напоминавшей мне до мельчайших оттенков чувства, испытанные мною в Италии...»

В августе 1822 года книга вышла... Ее постигла печальная судьба — печать ее почти не отметила, а публика вовсе не покупала...

В трактате этом Бейль выступает как внимательный ученик и последователь Кабаниса — он изучает любовь в ее возникновении и развитии так же тщательно, как медики болезнь или физиологи внутренние процессы в организме. Но Бейль идет далее, чем Кабанис, — он тонкий психолог, он глубокий сердцевед, и из-под его пера вышли очаровательные страницы, не имеющие себе равных во всей мировой литературе. Реалистический анализ сочетается в них с подлинной поэзией изображения замечательнейшего человеческого чувства.

«Итак, 1822 год: три вечера в неделю я провожу в комической опере, один или два — у Мезонетта на улице Комартен».

Под именем Мезонетта Бейль в «Записках эготиста» изобразил преподавателя риторики Ленге; ему он уделит значительное место в своих воспоминаниях.

«Да здравствует разум!» Эту фразу говорит Анри Бейль в салоне литературного критика Делеклюза. Говорят о Жозефе де Местре. Этот

человек у всех на устах. Он был выгнан из Петербурга вместе со всеми иезуитами (в 1817 году). Явившись во Францию, он написал сочинения о римском папе, католицизме и других не менее злободневных вопросах. В защиту белого террора он заявил: «Белый ангел, с секирой восстающий над народами и отсекающий головы несчастным главарям (революции), есть истинное воплощение божьей благодати, как бы ни клеймили оподлевшие людские поколения того, кого они называют позорящей эту достойную профессию кличкой палача».

За графом Жозефом де Местром в Париж поехали экзальтированные, сумасбродные, совращенные им в католицизм девушки из знатных фамилий, уродливые наследницы огромных богатств. Среди них Софья Петровна Свечина, тетка одного из лучших друзей Пушкина, Соболевского. В Париже она организовала один из самых крупных католических салонов Европы. «Можно во всем сомневаться, — говорила С. П. Свечина, — можно сомневаться в цветах заката и утренней зари, можно сомневаться во временах года и в пространствах, проходимых человеком, можно сомневаться в прошлом, настоящем и будущем. Человек в поисках истины упирается в тупик: наука бессильна. Только один человек знает все и повелевает всем — римский папа. В нем средоточие божественной воли!»

— Этот мерзавец Жозеф де Местр, — восклицает Бейль, — выступив в ту пору, когда в лабораториях разлагают воду на кислород и водород, пытается указать место мистического пребывания совести не то в животе, не то под животом у человека. Какая это сволочь!

Шарль Нодье перебивает Бейля. Он, негодуя, приводит мотивы полицейского запрещения газовых фонарей на улицах Парижа. (Этого добились полоумные друзья де Местра из салона Свечиной.)

— Газ отравляет растительность в городе. Деревья вянут, дети вымирают тысячами под влиянием газовых фонарей. Но с каждым десятилетием люди требуют все более и более яркого света, — говорит автор «Жана Сбогара», размахивая кулаком перед носом Бейля.

Бейль продолжает свою мысль:

— Что это, в самом деле? Какая-то русская дворянка, организовавшая салон в Париже, называет Байрона сатаниитом, запрещает дальнейшее движение человеческого прогресса, а болван барон Нолак пишет о ней мемуары, хотя она еще жива, и в мемуарах называет ее «slucva rodsniejpaia». Что такое клюква? — восклицает Бейль. — Это растение на болотах. Удобно ли называть русскую дворянку таким паршивым растением?

Рядом с ним стоит Альберт Стапфер, такой же французский Александр

Тургенев по отношению к немецкой литературе, каким был в России по отношению к французской литературе вечно путешествующий Тургенев. Тут и Этьен Делеклюз, тут Виолле ле Дюк, тут господин Нодье, искусствоведы, журналисты, авторы приключенческих новелл. Они слушают Бейля, посмеиваясь над его горячностью... Они не знают, что она объясняется просто: когда он говорит о де Местре, этом «Вольтере реакции», перед ним возникает грязный, невымытый и пахнущий вонючим козлиным потом аббат Райян!

Но вместо Райяна в гостиной — Ленге, и с выражением величайшего порицания смотрит он на оратора.

Он возражает Бейлю. Существуют истины, исключаящие друг друга. А мы их признаем одинаково правильными и обязательными для человека. Ленге с циничной усмешкой подносит к глазам Бейля газету либерального направления и газету католической реакции.

Воцаряется молчание. Бейль читает статью, которая защищает от натиска французской реакции испанскую революцию, а затем переходит ко второй статье, которая прокликает испанскую революцию как исчадие ада, воскрешающее в Европе страшный призрак Конвента.

Бейль бросает обе газеты на стол:

— Что вы хотите этим сказать?

Ленге спрашивает:

— Какая статья лучше?

Бейль:

— С точки зрения литературного стиля и развития доводов обе статьи прекрасны.

Ленге:

— Обе статьи написаны мною.

Звонкий, залиvistый смех раздается в углу. Хохочет молодой человек со свинцовыми глазами и длинным, свисающим носом.

Бейль смотрит то на него, то на Ленге.

Ленге готов за деньги отстаивать любую истину, а за большую сумму — опровергать ее, он только что цинично в этом признался<sup>[69]</sup>.

«Кроме поразительной искренней привязанности к любому премьер-министру и кроме храбрости, Мезонетт отличался еще одним качеством, которое мне нравится. За то, что он убеждал французов в превосходстве Бурбонов, Мезонетт получал от министра двадцать две тысячи франков, а пропивал тридцать», — писал иронически Бейль.

А смеющийся юноша — его ученик по классу риторики в коллеже Генриха IV, сын художника Леонара Мериме и художницы Анны Моро,

молодой кандидат юридических наук, парижский хулиган, гроза публичных домов Итальянского бульвара господин Проспер Мериме. Именно Ленге привил ему такую философию, которая впоследствии привела Мериме к политической беспринципности.

Так произошло знакомство Бейля и Мериме.

«В молодом человеке было что-то наглое и до крайности неприятное. Его маленькие тусклые глаза не меняли своего выражения, которое всегда было злое.

Таково мое первое впечатление от лучшего теперь моего друга».

Мериме удивлен. Почему слова Ленге вызывают негодование Бейля?

Бейль говорит:

— С волками жить — по-волчьи выть. Я вполне понимаю, что надо есть, пить, одеваться, иметь кусок хлеба днем и любовницу ночью. Я понимаю, что ради всего этого нужно притворяться юристами, священниками, чиновниками таможи. Мы можем только притворяться. Но как можно говорить такие подлости, как Жозеф де Местр, утверждающий, что совесть обязывает человека верить в чудеса, когда Вольта и Гальвани разложили воду на кислород и водород, а химия учит нас о единстве материи? Этим можно обманывать, но в это нельзя верить.

Мериме захлопал в ладоши. Ленге захохотал и выронил трубку.

— Пародия — это самое жалкое, что может быть уделом человека. Стоит ли жить, если завтрашний день будет пародией сегодняшнего? А Бурбоны пародируют историю, пытаясь из вчерашнего дня сделать завтрашний.

— Можно ли обмануть историю? — спрашивает Бейль, обращаясь к Мериме.

— Безнаказанно — нельзя, — отвечает Мериме.

— Нет хуже дурака, который, думая обмануть других, обманывает самого себя! — восклицает Бейль.

Ленге рассмеялся. Мериме нахмурился. Все остальные замолчали. Спор прекратился.

С первых же дней знакомства Бейль распознал в Проспере Мериме пытливый и атеистический ум. А Проспер Мериме, как юноша, глубоко искренний перед самим собою, понял внутреннюю силу этого итальянского изгнанника, такого молчаливого и сразу нахохлившегося после комплимента Мериме по адресу «Истории живописи в Италии». Эта неожиданная реакция показалась Мериме признаком скромности, но то было чувство боли, которую вызывали в нем все итальянские воспоминания.

— ...Итак, мой молодой восемнадцатилетний друг, я не выражаю вам сожаления за то, что вы родились с таким опозданием. Но советую вам приставить несколько лет к самому себе, не обгоняя нынешнего дня, но просто поправляя ошибку вашей матушки, которая должна была родить вас до Великой революции. Прочтите Гельвеция, прочтите Кабаниса, прочтите Гольбаха и как можно меньше читайте мою «Историю живописи в Италии».

За исключением последнего совета Мериме принял к сердцу все сказанное его взрослым другом. И вот том за томом появляются у него на столе книги, незнакомые раньше. И все это завершает «Большая Энциклопедия наук, искусств и ремесел».

Между лекциями на юридическом факультете, театральными представлениями и ночными кутежами с балеринами Большой оперы Мериме внимательно проходит курс материалистического мировоззрения под непосредственным руководством Бейля.

13 августа 1823 года Мериме кончает Сорбонну. Он должен начать службу. Никак не удастся найти подходящее место. Один из друзей Бейля — Аргу — становится министром. Этот долгоносый человек, которого впоследствии «Шаривари» изображал в широкой шляпе, с таким носом, что под ним укрывалась вся семья, берет к себе Мериме. И, начиная с этих пор, при всех многочисленных переходах Аргу из министерства в министерство за ним следует второстепенный, никому не нужный чиновник Проспер Мериме...

Бейль разъярен лицемерием буржуазии, лживостью политики Бурбонов, бредовыми стремлениями графа д'Артуа восстановить средневековые порядки. На епископа парижского в его облачении при выполнении церковных служб он смотрел как на дикаря, разукрашенного раковинами и пестрыми перьями и поклоняющегося идолу. Он смеялся все реже и реже; самые комические зрелища вызывали в нем ужас. Он ищет возможности выразить свою боль, свой гнев. В короткий срок он пишет и выпускает книгу со скромным названием «Расин и Шекспир». Книга ставит вопрос о литературе и действительности: о том, что такое эта действительность и что значит романтическое и классическое ее воспроизведение в литературе. В предисловии Бейль говорит:

«Никто меньше нас не похож на маркизов, одетых в шитые камзолы и носивших огромные черные парики ценою в тысячу франков, — на маркизов, которые в 1670 году обсуждали пьесы Расина и Мольера.

Эти великие писатели стремились потакать вкусам современных маркизов. Они работали на них.

Времена настали иные, отныне нужно писать трагедии для нас, рассуждающих серьезно и немного завистливых молодых людей в лето господне 1823. Эти трагедии должны быть написаны прозой, ибо в наши дни александрийский стих большей частью есть маскировка скудости ума».

В трактате «Romanticismo» Бейль в 1818 году литературные направления рассматривал как политические партии. Он описывал две армии на противоположных берегах «реки общественного удивления», объявляя себя борцом левостороннего берега. Река общественного удивления впадает в Средиземное море. Левый берег — итальянский, правый берег — это Австрия.

«Итак, да здравствует романтизм!» — снова повторяет Бейль в 1823 году в памфлете «Расин и Шекспир».

«Романтизм — это искусство давать народам такие литературные произведения, которые, при современном состоянии их привычек и верований, могут доставить им наибольшее наслаждение.

Классицизм, наоборот, предлагает им литературу, которая доставляла наибольшее наслаждение их прадедам.

Софокл и Эврипид были в высшей степени романтичны: они давали грекам, собиравшимся в афинском театре, трагедии, которые соответственно нравственным привычкам этого народа, его религии, его предрассудкам относительно того, что составляет достоинство человека, должны были доставлять ему величайшее наслаждение.

Подражать Софоклу и Эврипиду в настоящее время и утверждать, что эти подражания не вызовут зевоту у француза XIX столетия, — это классицизм.

Не колеблясь, утверждаю, что Расин был романтиком; он дал маркизам двора Людовика XIV изображение страстей, умеренное модным в то время чрезвычайным достоинством, из-за которого какой-нибудь герцог 1670 года даже в самых нежных изливаниях родительской любви называл своего сына не иначе как «сударь».

Вот почему Пилад из «Андромахи» постоянно называет Ореста «сеньором»; однако какая дружба между Орестом и Пиладом?

Этого «достоинства» совершенно нет у греков, и Расин был романтиком именно благодаря этому «достоинству», которое теперь кажется нам таким холодным.

Шекспир был романтиком, потому что он показал англичанам 1590 года сперва кровавые события гражданских войн, а затем, чтобы дать отдых от этого печального зрелища, множество тонких изображений сердечных волнений и нежнейших оттенков страстей. Сто лет гражданских войн и

почти не прекращавшихся смут, измены, казни, великодушное самоотвержение подготовили подданных Елизаветы к трагедии такого рода, которая почти совершенно не воспроизводит искусственности придворной жизни и цивилизации живущих в спокойствии и мире народов. Англичане 1590 года, к счастью весьма невежественные, любили видеть на сцене изображение бедствий, которые недавно были изгнаны из действительной жизни твердым характером их королевы. Те же самые наивные подробности, которые были бы с пренебрежением отвергнуты нашим александрийским стихом, но в настоящее время так ценятся в «Айвенго» и «Роб-Рое», надменным маркизам Людовика XIV показались бы лишенными достоинства.

Эти подробности смертельно испугали бы чувствительных и раздушенных куколок, которые при Людовике XV не могли увидеть паука, чтобы не упасть в обморок. Вот, — я отлично чувствую это, — малодостойная фраза.

Необходима отвага для того, чтобы быть романтиком, так как нужно рисковать.

Осторожный классик, наоборот, никогда не выступает вперед без тайной поддержки какого-нибудь из стихов Гомера или философского замечания Цицерона из трактата «О старости».

Мне кажется, что писателю нужно почти столько же храбрости, сколько и воину: первый должен думать о журналистах не больше, чем последний о госпитале.

Лорд Байрон, автор нескольких великолепных, но всегда одинаковых героических поэм и многих смертельно скучных трагедий, совсем не является вождем романтиков».

«Романтики никому не советуют непосредственно подражать драмам Шекспира.

То, в чем нужно подражать этому великому человеку, это способ изучения мира, в котором мы живем, и искусство давать своим современникам именно тот жанр трагедии, который им нужен, — но требовать у них не хватает смелости, так как они напуганы славой великого Расина.

По воле случая новая французская трагедия будет походить на трагедию Шекспира.

Но это будет единственно потому, что окружающие нас обстоятельства — те же, что и в Англии 1590 года. И у нас также есть партии, казни, заговоры. Кто-нибудь из тех, кто, сидя в салоне, смеется, читая эту брошюру, через неделю будет в тюрьме. Тот, кто шутит вместе с ним, будет

назначать судей, которые его осудят.

В скором времени у нас была бы новая французская трагедия, которую я имею смелость предсказывать, если бы у нас было достаточно спокойствия и безопасности, чтобы заниматься литературой; я говорю: спокойствие, так как зло заключается главным образом в испуганном воображении. Наша безопасность в деревне и на больших дорогах очень удивила бы Англию 1590 года.

Так как мы в умственном отношении бесконечно выше англичан той эпохи, то наша новая трагедия будет более простой. Шекспир ежеминутно впадает в риторику, потому что ему нужно было растолковать то или иное положение своей драмы грубой публике, у которой было больше храбрости, чем тонкости.

Наша новая трагедия будет очень похожа на «Пинто», шедевр господина Лемерсье.

Французский ум особенно энергично отвергнет немецкую галиматью, которую теперь многие называют романтической.

Шиллер копировал Шекспира и его риторику; у него не хватило ума дать своим соотечественникам трагедию, которой требовали их нравы».

Таковы условия, которые ставит Бейль новому искусству своим «романтическим манифестом», как критика справедливо называла памфлет о «Расине и Шекспире»,

Непременный секретарь Французской академии господин Оже выступил с возражениями. Его возражения вызвали повторное издание памфлета в расширенном виде (в 1825 году)<sup>[70]</sup>.

Защита классицизма сделалась правительственным делом. Французские чиновники поняли, что древний Рим — «Roma antica» в новой трактовке превращался в лозунг не только литературных, но и политических действий. Реакционеры объявили романтизм неблагонамеренным литературным направлением и повели с ним борьбу всеми доступными способами. Романтик сделался символом человека беспокойного и недовольного общественным строем. Революционеры-конспираторы, друзья Бейля, поняли смысл его книги — это было приложение идей, создавших Великую французскую буржуазную революцию, к искусству — приложение, осуществляемое впервые с такой отчетливой простотой и ясностью. «Драматическая поэзия находится во Франции на той же ступени, на какой 1780 году нашел живопись знаменитый Давид». Иными словами, Бейль говорит литераторам: следуйте примеру Давида, ибо именно он указал живописи новые пути, связавшие ее с революционной действительностью.

«Глупый жанр старой французской школы уже не соответствует суровому вкусу французского народа, у которого начала развиваться жажда энергических действий», — говорит Бейль. В 1823 году довольно рискованно было называть эту жажду энергических действий обрубанием королевских голов и революцией. Но следующий абзац не оставляет никаких сомнений относительно характера той жажды, которой еще полон наш автор, вернувшийся после поражения карбонариев в контрреволюционный Париж. Бейль пишет:

«Все заставляет нас думать, что мы находимся накануне подобной же революции и в поэзии. Пока не наступит день успеха, нас, защитников романтического стиля, будут осыпать бранью. Но будет время, и скоро этот великий день наступит; когда французская молодежь проснется, она, эта благородная и прекрасная молодежь, будет исполнена возмущенного удивления по поводу того, что так долго и с таким глубоким убеждением она восхваляла всю эту гигантскую кучу исторического мусора».



Сильвио Пеллико.



Маршал граф Пьер Дарю.



Барон Жерар.



Виржиния Ансло.



Поликарп Ансло.

Тьер, палач коммунаров, самый подлый из версальцев 1871 года, прав

был со своей точки зрения, когда сказал: «Знаем мы этих романтиков! Сегодня он романтик, а завтра — коммунар». Эмиль Фаге, писатель католической реакции, в наши дни нападает на Стендаля за то, что в 1823 году он защищал романтизм, хорошенько не понимая настоящего значения этого слова, ибо романтизм еще не успел сложиться и определиться. Стендаль, восхваляющий характер людей низших классов, материалист, атеист, по мнению Фаге, был человеком отсталым, человеком XVIII столетия, а судьба сыграла с ним плохую шутку, пересадив его в чужую эпоху.

Обвинения Фаге пошлы и неуместны. Но его рассуждения о революционной философии Стендаля верны. Действительно, романтизм в 20-х годах XIX века не был чем-то единым: он распадался на два резко противоположных направления: прогрессивное и реакционное. Байрон, Бейль, Гюго (у нас Пушкин) были романтиками. С другой стороны, Шатобриан также был романтиком, равно как и присоединившиеся к нему поэты французского дворянства — Альфред де Виньи и его кружок. Их романтизм объявлял идеалом прошлое. А Бейль-романтик провозгласил, что «золотой век, который слепое предание считает прошлым истории, на самом деле впереди». Но и прогрессивные романтики не составляли единого лагеря. Бейль и Гюго — две очень несходные ветви нового литературного направления. Дrame же «Кромвель» Гюго предпослал литературный манифест — свое понимание сущности и задач романтизма. Он также ниспровергает аристотелевскую теорию драмы и провозглашает новую эстетику. Следуя ей, Гюго в своем творчестве вместо характеров натуральных создавал гиперболические — подобные страшным химерам «Notre Dame». Он обострял контрасты и создавал потрясающие коллизии, заставляющие зрителя резко переходить от одного состояния к другому. Эта система внешних эффектов имеет мало общего с суровым, четким и ясным реализмом Стендаля.

Бейль и Гюго были знакомы. Но между ними не возникли сколько-нибудь близкие личные отношения. Их разделяло коренное различие мировоззрений: материализм Стендаля не мирился с неглубоким, поверхностным, но неистребимым идеализмом Гюго. В 1829 году накануне постановки романтической драмы Гюго «Эрнани» на квартире у Проспера Мериме состоялось совещание двух романтических лагерей. Свидетель этого зрелища Сент-Бев рассказывает, как Гюго и Бейль сидели друг против друга, словно коты на гребне мокрой крыши, и ни один не соглашался уступить другому.

Совершенно неожиданный отклик на памфлет «Расин и Шекспир»

прибыл из Генуи. Бейль получил письмо от 29 мая 1823 года:

«Милостивый государь,

Наконец теперь, когда я узнал, кому обязан лестным отзывом обо мне, прочтенным мною в книге «Рим, Неаполь и Флоренция в 1817 году», написанной г-ном Стендалем, с моей стороны будет вполне справедливым обратиться с выражением благодарности (приятной или нет) к господину Бейлю, с которым я имел честь познакомиться в Милане в 1816 году. Сказанное Вами делает мне слишком большую честь, но в одинаковой степени с Вашим отзывом обо мне, напечатанным в книге, мне доставило огромное удовольствие узнать (к моему удивлению, опять совершенно случайно), что этой похвалой я обязан человеку, уважение которого я горячо стремился заслужить. С первых дней нашего миланского кружка, в котором мы с Вами встречались и вспоминать который у меня едва хватает духу, все страшно переменялось. Одни умерли, другие в изгнании, третьи в австрийских тюрьмах... Бедный Пеллико! Я надеюсь, что его муза даст ему хоть некоторое утешение в его жестоком одиночестве. Будет же когда-нибудь такое время, когда поэт снова выйдет на свободу и даст нам снова почувствовать очарование своей музыки.

Из числа Ваших произведений я читал лишь книги: «Рим, Неаполь и Флоренция», «Жизнь Моцарта и Гайдна» и брошюру о «Расине и Шекспире». Мне еще не посчастливилось познакомиться с Вашей «Историей живописи».

В Вашей брошюре имеются наблюдения, по поводу которых я позволю себе сделать несколько замечаний: они касаются Вальтера Скотта.

Вы говорите, что его характер мало достоин восторгов, а в то же время Вы по заслугам перечисляете все его произведения. Я давно знаю Вальтера Скотта, я хорошо знаком с ним и видел его при обстоятельствах, которые выявляют истинный характер человека, следовательно я могу Вас уверить, что его характер действительно достоин восхищения, что из людей он является наиболее открытым и честным; что же касается его политических убеждений, то по этому поводу я ничего не буду Вам говорить: они не схожи с моими, и поэтому мне судить о них невозможно. Во всяком случае, он совершенно искренен во всем, а искренность может быть скромной, но не может быть раболепной. Моя усердная просьба к Вам — смягчить это место Вашей книги. Вы, быть может, мою усердную защиту пожелаете истолковать как притворную аффектацию писателя, но поверьте правде: Вальтер Скотт обладает подлинными чертами прекрасного человека, и это мне известно по впечатлениям личного опыта.

Если Вы удостоите меня ответом, то очень прошу Вас прислать его

мне как можно скорее, так как вполне вероятно, хотя еще не решено окончательно, что в силу некоторых обстоятельств я еще раз буду принужден отправиться в Грецию, а в случае моего отсутствия мне смогут переслать Ваше письмо вслед.

Прошу Вас принять уверения в том, что, несмотря на кратковременность наших встреч, я сохранил о них живейшее воспоминание и надеюсь, что когда-нибудь мы возобновим наши отношения.

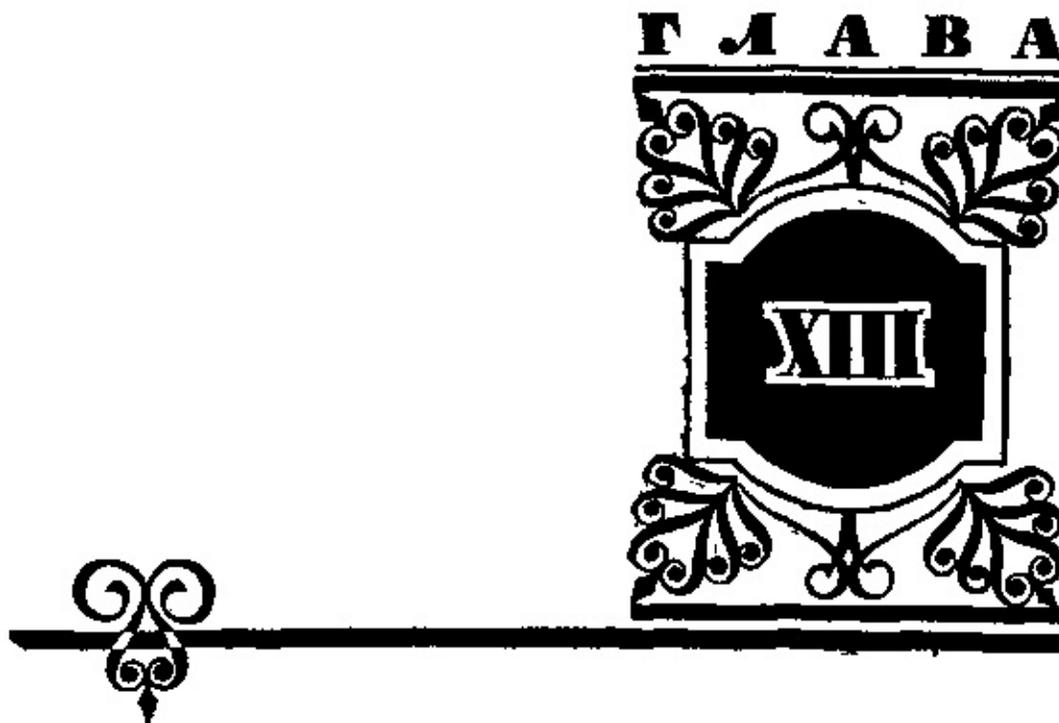
Ваш покорнейший слуга

Ноэль Байрон.

P. S. Не прошу у Вас извинения в том, что пишу по-английски, я помню, с каким совершенством Вы владеете этим языком».

Бейль не ответил Байрону<sup>[71]</sup>. Тем мучительнее пережил он в 1824 году известие из Греции о гибели великого поэта-бунтаря.

## ГЛАВА XIII



Книга написана, напечатана; шум, вызванный ею, постепенно затихает... Нужно жить дальше. Нужно создавать новые интересы, чтобы не задохнуться в той удушающей атмосфере, которая царит во Франции. Бейль пишет статьи для выходящего в Париже английского журнала «The Paris Monthly Review», он участвует в обсуждении наброска Мериме о Кромвеле. Он пишет этюды о философии Канта, начинает писать биографию Россини...

Тоска, тоска; и ее уже не заглушает упорная, интенсивная работа ума.

18 октября 1823 года Бейль выезжает в Италию. Северная Италия для него недоступна. Рим и юг Италии сделали понятными ему настроение многих итальянских молодых людей. Это душевное состояние Джакомо Леопарди: мрачное разочарование, безверие, сознание своего бессилия и непобедимости той черной политической ночи, которая наступила после первых попыток революционного переустройства Италии. Январь 1824 года он провел в Риме.

16 сентября умирает Людовик XVIII, и воцаряется Карл X. Бейль получил описание средневековой церемонии коронации в древнем Реймсе.

От Парижа к Реймсу движется королевская карета, окруженная всей пышностью средневековья: рыцари в латах, алебардчики и мушкетеры, в старинных экипажах с гербами придворные дамы в пышных платьях, духовенство и хоры подростков в белых стихарях под дождем, отдыхая в случайных местах, имитируют старину, а кругом дымят фабрики и заводы. Нищих сгоняют с дорог, король из мешка разбрасывает мелкую серебряную монету, падающую в придорожную пыль. Из склянки со священным миром, принесенной голубем для коронования святого Хлодвига, архиепископ Реймский, как некогда Карла VII, спасенного Жанной д'Арк, помазует Карла X на реставрацию владычества церкви, на передачу дворянству всех земель Франции, на раздачу золотого миллиарда контрреволюционной сволочи эмигрантов, на ликвидацию Палаты депутатов, либерализма... Карл X окружен иезуитами и монахами, фанатически поднимающими глаза к небу, кавалерийскими офицерами с нафабранными усами и склеротическими старцами, проливающими слезы. На ступенях гигантского Реймского собора король возлагает руки на головы десяти тысяч прокаженных и золотушных, ибо непосредственно после миропомазания король обладает чудодейственной властью, превосходящей искусство хирургов Сальпетриера и силу ртутных втираний Бисетра. Однако ловкий иезуит успел подсунуть карболовый раствор, для того чтобы его величество не заразился от всех этих негодяев. А еще более ловкий дворянин, граф Полиньяк, светский иезуит, успел подсунуть тут же манифест о «золотом миллиарде» эмигрантам. Из трудящегося населения Франции были выколочены эти деньги для безвозмездной раздачи дворянам, пострадавшим от революции.

Надежда отдохнуть душой в Италии не оправдалась. Бейль возвращается на родину. В апреле 1824 года по дороге в Париж он случайно знакомится с графиней Кюриаль и ее мужем и тайком приезжает в их поместье. Женщина, имеющая ревнивого мужа, она держит Бейля в подвальном этаже своего дома и сама носит ему пищу, как только муж уходит на прогулку или на охоту в Андильи. Любовь становится настолько острой и безумной, что с невероятной быстротой надоедает и Бейлю и госпоже Кюриаль. В этом мучительном состоянии Бейль вдруг вспоминает прежнего себя и... решается на побег из любовной клетки.

Боясь признаться в сентиментальном чувстве тоски по родине, по реке, по осенним дорогам, осыпанным желтой листвой, боясь быть узнанным по мере приближения к родным местам, он останавливается на последней станции перед Греноблем<sup>[72]</sup>. Он подходит к самой ограде Кле, бывшего имения его отца. Теперь виноградники принадлежат богатому фермеру,

который срезает запоздалые грозди на лозах. Бейль, расшаркавшись с изысканной вежливостью и сняв цилиндр, просит продать ему винограду, не считая, сыплет монеты в пригоршню удивленного фермера и быстро, как вор, убегает от изгороди, через которую перелезал мальчишкой.

Так же тихо, почти крадучись, в некоторых местах ускоряя шаги, он обходит все родные места. Вот окна комнаты, из которой когда-то с любопытством смотрел он мальчишкой. А вот дом давно умершего деда с покосившимися коридорами... Гренобль — маленький, старый и очень неприглядный городок. Гулко раздаются шаги по пустынным улицам. С последним мальпостом Бейль уезжает в Париж.

25 августа открылась в Лувре выставка живописи— «Салон 1824 года». Печальная выставка! Он ходит из комнаты в комнату и набрасывает заметки на листе бумаги свинцовым карандашом — начало своей статьи: «Окинув выставку беглым взглядом, избавим пока читателя от всяких общих рассуждений».

Эти обширные статьи о «Салоне 1824 года», появившиеся в «Журналь де Пари» в сентябре 1824 года, суммируют взгляды Стендаля на общественные задачи искусства. Мы видим и тут постоянное стремление к обычным маскировкам. В анонимной статье Стендаль выдает себя за уроженца Рейна, предназначенного к профессии живописца самой природой. Он говорит: «Я рано уехал в Рим. Там я должен был провести пятнадцать месяцев, но не заметил, как прожил десять лет. Сделавшись независимым, я решил посмотреть Париж». Он признается, что любит только то, что гениально. «Вы, значит, не любите никого?» — раздаются со всех сторон восклицания», — пишет Стендаль. «Простите, — отвечает он, — я люблю молодых художников с пылкой душой и честными мыслями, не ожидающих втайне грядущего богатства и успеха в обществе от скучных вечеров, которые надо проводить у госпожи такой-то, или от партии в вист, которую удастся иной раз составить господину такому-то». Далее идет категорическое заявление: «Мы живем накануне переворота в искусстве».

«Я отправился неделю тому назад искать себе квартиру на улице Гододе-Моруа. Я поражен был крохотными размерами комнат; и так как это случилось как раз в тот день, когда мне предложили написать статью о живописи для «Журналь де Пари», я, озабоченный выпавшей мне на долю высокой честью разговаривать с самой требовательной в Европе публикой, вынул из бумажника записку, в которой отметил для себя вышину и ширину самых знаменитых картин. Сравнивая размеры этих картин с ничтожными размерами комнат, по которым водил меня домовладелец, я сказал себе со вздохом: «Век живописи кончился; теперь может процветать только

гравюра. Наши современные нравы, упраздняя особняки и разрушая замки, делают невозможной любовь к картинам; публике доступна только гравюра, и, значит, только ее может она поощрить». Домовладелец посмотрел на меня с удивлением; я сообразил, что разговаривал с самим собою вслух, и он принял меня, конечно, за сумасшедшего. Я поспешил от него уйти. Едва я вернулся к себе, как меня поразила другая мысль. Гвидо, один из корифеев болонской школы, тот из великих живописцев Италии, чьи головные изображения больше всего приближаются к греческой красоте, был игрок и к концу своей жизни писал по три картины в день. Он получал за них сто, иной раз полтораста цехинов. Чем больше работал он, тем больше было у него денег.

В Париже чем больше художник трудится, тем он беднее. Стоит только молодому художнику быть любезным, а молодые художники обыкновенно любезны, они любят славу так простодушно и признаются в этой любви так мило, — стоит, говорю я, молодому художнику уметь держать себя в обществе — и ему уже с легкостью удастся в промежутке между двумя выставками завязать отношения с редакторами какой-нибудь газеты; он выставляет свои картины, и, как бы ни были малы их достоинства, как бы ни были неуклюжи его герои, сам оч имеет такой приличный вид и был бы так огорчен, услышав о себе правду, что всегда находится добрая газета, которая хвалит его и тем самым обманывает. Он видит, что картины напыщенные восхваляются; это, оказывается, маленькие шедевры, хотя никто их никогда не покупает. Но ведь для того чтобы написать картину, нужны натурщики, а это стоит дороже, чем думают; нужны краски, холсты, надо, наконец, жить. Молодой художник нынешней школы удовлетворить эти основные требования своего искусства может, только влезая в долги, по которым он всегда честно расплачивается, — охотно признаю это, к чести этих молодых людей; но как бы то ни было, молодой художник, вынужденный тащить свои произведения с выставки обратно домой, живет одними иллюзиями, отказывая себе во всем, питаясь несбыточными надеждами. В один прекрасный день он находит верный способ обеспечить себе верный достаток: перестать работать!

Вот действительно очень странный факт в истории искусства, о котором никак нельзя было бы догадаться по тому напыщенному хвалебному тону, которым отличаются обычно фельетоны о выставках. Тут, как и всюду, лицемерие в мыслях влечет за собой несчастье в жизни. Но молодой художник, который сразу обогатился, лишь только выбросил за окно свои кисти, достиг уже тридцатилетнего возраста; лучшая половина жизни у него пропала или, по крайней мере, ушла на развитие таланта, от

которого он теперь отворачивается. Что делать? Кем быть? Мое перо отказывается перечислять печальные ответы на эти вопросы».

«Негодующие голоса заявят, что я несправедлив, что я клевету. Но прошу вас, найдите в Салоне этого года хоть одну картину, которая выражала бы ясным и понятным для публики образом какое-нибудь человеческое чувство, какое-нибудь душевное движение. Я безуспешно проделал этот опыт вчера, в субботу, вместе с тремя друзьями».

Уже в «Истории живописи в Италии» Бейль развивал теорию воздействия среды, климата и темперамента на творчество художника, что является огромным шагом вперед по сравнению с взглядами Монтеスキе, который положил начало этому воззрению:

«Художник, создающий Брута, посылающего сына на смерть, не придает отцу идеальную красоту сангвинического облика, но он может изобразить таковым сына. Художник стоит позади своего столетия, если думает, что погода, бывшая в Риме в день убийства Цезаря, является для него вещью безразличной. В Лондоне бывают дни, когда можно повеситься от погоды».

В «Салоне 1824 года» эти воззрения развиваются. Бейль нащупывает подлинные причины общественных явлений, в том числе и явлений искусства, он видит материальные мотивировки человеческого поведения там, где современники усматривают лишь бескорыстие высоких побуждений.

По возвращении из Италии (в марте 1824 года) снова потекла парижская жизнь. Бейль посещает салоны и гостиные де Траси, герцога де Брольи, супругов Ансло. В них он такой же внимательный наблюдатель и непреклонный аналитик, каким чувствует себя у знаменитого ученого Кювье в Ботаническом саду. Кювье показал Бейлю кабинеты, в которых минералогия сменялась палеонтологией, физика — химией, а за библиотекой книг по общественным наукам следовал анатомический музей.

На улице Данжу Бейль посещал госпожу Кабанис — у нее после смерти доктора Кабаниса в 1808 году продолжали встречаться люди, приверженные материалистическому пониманию мира. Из гостиной Кабанис Бейль переходит к скульптору Дюпати, тому самому, который воздвиг памятник Людовику XIII. Вместе с Проспером Мериме он бывал у литератора Форьеля, ныне справедливо забытого, а когда-то непререкаемого авторитета в области критики. Там он встречал эллиниста Тюро.

А «третью половину вечера» Бейль чаще всего проводил, как и в

1821/22 году, у артистки Паста.

Итальянка с восхитительным голосом, во времена Реставрации она соперничала в славе с гениальным Тальма. Паста выступала в «Танкреде», «Отелло», «Ромео и Джульетте».

Бейль жил в то время в отеле Лилуа на улице Ришелье, № 63; этажом ниже в том же отеле жила Паста. Это давало повод к всевозможным остротам. Бейль записывает одну из них: «Сегодня у Бейля новый костюм. Это понятно, потому что у Паста на прошлой неделе был бенефис».

Любил ли Бейль эту женщину? Быть может! Но он ограничивался, как сам говорит, самой строгой и преданной дружбой. И как бы упорно молва ни называла его любовником госпожи Паста, мы не находим подтверждения ни в документах, ни в показаниях современников. Лучшие страницы биографии Россини возникли у Паста.

«Демон» или «Мефистофель», как называли Бейля, оказался нежным и преданным другом. Во всяком случае, он смотрел на Паста глазами любящего мужчины и видел ее лучше и чище, чем это делала самая сумбурная женщина на свете, писавшая под мужским псевдонимом «Жорж Санд». Аврора Дюдеван, или Жорж Санд, дала характеристику Паста:

«Паста была еще хороша и молода на сцене. Будучи маленькой, толстой и коротконогой, как и большинство итальянок, великолепный бюст которых кажется сделанным за счет всего остального, она нашла способ казаться высокой и элегантной. Столько благородства было в ее позах и в движениях пантомимы! Я была очень разочарована, когда встретила ее на следующий день после оперы в Венеции. Она стояла в гондоле в костюме, отличавшемся чрезвычайной скромностью, заботливо подчеркнутой скромностью. Ее прекрасная, изящная бронзоволодая голова старинной камеи на похоронах Людовика XVIII теперь стала почти неузнаваемой. Паста была одета в старый плащ, в старую шляпу. Она была похожа на театральную горничную. Но вот она сделала движение, показывая гондольеру место причала, и в этом королевском жесте я вдруг почувствовала богиню!»

Проводя долгие часы в гостиной Паста, Бейль подымался к себе и до поздней ночи сидел за письменным столом; страница за страницей возникала «Биография Россини» (вышедшая в 1824 году и имевшая шумный успех у критики и у публики).

Бейля к этой женщине привлекал не только прекрасный характер и изумительный голос. Паста была итальянка! Все лучшее, что пробуждалось в Бейле при звуках Россини, ассоциировалось с Паста. Она была итальянка, она была певица, у нее была не только старуха мать, умевшая великолепно

приготовлять миланское ризотто, — у нее были постоянные миланские гости, во время встреч с которыми Бейль тихо вздыхал, расспрашивал про обитателей площади Бельджойозо. Он узнал, что Метильда Висконтини была вызвана к инквизитору Сальвоти. Она пережила в полиции тяжелые часы допроса, но никого-никого не назвала. С нее взяли подписку о невыезде и оставили в покое.

К числу друзей Бейля в салоне Паста принадлежал Андреа Корнер, представитель древней венецианской фамилии, когда-то чрезвычайно богатой. Он разорился и потерял свою красоту от чрезмерного злоупотребления алкоголем. Адъютант принца Евгения Богарне, он эмигрировал из Италии после падения итальянского королевства. О храбрости этого человека Бейль всегда писал с восторгом. Он описывает, как Корнер получил из собственных рук Наполеона Железный крест и орден Почетного легиона. Он восхищается тем, что в пылу Бородинской битвы Корнер крикнул: «Когда же, черт побери, кончится эта проклятая бойня!»

Другой приятель, встречаемый Бейлем у Паста, был ди Фиоре, неаполитанский революционер, приговоренный к смерти в Неаполе еще в 1799 году в возрасте двадцати восьми лет. Он бежал в Париж и был сотрудником графа Моле. Бейль обозначает его ложным именем «Дижон», а в романе «Красное и черное» изобразил его под видом графа Альтамиры, изгнанника и революционера. От этих друзей узнал в 1825 году Бейль страшную новость: они без всякой осторожности сообщили ему, что умерла Метильда Висконтини. Он схватился за перила лестницы, произнес какую-то шутку и отправился дальше. Но силы оставили его внезапно — его поддержала случайно встреченная девушка; потом он узнал, что это воспитанница графа Строганова и Джулии Деге, подруги жизни русского графа.

В этом же году Бейль перенес еще одну тяжкую утрату: погиб Курье. Сильно досаждал правительству этот неугомный памфлетист. Ему нельзя было заткнуть рот золотом, он уже не боялся никакой тюрьмы, побывав во всех поочередно. Бейль особенно оценил Курье, когда его предали суду за памфлет «По случаю подписки, предложенной его превосх. г. министру внутренних дел для приобретения Шамбора».

Он блестяще использовал суд для агитации. Напрасно пытался прокурор остановить Курье. Ответ на всякий вопрос Курье формулировал так, что он клеймил весь режим Реставрации.

Присяжные признали Поля-Луи Курье виновным и снова отправили его в тюрьму. Из тюрьмы Поль-Луи Курье подал апелляцию. В

апелляционной инстанции он еще более политически развернулся. Газеты, печатавшие его речи, удвоили тиражи, потому что имя популярного памфлетиста обеспечивало им большую наживу. Так, пользуясь аппаратом буржуазной прессы, Поль-Луи Курье поневоле заставлял французских издателей быть распространителями его блестящих и острых речей.

Ни одна тюрьма его не сломила. Тогда пустили в ход грязную клевету.

Занимаясь в Италии во флорентийских библиотеках, Курье подготовил к печати поэму Лонга «Дафнис и Хлоя». Иезуит Фурия инсценировал порчу оригинала поэмы Лонга. Посадив во всю страницу кляксу на пергаменте, Фурия обвинил в этом Курье. Начались суд и длительная переписка, имевшая результатом огромные неприятности для Курье. Однако и они не заставили его смолкнуть... Осталось последнее средство. В 1825 году Поль-Луи Курье был найден в лесу неподалеку от своего дома с простреленной головой<sup>[73]</sup>.

Характерны слова Курье незадолго перед смертью:

«Вкус цикуты горек. Мир перерождается сам по себе, без моего ничтожного вмешательства. Я был бы мухой у громадного рыдвана, который преспокойно может двигаться и без моего жужжания. Да, экипаж движется, друзья мои, и если движение этого гиганта кажется вам слишком медленным, то это потому только, что наша жизнь — мгновение. Но какой громадный путь сделало человечество в течение последних пяти столетий! Теперь оно идет и становится снова на светлый путь, и ничто не в состоянии преградить ему дороги!»

На смерть друга Бейль откликнулся письмом — воспоминанием о нем<sup>[74]</sup>.

Быстрые успехи капиталистического развития Франции и те страшные бедствия, которые оно несло народу и в городе и в деревне, не прошли мимо острого, наблюдательного взора Бейля.

В 1825 году вышла брошюра «О новом заговоре против индустриалистов» с эпиграфом из Сильвио Пеллико. Она напечатана литератором и издателем Сотеле, французским карбонарием, покончившим самоубийством. В брошюре Бейля всего двадцать четыре страницы. Она интересна тем, что буржуазный индустриализм Франции Бейль рассматривает как элемент общественного распада, — он ясно видит все черствые, эгоистические, антиобщественные стороны новой промышленной буржуазии. Отвечая Оже, Бейль указывает, что не надо никакого заговора романтиков против индустриалистов, что рано или поздно индустриализм погибнет, доведенный до крайности. Бейль не был

социалистом, но он говорит, что «приходит пора торговцев, благосостояния и республиканской скуки», и такими чертами рисует уже существующий в Америке мир буржуазных отношений. О европейских делах он выражается еще резче:

«Правительство двух палат обойдет весь мир и нанесет последний удар искусству, ибо государи, вместо того чтобы думать о сооружении красивых зданий, будут думать, как бы разместить свои капиталы в Америке, чтобы в случае падения династии или банковского краха остаться богатыми частными людьми. И однажды водворившийся в какой-либо стране двухпалатный буржуазный парламент произведет следующее: во-первых, они никогда не дадут двадцатимиллионного ассигнования на сооружение хотя бы подобия Святого Петра в Риме; во-вторых, они привлекут в салоны толпы людей почтенных, уважаемых, богатых, но начисто лишенных того интеллектуального и эмоционального чутья, которое необходимо для процветания искусства»<sup>[75]</sup>.

Рассматривая искусство времен меценатов-герцогов и искусство своей эпохи, Бейль приходит к выводу, что новый буржуазный век не принесет расцвета живописи, архитектуре и скульптуре. Из этого наша критика сделала неправильный вывод о феодально-монархических пристрастиях Стендаля<sup>[76]</sup>.

Критика буржуазной ограниченности и положительная оценка роли дворянских вкусов в развитии искусства вовсе не означают реакционных устремлений Бейля. Человек, написавший книгу «Расин и Шекспир» — провозвестник устремленного вперед романтизма, — не может быть заподозрен в желании повернуть историю вспять. Отрицание существующих порядков вело Стендаля вперед и только вперед! И отрицательное отношение Бейля к совершившейся во Франции в годы Реставрации промышленной революции, вернее к ее социально-политическим последствиям, мы легче поймем, если заглянем в дневники Александра Тургенева (см. А. К. Виноградов, Мериме в письмах к Дубенской).

Салон Ансло сблизил Бейля с Александром Тургеневым еще в 1825 году. Началось их многолетнее общение, совместные путешествия, долгие беседы.

Александр Тургенев записывает в своем дневнике слова недоумения: «Что же страшнее — русское крепостное право или фабричное законодательство Франции?» Но говорить об этом вслух в салоне Виржинии Ансло считается неудобным. Об этом шепотом говорят друг

другу Анри Бейль и Александр Тургенев.

Соболевский, друг Пушкина, введен Тургеневым в салон Ансло и познакомлен с Бейлем. Он делится своими впечатлениями от поездки по промышленным районам. Соболевского интересует новейшая техника, он думает и в России завести большие фабрики. И он рассказывает с удивлением, как множатся фабрики во Франции, как быстро увеличивается класс работников и как тяжелы условия их труда...

Поликарп Ансло состоял в свите маршала Мармона, представителя Карла X на коронации Николая I в Москве в сентябре 1826 года. Вернувшись в Париж после шестимесячного пребывания в России, он выпустил пухлую брошюру, полную нелепостей. Яков Толстой, друг и единомышленник декабристов, на свое счастье жил в Париже с 1823 года; но все же после 14 декабря он побоялся вернуться в Россию. Оставшись в Париже, он решил заслужить прощение и начал писать Бенкендорфу донесения о своих парижских друзьях. С радостью он выступил против книги Ансло с брошюрой «Можно ли узнать Россию в шесть месяцев». Таким образом, Поликарп Ансло, автор плохих пьес и еще более плохих книг о России, сослужил хорошую службу Якову Толстому: брошюра его была отмечена. Я. Толстой был прощен и принят на жалованье как секретный осведомитель в Париже. Еще в 1825 году Стендаль обратил внимание на Толстого и на его писания, которым дал резкую оценку. Новое «сочинение» Толстого не прошло мимо его внимания.

Зная Россию по собственным наблюдениям, интересуясь ею, имея друзей русских, Стендаль правильно оценил усердие и полицейский «патриотизм» Толстого...

«Русская атмосфера», которая была в салоне Ансло, рассказы хозяина о России, встречи с Тургеневым, вот что, вероятно, насытило «русским духом», экскурсами в историю России повесть «Армане, или нравы парижской гостиной в 1827 году».

Это первое чисто беллетристическое произведение Бейля; оно создано им в возрасте сорока четырех лет. Книга Стендаля носит все черты недоделанности раннего произведения. Прототипом для него послужила гостиная герцогини де Брольи. Арманс Зоилова выведена в качестве воспитанницы г-жи Маливер, ее образ удался Стендалю. Он воспользовался своими впечатлениями от замечательной девушки, дочери графа Строганова и Джулии Деге. Октав Маливер, сын г-жи Маливер, также удачен — это типичный представитель той аристократической молодежи, который неминуемо гибнет в условиях Реставрации, если сохраняет хоть какие-нибудь черты внутреннего благородства. Это молодой

человек, с иссушенными страстями, с парализованной волей, с ясным пониманием своего бессилия и непригодности к жизни — и в то же время вполне обеспеченный. Он падает жертвой своего чувства к Армане Зоиловой. Эта девушка, такая стойкая и мужественная, ничем не может помочь своему несчастному возлюбленному. Байронический конец Октава, который во время путешествия в восставшую Грецию принимает большую дозу опия и умирает на груди корабельного каната на палубе, звучит почти как рецепт для всех людей этого типа.

Одновременно с «Армане» Бейль тайком вновь занимается драматическими попытками. Он пишет комедию «Слава и горб, или скользкий шаг», но, к сожалению, это произведение не сохранилось. Нет ничего удивительного, что спустя двадцать с лишком лет после первого опыта Бейль вновь обратился к драматургии. Мы читаем в «Анри Брюларе»:

«Единственное, что по прошествии сорока лет я вижу ясно, — это то, что моим идеалом было жить в Париже на четвертом этаже и писать драмы и романы. Бесконечные пошлости и подловатости, сопровождающие проведение пьес на театральные подмостки, удержали меня тогда от писания драмы».

Перед выпуском в свет «Армане» Бейль уезжает. «Армане» выходит в его отсутствие. Он объехал Италию по совершенно новому маршруту, миновав все места, которые напоминали ему молодость. Он поехал по островам, был на Искии, на Эльбе<sup>[77]</sup>.

На этот раз Бейль предпочитает сидеть на палубе на канатном круге и наблюдать работу матросов. Бриг «Комета» вздрагивает, капитан у штурвала кричит в рупор на берег матросам, чтобы поскорее погружали последние бочки... Через десять минут шлюпка поднята на борт, якорь выбран. Бриг быстро и красиво поворачивается по ветру и, рассекая волны, идет в море. Ветер, горячий и в то же время ласковый, делает с людьми чудеса. Бейль чувствовал, как свежела его кровь.

Почти случайно он сошел на Эльбе. Он объехал все места, напоминавшие пребывание губернатора острова Наполеона Бонапарта. Вот долина Сан-Мартино с ее ярко-зелеными виноградниками, кустарниками, горами, усаженными серой оливковой порослью.

Вот место, где Флори де Шабуллон впервые сказал Наполеону, что пора возвращаться во Францию. А вот, наконец, Порто Феррайо. Вот место, откуда вышел бриг «Инконстан» с беглецом Наполеоном. Капри, Неаполь, затем резкий поворот на север — Рим, Флоренция, Болонья, Венеция!

В 1827 году в одиннадцать часов ночи 31 декабря внезапно застучало

сердце. Нет никакой возможности этому разумному человеку удержать себя в пределах рассудка. Вот поворот не туда, куда нужно. Вот миланское шоссе и знакомая застава, вот миланская гостиница «Адда» и спокойная уютная комната... Бейль умылся. Вошел слуга, потребовал паспорт. Переодевшись, Бейль пошел по знакомым улицам на площадь Бельджойозо.

Мертвая тишина. Гулко раздаются шаги по пустынным улицам. Площадь кажется огромной. Над плитами мостовой клубится туман. Серый дом с черными пятнами окон и запертыми дверьми кажется мертвым. Как встретить зарю в этом городе, когда ни в одном доме, ни на одном углу не найдешь тех, кто безвозвратно ушел уже из жизни, а все полно их дыханием, — еще ветер не успел смести шаги тех, кого так сильно любило сердце!

Когда Бейль вернулся в гостиницу, его размышления были прерваны: ему приказано явиться в ломбардское правление жандармов его величества, где его паспорт задержан.

Короткий допрос:

— Вы господин Бейль?

— И вы можете дать подписку, что не знаете автора книги «Рим, Неаполь и Флоренция», книги «Ра син и Шекспир», книги «О любви», где вы даете такие непристойные характеристики нашей власти?

Так был встречен новый, 1828 год!

«Вышеназванный Бейль, — гласит рапорт директора полиции Милана на имя правителя Ломбардо-Венецианского королевства, — уехал в ночь того же самого дня, когда получил приказ покинуть Милан. Он отбыл во Францию по Симплонской дороге, не осмеливаясь обратиться к Вашему превосходительству лично с прошением о разрешении остаться в городе». Рапорт заканчивается словами: «Вечером Бейль был в театре «La Scala». Приняты меры к тому, чтобы ни в коем случае не упускать из виду вышеназванного Бейля и вовремя арестовать его в случае, если он снова осмелится появиться на наших границах».

29 января 1828 года Бейль снова в Париже. Он узнает, что «Армане» не имела большого успеха, ее не поняли. Даже Проспер Мериме и тот дал ей фривольное и полукомическое истолкование. Переписка Стендаля и Мериме, касающаяся первого большого романа Стендаля, чрезвычайно интересна по взаимному непониманию людей двух смежных поколений. Стендаль спешил, мистифицируя, подтвердить комические догадки Проспера Мериме. «Этот Октав Маливер или импотент, или человек, страдающий гомосексуальными пристрастиями». Проспер Мериме

рассматривает бессилие и колебания воли Октава Маливера как специфическое мужское бессилие. Если Мериме цинично шутил с другом, то в 1928 году Андре Жид повторяет это истолкование Октава уже в порядке серьезно подносимой читателю буржуазной пошлости<sup>[78]</sup>.

В тяжелом состоянии подавленности проводит Бейль 1828 год. Он развлекается только писанием писем. «Поршерон», «Колине де Гремм», «Эдмонд де Шаранси», «де ла Палис-Ксентрайль-старший», «П. Ф. Пьюф», «Тампет», «Порт», «Шиппе», «Дюверсуа», «Граф Шадевелль», «Ж-Б. Лайа», «Ша-перонье», «Корнишон», «Л. С. Ж. Мартен», «Роберт Бейль», «Шоппе», «З. Жозеф Шаррен» и, наконец, «Шинсилла» и «Вильям Крокодил», — эти подписи поражают чиновников «черных кабинетов» на почте Карла X. Все письма написаны как будто разными людьми, но одним и тем же почерком! Шутливые письма чередуются с письмами трагическими.

Наступило самое мрачное время французской реакции. Католические и иезуитские изуверства достигли небывалых размеров. Выпускается закон о святотатстве, присуждающий к смертной казни за атеизм. Карл X и его министр — иезуит Полиньяк « совещаются... с богородицей » по поводу каждого мероприятия в годы, когда Франция изнывала от голода и безработицы.

В это время лишенный жалованья Бейль просил назначить его на любую должность в королевской библиотеке в Париже и получил отказ. Доведенный до отчаяния, Бейль пишет завещание и прикладывает к виску пистолет. Он видит в зеркале самого себя, сидящего на полу. Гулкий пистолетный выстрел отдается по коридору. Произошла осечка и обморок. Уроненный на пол пистолет выстрелил. Судьба приказывает жить. Что ж, придется покориться! А жить все труднее и труднее...

Мериме не решается поставить свою фамилию на книжке, вышедшей в 1829 году. Она называется «Хроника времен Карла IX» и описывает события 1572 года, когда Карл Валуа и Екатерина Медичи устроили резню протестантов в Париже — «Варфоломеевскую ночь». Повесть наделала много шуму, но понравилась. Никто не понял намеков на современную Францию, никто не увидел в полоумном Карле IX прототип идиотического ханжи Карла X.

Тогда Проспер Мериме публикует в «Парижском обозрении» «Видение Карла XI». Он описывает шведского короля, которого душит во сне кошмар. Король проходит ночью по одиноким потемневшим комнатам своего дворца. Заметив отдаленный мерцающий свет, он открывает черную занавесь, и перед ним страшное зрелище: он видит самого себя и палача,

занесшего среди огромной толпы людей меч над его головой. Раздается удар, и королевская голова — его самого, Карла XI, — катится к его ногам. Видение прекращается, но капельки крови остаются на королевских туфлях.

Карл IX и Карл XI — это «перелет» и «недолет», а между ними — живой, реальный, полоумный король Карл X, под гнетом которого изнемогает Франция.

Бейль в том же «Парижском обозрении» за подписью Стендаля помещает повесть «Ванина Ванини, или подробности последней карбонарской венты, открытой в Папской области». Мы уже говорили о том, что прототипом Миссирилли мог быть Уго Фосколо. Описание карбонария, в которого влюбилась представительница римского патрицианского рода Савелли и который остается верен своему карбонарскому долгу, показывает, до какой степени хорошо знал автор карбонарский быт и психологию. На фоне карбонарской доблести, представлявшей собою для Бейля только прошлое, он рассматривал то, что происходит в Париже. Его переписка этих дней, лукавая, изощренная, невероятное количество псевдонимов, жизнь сумбурная, нетрезвая, ночные приключения со случайными знакомыми, встречаемыми в салоне Виржинии, — все, что ни делает Бейль, направлено к одной цели — забыться, перестать ощущать дьявольскую действительность, доводящую до самоубийства. Вторично испытывать судьбу нет охоты... Он отдается ночным приключениям, встречам со случайными подругами; он развлекается в салоне Ансло анекдотами по адресу хозяина, увлекающегося красивыми артистками. Он проводит время с Соболевским, который сделался спутником ночных прогулок Проспера Мериме, с милым, любезным Александром Тургеневым.

О жизни Стендаля в 1829–1830 годах мы находим много упоминаний в письмах А. Тургенева. В письме № 41 на имя Николая Тургенева он пишет: «По вечеру возил к нему (к Кювье. — А. В.) Соболевского и засиделся с его приятелями за полночь: обыкновенно говорун Стендаль, автор описания Рима и Флоренции и прогулок по разным странам Европы, острый и иногда оригинальный поэт Мериме, и вчера сам Кювье был очень забавен».

В письме № 53 (24 февраля 1830 года) А. И. Тургенев пишет:

«Третий час за полночь. Я опять провел день, полный жизни, начав его чтением журналов, а кончив сейчас у живописца Жерара. В полночь с Соболевским пустился к Жерару, где нашел многочисленное и интересное общество. Усевшись с женой Ансело, за которой начинаю волочиться, с Мериме и его приятелем Белем, иначе Стендалем, я загляделся на милое,

красивое, хотя и не прекрасное личико. Это была актриса Малибран, соперница Зонтагши, которая восхищает Париж игрой и голосом. Я уговорил на пение, и она спела несколько прелестных итальяно-испанских арий и увлекла за собой и старуху певицу Грассини, которая дряхлым голосом, но все еще с прежней методю, пропела после Малибран, и, наконец, обе вместе пели из Россини.

В промежутках Мериме и Стендаль рассказывали мадам Ансело похабные анекдоты и похабные до такой степени, что я и тебе не смею пересказать их. Она слушала, заставляла повторять, а я хохотал как сумасшедший и жал ручку исподтишка у кокетки любезной, но уже несколько подержанной; она звала меня к себе по вторникам. И муж ее, любезный и умный малый, собирает весельчаков — авторов на вторичных вечеринках, где языку Мериме и ему подобного Беля воля неограниченная...»

5 марта в полночь Тургенев записывает:

«Сегодня рано поутру забрался к Белю (Стендалю), много раз бывавшему в Италии, чтобы отобрать у него лучший маршрут в Рим для Потоцкой (Е. В. Салтыковой. — А. В.). Он мне написал его, но она почти раздумала ехать. Впрочем, может быть, ей еще пригодится.

В Россию не хочется ехать, да и не вижу надобности, ибо не жду больших успехов от Жуковского. Что-то длится слишком рассмотрение (процесса брата— А. В.) с просьбой о помиловании. Но я могу уехать в Италию, хотя бы взглянуть на Рим и на папу в день пасхи. Бель дает маршрут самый короткий и приятный. Но все это еще в одной мечте».

Отдельная запись Тургенева от 10 марта 1830 года говорит о том, что шесть приятелей за одним столом у Ансло вели себя непристойно, что особенно отличился Соболевский. Стендаль, как нарочно, лгал и преувеличивал с комическим видом. Мериме был по обыкновению сдержан. А. И. Тургенев пожимает у камина ручки и ножки мадам Ансло. Мадам Ансло признается ему, что муж ей изменяет, и показывает на очередную актрису, играющую первую роль в новой комедии Поликарпа Ансло. Бейль смеется над новой страстью Виржинии Ансло к Александру Тургеневу. Тургенев уговаривает Виржинию Ансло влюбиться в Соболевского.

Испанская поездка А. И. Тургенева не состоялась. В письме из Парижа от 26 мая 1830 года А. И. Тургенев сообщает брату другой вариант плана:

«Вчера у Ансело встретил я Беля (Стендаля), который объехал несколько раз и описал Италию; он дал мне иное понятие о жарах ее и уверил, что лучше видеть и проехать туда летом, чем в дождливую осень,

что от жаров в нагорных местах всегда укрыться можно и прочее. Это не поколебало меня объехать прежде Южную Францию и тем более, что если поеду в Италию после августа, то не найду в Риме князя Гагарина, который был бы моим лучшим чичероне. Для меня удобнее было бы проехать прямо в Италию и тем, что не нужно было бы оставлять здесь бумагу и платье, кои не нужны были бы для меня в Южной Франции. Сегодня увижусь с Белем у Жерара, и еще потолкуем».

Но ни друзья в салоне Ансло, ни ночные приключения не дают Бейлю такого удовлетворения, такого освобождения от внутренней тоски, как творчество, особенно если оно посвящено Италии.

Бейль выпускает «Прогулки по Риму» — два тома чарующих наблюдений большого ума и удивительного сердца. На титульном листе как эпиграф отрывок шекспировского диалога:

«Эскал спрашивает: «Друг мой, мне кажется, что вы носите на себе печать мизантропии и скуки?»»

Меркуцио отвечает: «Это потому, что я слишком рано был зрителем совершенной красоты».

Очевидно, совершенная красота человеческого характера не встречалась больше на пути Бейля! В «Прогулках по Риму» много страниц уделено итальянским бригадам и бандитам. Барон Стендаль утверждает, что хроникеры и летописцы Италии, писавшие за деньги восхваления своему господину, оклеветали тех, кто восставал против деспотической и тиранической власти. Необходимо восстановить правильное представление об этих героях народной оппозиции. Дерзкий Стендаль доходит до того, что Мандрена считает благородным человеком. Мы знаем по хроникам, что это был не простой разбойник, а «дорожный рыцарь», разукрашенный молвою о семнадцати покоренных городах, ибо население сочувствовало всякой ломке внутри таможенных границ Франции.

«В одном этом разбойнике больше благородства, чем во всех наших генералах», — говорит Стендаль, обращаясь к обществу Карла X.

Так ловко и искусно «прячет» Стендаль в книге о Риме пропаганду взглядов философа-реалиста, выросшего на идеях Великой буржуазной французской революции.

В одном из томов «Прогулок по Риму» мы находим совершенно неожиданное отступление: на двадцати девяти страницах рассказывается о процессе столяра Лафарга. Какое это имеет отношение к «Прогулкам по Риму»? Цензурное отношение, скажем мы теперь.

Юноша в рабочей блузе, сдвинув брови, рассказывает, что за решетку на скамью подсудимых привела его не простая ревность.

«Вот Франция, неизвестная министрам и нашим двум палатам, — говорит Бейль. — И эта мелкая городская беднота богата именно такими характерами, которые обновят землю. Будущее имеет своим очагом тот общественный слой, к которому принадлежит столяр Лафарг».

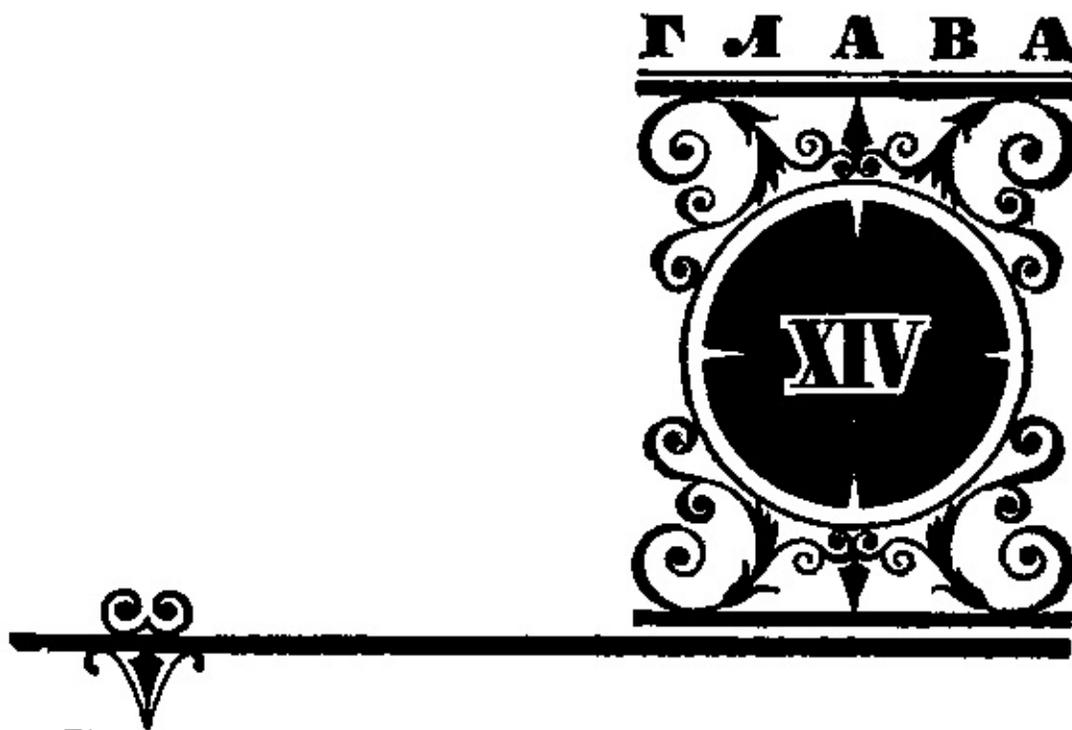
Когда книгопродавец Делоне печатал «Прогулки по Риму», Бейль через своего друга Пасторе, человека благонамеренного, преданного монархии и чрезвычайно глупого, получил предложение, совершенно его ошеломившее.

Умер папа Лев XII, и французское правительство было чрезвычайно заинтересовано в том, чтобы иметь во главе римской церкви ставленника французского двора. Испания была в этом конкурентом. Другие державы также делали все, чтобы обеспечить себе влияние в Риме. Пасторе запрашивает Бейля, часто бывавшего в Риме, кто из кардиналов может быть приверженцем французского двора. Бейль называет одного из итальянцев, который про себя всегда говорил: «Io sono Borbone»<sup>[79]</sup>. Этот римский князь, старый склеротический идиот, вечно нетрезвый и просыпающий нюхательный табак на красный жилет кардинальского камзола, во всех отношениях был подходящ для Карла X. Но как сделать, чтобы его избрали?

Правительство Карла X через того же самого Амедея Пасторе предлагает Бейлю взять миллион франков, секретно поехать в Рим и подкупить конклав, собрание кардиналов, которые не имеют права расходиться до тех пор, пока единогласно не выберут нового папу.

Бейль нисколько не возражал против такого поручения, оно ему даже нравилось. Но в это время французским посланником в Вечном городе был господин Шатобриан, страшно щепетильный и самолюбивый человек, который от всей души ненавидел Бейля. Пронюхав окольными путями о том, что в Париже затевается интрига, парижский секретарь Шатобриана предпринял контрмеры, затянувшие поездку «романтического взяточника» Стендаля в Рим для подкупа семидесяти двух апостолов, избирающих нового Христова наместника. Дело обошлось без вмешательства Франции. Папа Пий VIII был избран вопреки желанию Карла X.

## ГЛАВА XIV



Не успели выйти «Прогулки по Риму» (1829 г.), как друзья заметили исчезновение Бейля. Где он находится, что он делает? Консьерж постоянно заявляет, что господина Бейля нет дома, а между тем окна его освещены, и днем и ночью не снимаются шторы.

Один из друзей застал Бейля в ночной рубашке. У него красные веки, небритое лицо, всклокоченные волосы — отвратительная внешность человека, проводящего время в попойках. А на столе лежит кipa бумаги. На верхнем листе — во всю страницу надпись «Жюльен». Уж не сошел ли с ума этот человек? — начинают говорить друзья Бейля. Неужели он в самом деле начал писать роман? Разве ему не известно, что «Армане» никуда не годная вещь? А что касается других книг, то он читал письмо Фредерика Монжи-старшего:

«Милостивый государь,

Я хотел бы не меньше Вас, чтобы настали, наконец, такие времена, когда я действительно смог бы отдать Вам отчет о прибылях, ожидаемых от Вашей книги «О любви». Но я начинаю думать, что такое время никогда не настанет. Не уверен в продаже даже сорока экземпляров Вашей книги. Я

могу выразиться о Вашем произведении так, как о «Священных стихах» Пампиньяна: они настолько священны, что никто не осмеливается к ним прикоснуться.

Имею честь оставаться Вашим преданнейшим и покорнейшим слугой».

Казалось, урок достаточный. Пора опомниться и больше не делать глупостей.

Расхаживая по своей комнате, Бейль ворчит и записывает:

«Порядочное общество двадцатых годов ненавидит энергию во всех ее проявлениях. Французское приличие — это величайшее несчастье XIX столетия. Погоня за шаблонами, тщеславие, стремление быть как все, самое главное, любовь к деньгам — вот существенные черты французского общества. Брак по любви считается неприличной нелепостью. Любовь загнана на пятый этаж и встречается лишь среди девушек, которые, выходя замуж, обходятся без нотариуса. Величайшие люди эпохи сосланы правительством на каторгу».

Что же так его взволновало? О чем он пишет до покраснения век?

15 декабря 1827 года в Гренобле начался процесс сына кузнеца Берте, а 23 февраля 1828 года в одиннадцать часов утра на Оружейной площади в Гренобле среди огромной толпы, состоявшей главным образом из женщин, Берте лег на продолговатую перекладину из деревянных брусьев, палач нажал пружину — и блестящий треугольный топор отсек белокурую голову синеглазого человека.

Бейль об этом узнал через год из случайно попавшейся страницы «Трибунальской газеты». Он написал адвокату Дефлеару просьбу прислать ему материалы процесса. И вот перед ним огромный том всего судебного разбирательства. Берте — сын кузнеца из маленького города Бранг, хорошо одетый, тонкий, худощавый, слабый молодой человек, с выразительным лицом и большими темно-синими глазами. Первоначальное воспитание он получил у священника родной деревни, который обучил его латинскому языку. Берте поступил в качестве гувернера к детям некоего Мишу, крупного буржуа. Мишу внезапно без объяснения причин отказывает сыну кузнеца от места и устраивает семейную сцену. Госпожа Мишу провожает Берте до калитки. Ночью с узелком через плечо сын кузнеца идет до ближайшей почтовой станции; пуля свищет у него мимо ушей. Но все кончается благополучно.

Утром он попадает в город Белле, где и поступает в семинарию. Но так как Белле находится недалеко от того места, где живет ревнивый Мишу, то сын кузнеца, готовящийся в священники, и тут не имеет покоя. Его

изгоняют, и с прекрасным аттестатом в науках, но с очень подозрительными рекомендациями со стороны политического поведения он попадает на родину Стендаля, в духовную семинарию Гренобля.

Бейль с удивлением узнает, что с недавних пор в Гренобле есть такое учреждение, как духовная семинария. Нет города, где вместе с новыми фабриками и паровыми машинами не появлялись бы фабрики попов и семинаристов.

В документах не значится причина, по которой Берте исключен из духовной семинарии. Судя по оговоркам в протоколе, можно полагать, что виною была секретно-политическая характеристика; все отметки Берте в семинарии говорят о нем как об ученике исключительно талантливым, с блестящей памятью, с великолепным знанием латинских и греческих поэтов. Но наблюдение за поведением Берте показало в нем непреклонную волю и политический характер, в то время как инструкция Игнатия Лойолы требует, чтобы воспитанник иезуитской коллегии — «*per inde cadaver*» — обладал повинованием наподобие трупа... Выгнанный с волчьим билетом из духовной семинарии города Гренобля, он не осмеливался показаться на глаза своему отцу, ибо десятикилограммовый кузнечный молот мог опуститься на его голову. Берте тайком проживал в городе Бранге у родной сестры. Отсюда он послал госпоже Мишу письмо, содержащее трагическое описание краха молодых надежд.

Окольным путем Берте узнает, что в семье де Кардон требуется гувернер. Одетый чисто и опрятно, с узелком, в котором сложено все имущество, появляется Берте в замке де Кардон. Меланхолическая внешность энергического юноши, красиво сложенного, скромного, привлекает к нему взоры дочери де Кардона. Молодая скупающая дворянка, из простого любопытства наблюдавшая изо дня в день Берте, замечает, что у него прекрасная походка, великолепные волосы, чудесные темно-синие меланхолические страдающие глаза. В то же время он несколько не похож на слуг отца. Он даже лучше десятка молодых вертопрахов, приезжающих верхом в замок де Кардон. Любопытство переходит в повышенный интерес, повышенный интерес переходит во влюбленность. И так как Берте — человек, много ниже стоящий на ступенях социальной лестницы, то ему отдается полуприказание полюбить... Берте не сдастся сразу. Устные требования подкрепляются страстными письмами хозяйской дочки. Письма перехватываются, и Берте изгоняют из замка.

Берте лишается места опять не по своей вине: там ревнивый муж, здесь подозрительный отец. Берте оправляется от удара. Он испытывает

всепоглощающую страсть учиться и войти в жизнь полноправным членом общества. Пешком и в почтовых каретах, с фермерами, везущими молоко на городскую площадь, с торговками, провозящими на заре двуколку овощей на рынок, он попадает из города в город, из местечка в местечко. Но его имя уже оказывается известным всем учреждениям иезуитской Франции. Ни одно учебное заведение его не принимает. Он выброшен из жизни. После первоначального благоприятного разговора вдруг обнаруживается секретная характеристика, и с ним отказываются говорить. И только один нотариус Моресталь принимает Берте к себе младшим чиновником для писем. На службе у Моресталья Берте продумывает весь путь своей жизни. Он узнает, что, помимо секретных характеристик, по школам и учреждениям буржуазна Мишу рассылает клеветнические письма. Хуже всего то, что эти письма написаны ее почерком, но не ее языком. Вот что больше всего терзает душу молодого Берте.

В воскресенье 22 июля 1827 года Берте рано утром был уже в Бранге. Он вошел в церковь, встал за колоннами, и едва только госпожа Мишу опустилась на колени, как он вынул магазинный пистолет и выпустил из него два заряда: один в молящуюся буржуазку, другой в себя. Живы остались оба. Мишу была опасно ранена, а Берте неудачно всадил себе пулю между челюстью и шейным позвонком, как раз в том месте, по которому суждено было через некоторое время скользнуть треугольному ножу гильотины.

На вопрос председателя суда об истории преступления Берте сообщил только одно: «Выброшенный из общества, я был жив для двух страстей — любви и ревности». Приписывая всю вину себе и своему характеру, Берте отказался давать показания. И лишь несколько позже он рассказал подробно, что он был любовником госпожи Мишу, что горничная из ревности донесла на него супругу госпожи Мишу и он был вынужден уехать. Госпожа Мишу, его любовница и хозяйка, ночью клялась ему в спальне перед распятием, что она уйдет из дому, никогда его не забудет, будет любить всегда только его одного и найдет его где бы то ни было. А когда он возвратился по прошествии нескольких недель для тайного свидания, он убедился, что на его месте находится двойной его заместитель — репетитор и любовник. — студент Жакен.

Эти показания были записаны на основании слов Берте и скреплены его подписью. Но через два дня в порыве внезапного рыцарства молодой Берте потребовал чернила и бумагу и скрипящим гусиным пером, ставя огромные кляксы, написал душераздирающую фальшивую исповедь, где он заявлял, что Мишу никогда не разделяла его страсти, что во всем виноват

он один. Сын кузнеца в порыве великодушия хотел во что бы то ни стало спасти женщину, которой он отдал любовь искренне и со всем юношеским порывом. После этого Берте успокоился. Ему казалось, что основное дело на суде уже сделано.

Госпожа Мишу, ликующая и оправданная, вышла из зала суда. Берте оказался просто негодяем, стрелявшим в свою хозяйку, влюбленным мальчишкой, который пытался соблазнить невинную и честную женщину. Перед лавочниками и приказчиками, парикмахерами и содержателями публичных заведений города Гренобля, попавшими в присяжные заседатели, был заядлый преступник из низов, покушавшийся на убийство «порядочной», то есть «богатой», женщины, перед ними был представитель того самого отвратительного четвертого сословия, которое не только хочет выскочить за пределы своего класса, но, как известно префекту парижской полиции, хочет вообще уничтожить все классы<sup>[80]</sup>.

К этому времени вышла книжка Буонаротти, описывающая «Заговор равных» Кая-Гракха Бабефа. Эти опасные люди живы, они могут ежеминутно выступить с планом перевернуть все общество!

Присяжные заседатели города Гренобля постояли за себя и за сохранение монархического и католического строя Франции.

Мишу была родственницей Манта, одного из друзей Бейля. Из первых рук Бейль имел возможность узнать самые интересные подробности, дополнившие судейский протокол. И он написал роман, который назывался первоначально «Жюльен», а потом «Красное и черное». Буржуазная критика всегда имела склонность рассматривать Стендаля как эстета, сноба, аполитичного писателя, ибо, как говорил он сам, «политика в романе подобна пистолетному выстрелу на концерте». Название «Красное и черное» эти критики истолковывали как банальнейшие образы игры в рулетку или игры «Rouge et Noir». Автор не возражал. Это его устраивало... Когда ставили на «красное» в его дни, то проигрыш всегда знаменовал собою гильотину.



Стендаль в 1824 году Портрет, приписываемый ученику Давида, французскому художнику Ж.-Б. Викару



«Господин де Фонжеран». Карикатура на Бейля работы Анри Монье.



«Коканская мачта или Людовик XVIII, поддерживаемый союзниками».

Книга быстро дошла до России и появилась у Елизаветы Хитрово. Пушкин не мог от нее оторваться. В мае 1831 года он пишет Хитрово: «Умоляю Вас прислать мне второй том «Rouge et Noir». Я от него в восторге».

В 1829 году вышла книжка без имени автора. Ее считали даже

переводом с английского. Она называлась «Последний день приговоренного к смерти». Когда вышло второе издание, автором оказался Виктор Гюго.

Однажды зимой наступила безработица. На чердаке не было ни топлива, ни хлеба. Мужчина, девушка и ребенок голодали и зябли. Молодой рабочий украл — семья его имела хлеб на три дня для женщины и ребенка и пять лет тюрьмы для мужчины<sup>[81]</sup>.

Описав тюрьму и казнь этого рабочего, Гюго говорит:

«В Париже совершают тайно смертные казни за заставой Сен-Жак.

Господа центра, господа крайне правые, господа крайне левые, знаете ли вы, что простой народ страдает?..

Сжальтесь над массами, у которых каторга отнимает сыновей, а публичный дом — дочерей. Во Франции слишком много каторжников и что-то слишком много проституток.

Что доказывают обе эти язвы?

Они доказывают, что кровь социального организма заражена.

Вы, правители и врачи, собрались на консультацию у постели больного. Займитесь же болезнью!

Вы плохо ее лечите. Ваши законы — это только уловки. Одна половина ваших кодексов — гнилая рутина, а другая — наглое шарлатанство...

Переделайте ваши тюрьмы и ваших судей! Господа, во Франции отрубают слишком много голов! Вы устанавливаете режим экономии, соблюдайте ее и здесь!

Так как вы расположены к сокращению штатов в ваших учреждениях, сократите же количество ваших палачей, ибо жалования восьмидесяти парижских головорубов хватит на полное содержание шестисот учителей!..

Знаете ли, к чему пришли вы сейчас? Франция — одна из самых неграмотных стран Европы!»

Стендаль выступил совершенно иначе, чем Гюго. Он у правительства не просил ничего, он не только не обращался к его благоразумию — он совсем не обращался к нему... Ибо он его отрицал всем своим романом! «Писателю нужно почти столько храбрости, сколько воину. Первый должен думать о журналистах не больше, чем последний о госпитале». В одном из писем Стендаль говорит: «Если уж ты взялся за перо, не удивляйся, когда дураки будут ругать тебя сволочью». И вот, поставив эпиграфом к роману слова Дантона: «Правда, пусть горькая, но только одна правда», он зачеркивает название «Жюльен» и большими буквами во весь лист пишет: «Красное и черное», а подзаголовком ставит «Хроника 1830 года».

Отдельное издание «Красного и черного» появилось в Париже у

Левавассера в декабре 1830 года. В первом томе было 398 страниц, во втором. — 486. Если мы перевернем титульный лист, то прочитаем чрезвычайно интересное обращение к читателю якобы от издателя: «Это произведение было приготовлено к печати, когда великие происшествия июля месяца обратили умы в сторону, мало располагающую к игре воображения. Мы склонны предполагать, что предлагаемые страницы, следующие за сим, были написаны в 1827 году».

Маскируясь фальшивой датой, Стендаль спасает себя от преследований цензуры Луи-Филиппа!

Смена монархии Карла X монархией Луи-Филиппа, происшедшая в июле 1830 года, вполне устроила буржуазию, которая стала, наконец, полной властительницей Франции. Но занятие престола Бурбонов новыми королями биржи и банков, одним из которых был и Луи-Филипп, не изменило к лучшему положения народа, крестьянства и пролетариата. Наоборот, гнет усилился, так как капиталистическая эксплуатация трудящихся теперь избавилась от всех феодальных помех.

Трагическая история Берте характерна для новых июльских порядков еще более, чем для режима Карла X. Стендаль, который давно проник в существо буржуазной культуры и буржуазного отношения к человеку, понимал обличительную силу своего романа и в новых условиях. Вот почему он боялся цензуры Луи-Филиппа!

Силой своего таланта он возвел описание обыденного уголовного преступления на ступень историко-философского исследования буржуазного строя в начале XIX века<sup>[82]</sup>. Он первый заметил и монументально изобразил Жюльена Сореля, молодого человека двадцати трех лет, «крестьянина, возмущившегося против низкого положения в обществе мещан, которые разбогатели, и дворян, которые, обеднев за годы революции, омещанивались».

Жюльен Сорель — это Антуан Берте; жена городского головы гражданин Реналь — госпожа Мишу; девица де Кардон, которая, по словам Берте, «по своему богатству и знатности была достойна самой блестящей партии во Франции», получила в романе имя маркизы де ла Моль (сокращенная фамилия министра Моле). Служанка, выдавшая любовную тайну госпожи Мишу, в романе — горничная Элиза. Гражданин Аппер, игравший в деле второстепенную роль, также фигурирует на страницах «Красного и черного». Это был филантроп, один из самых деятельных членов «Общества по улучшению быта заключенных». В 1828 году он, ревизуя гренобльскую тюрьму, виделся с Берте и обещал за него похлопотать. По причинам политическим (Берте считали революционером,

как человека, протестующего против общественного строя и вышедшего из крестьянской среды) из хлопот Аппера ничего не вышло. Стендаль сохранил в романе его подлинное имя.

Чтобы хоть несколько завуалировать источники материала, он переносит действие из Дофине во Франш-Конте, изобретает маленький городок Веррьер и населяет городок Безансон епископом, судебным трибуналом и прочими представителями власти, которых никогда в этом городе не было. Несмотря на это, в романе проступают черты родного города автора. Добрый старый кюре Шелан, характеризуемый твердой волей и прекрасными легкими (что свидетельствует, по мнению автора, о целительном действии лесного и горного воздуха Дофине), — это вполне реальная фигура аббата-янсениста, часто обедавшего у дяди Стендаля, доктора Ганьона. Именно он однажды в споре проговорил целых три часа, держа на весу в руке ложечку с клубникой. В высшей степени интересен характер, приданный автором отцу героя. Мы видим одновременно черты хитрого и скупого, черствого крестьянина-дофинца и в то же время черты отца самого автора, оставившего слишком мало поводов для сыновней привязанности.

Французская критика подняла вопрос о наличии у героя черт автора. Об этом спрашивали самого Бейля, и он, со свойственным ему умением мистифицировать, ответил Латушу: «Да, Жюльен — это, конечно, я». Когда его двоюродный брат Коломб, удивленный, попросил подтверждения, он ответил письмом 1831 года, в котором живо протестует против самой постановки вопроса и по обыкновению отшучивается, говоря, что если бы он был карьеристом, подобно Сорелю, то, конечно, раза четыре в месяц делал бы визиты редакторам журнала «Глоб» и аккуратно бывал бы в некоторых скучных гостиных, «но у меня, — заканчивает он письмо, — удовольствия настоящего момента всегда бывают дороже всяких предвкушений»<sup>[83]</sup>.

Но в одном отношении Жюльена Сореля можно сблизить с его автором: критическое отношение Сореля к буржуазно-обывательскому населению французской провинции свойственно самому писателю. И еще одно: Бейль чтит память героев, порожденных французской революцией. Кое-какие мелочи Бейль заимствовал для Сореля из своей жизни. Например, он потихоньку читает запретные тома Вольтера и маскирует возникшие при этом на библиотечной полке пробелы тем, что расставляет оставшиеся книги на месте вынутого тома. Орфографические ошибки Жюльена на первых порах его службы — это ошибки автора, когда он попал на службу к генералу Дарю. Военные замашки Сореля и его боязнь

каким-нибудь проявлением трусости потерять уважение в собственных глазах есть также свойство самого автора. Мелкие штрихи любовных приключений, стычки с капитаном английской службы в кабачках Лондона и вызов на дуэль — все это автобиографические черты.

В образе городского головы города Веррьера, богатого дворянина Реналья, интересны черты буржуазного характера, возникшего и оформившегося в ранний период промышленно-капиталистического роста французских городов. Несколько тупой, самодовольный, действующий с оглядкой, боящийся революции, этот дворянин своей новизной и отвратительным влиянием на дух французского общества всегда привлекал внимание Бейля. В незаконченном романе «Федер» мы видим завершение этого типа в фабриканте Буассо.

Несомненно родство между «Адольфом» Бенжамена Констана и романами Стендаля, написанными на «французские темы». И там и здесь — своеобразный психологизм, анализ чувств и состояний действующих лиц. Но в отличие от Констана Бейль исследует не только индивидуальные явления, но тонко вскрывает их побуждения, вытекающие из характера капиталистического общества. Его анализ психологии героев — это анализ социальной психологии.

Проспер Мериме упрекал своего друга и учителя в «непоследовательности его героев»; он осуждал Стендаля за то, что тот «выставил напоказ отвратительные истины и раны человеческого сердца, слишком тяжкие для взоров». Даже этот холодный новеллист говорил по поводу «Красного и черного», что нельзя «так ярко освещать мерзости, прикрытые красивой иллюзией, называемой любовью». Но и Мериме вынужден признать: «Все без исключения ощущают внутреннюю правдивость этих ужасных черт».

Описывая первые дни пребывания молодого Сореля в Париже, автор с поразительной наблюдательностью изображает столкновение свободного ума и молодого характера с установившимися и омертвевшими формами полубуржуазной-полуаристократической идеологии Парижа эпохи Реставрации. Вместо того чтобы найти в сыне плотника раболепство перед «высшей» средой, в которую он попал, и грубость, порождающую зависть, читатель увидел в герое черты холодной и отточенной ненависти к этой среде, черты большого ума и озлобленной энергии. Сореля в момент его, казалось бы, полной победы губит ложность его положения. Истоцились источники, питавшие его энергию и дававшие ей естественное применение; он оказался в тупике, из которого его холодная рассудочность не могла его вывести; и в это мгновение, полное растерянности, он поддается

внезапному чувству мести, чтобы оборвать ставшую ненужной жизнь.

Буржуазная критика в истории Сореля видит историю «заслуженной неудачи завистливого и злобного плебея, ставшего патрицием». Она даже в этом не права; Сорель не увлечен честолюбивыми планами; им движет мстительность, а не честолюбие. Нет применения его силам, способности его не нужны, отсюда вырастает конфликт. Чтобы жить, нужно изворачиваться, приспособливаться. Он мог бы это делать, но, обладая ясным и честным умом, он не может не чувствовать презрения к этой манере жить, не может не чувствовать ненависти к тем, кто заставляет его так делать, прикрываясь лицемерными лозунгами и затушевывая ими неприглядную картину общественных отношений.

Автор вкладывает в уста подсудимого замечательные слова. Жюльен говорит присяжным:

«Я вижу людей, которые, относясь без снисхождения к моей молодости, желают показать на моем примере мужественной борьбы с жизнью весь класс бедствующей и угнетенной молодежи низших слоев. Обладая счастьем большого ума и большой энергии, мы дерзнули вмешаться в основы социального строя.

В этом все наше преступление, и я знаю, что оно будет наказано тем строже, чем яснее становится, что судят меня люди чуждого мне класса».

Бейль отразил один из самых замечательных фактов своего времени: «Каким образом человек, тревожимый естественной, здоровой необходимостью деятельности, беспокоимый живым и горьким сознанием своего сословного угнетения, пытается найти себе выход из того положения, в которое его ставят свойства и признаки его класса».

Июльская революция 1830 года раскрыла глаза нашему автору: он увидел, что Париж, покрытый баррикадами, представил широкое поле деятельности именно тем самым общественным низам, из которых вышел Жюльен Сорель. В одном из писем, посвященных революции 1830 года, он писал:

«Как вы хотите, чтобы двести тысяч Жюльенов Сорелей, все-таки населяющих Францию, имевших к тому же перед собой примеры продвижения барабанщика герцога де Беллюна, унтер-офицера Ожеро, всех прокурорских писцов, которые стали сенаторами и графами Империи, — как вы хотите, чтобы они в один прекрасный день не захотели сошвырнуть со счетов вышепоименованную глупость — приспособляемость? Нынешние доктринеры не имеют даже доблести жирондистов. Жюльены Сорели теперь уже прочли книгу де Траси о Монтескье. Вот отличие о г прежних поколений. Быть может, следующий террор будет не таким

кровавым, но помните 3 сентября! Народ, поднявшийся в поход на врага и уходящий из Франции, ни в коем случае не допустит, чтобы у него в тылу попы перерезали его жен. Вот удар террора, который постигнет Францию, как только она теперь захочет затеять войну».

Ко времени написания «Красного и черного» относится интересная заметка Стендаля «Лейтенант Луо, или о мотивах человеческих действий». Всеми людьми повелевает искание счастья. Но понимание счастья у людей чрезвычайно различно. Качество счастья, искомого человеком, есть то мерило достоинства характера, которое одних позволяет причислить к натурам низменным, других — к высоким. Но в основе всего должна лежать верность человека своему характеру. И Бейль описывает случай с фантастическим лейтенантом Луо, ревматиком, человеком, расположенным к простуде. Услыхав крики тонущего в холодной осенней реке, Луо сначала легкомысленно машет рукой: пусть тонет! Потом, уже не слыша криков тонущего, он задает себе вопрос: будет ли он в состоянии уважать себя впоследствии? Вместо ответа лейтенант Луо бросается в реку и спасает утопающего. В этом его чувство счастья, в этом его наслаждение, в этом его достоинство. Никаких сделок с господом богом, обещающим за подвиг тепленькое местечко в раю. Награда за добродетель в самом человеке, в этом — его счастье. Бейль говорит:

«Нужен героизм, чтобы напечатать мой трактат. Я уже отсюда вижу пятьдесят тысяч человек, отлично вознагражденных и мешающих мне его печатать. Этим людям, работающим во Франции ради денег, за деньги надо признать меня безнравственным, так же как они безнравственными признают Гельвеция и Бентама — этих лучших людей в мире...

Я уважаю краснобайство и прочие добродетели эклектических философов, и мое уважение настолько глубоко, что оно преодолевает естественное недоверие к каждому туманному болтуну, которого я имею основание считать дураком».

«Худшее из нынешних несчастий, — пишет он далее, — это то, что я философ школы Кабаниса. Я пишу книги о мотивах человеческих действий. Но так как я не краснобай и даже не маститый писатель, то, не рассчитывая на стилистические красоты, я просто собираю факты для будущей своей книги. Услышав рассказ о подвиге лейтенанта Луо, я пошел к этому человеку. «Как вы совершили это?» — спросил я его. Ответ читатель имеет в вышеизложенном...

Мне кажется, что этим я лучше всего доказал, что истинным мотивом человеческих действий является искание счастья и еще больше — боязнь страданий...

Искание наслаждений движет всеми людьми. Для меня было бы сейчас величайшим наслаждением, если бы эклектическая школа ответила мне на вызов настоящей статьи».

Бейль переходит к анализу поколений Франции. Он рассказывает о французах, родившихся после 1810 года. «Сколько людей находит выгоду в том, чтобы хвалить новую философию! Пока иезуитам не удалось перевешать всех бескорыстных ученых, самое лучшее, что они могут сделать, — это покровительствовать германскому идеализму, напускающему туман и мистику настолько, что можно заподозрить сторонников идеалистической системы в пристрастии к туману. Они смешивают в своей философии самые разнородные проблемы. А именно:

1. Науку о божестве, давая положительный ответ на вопросы — существует ли бог и вмешивается ли он в человеческие дела.

2. Науку о душе. Существует ли душа? Материальна ли она и бессмертна ли она?

3. Науку о происхождении идей и понятий. Имеют ли они своим источником чувство? И все ли имеют чувство своим источником, или некоторые, как, например, инстинкт молодого цыпленка, который, вылупившись из скорлупы, немедленно начинает клевать зерно, зарождаются в мозгу без помощи чувства?

4. Науку о том, как не ошибаются в суждениях, то есть логику.

5. Исследование вопроса, чем мотивируются человеческие действия. Исканием ли наслаждений, как говорит Вергилий, или симпатией?

6. Исследование вопроса, что такое угрызения совести (угрызения совести — это приблизительно то же, что вера в привидение, то же, что воздействие на нас суждений чужого голоса. Угрызения и клятвы — это единственные ресурсы, оставшиеся религии). Являются ли угрызения совести последствием услышанных нами речей, или они зарождаются в мозгу так же, как понимание необходимости поклевать зернышки у цыпленка?»

Бейль возмущен тем, что не обходится ни одной лекции в Париже без того, чтобы не бросали комья грязи в сторонников материализма, атеизма и гедонизма, учения о стремлении к счастью, как об основном мотиве поведения.

«Про нас говорят, что мы негодяи или по крайней мере грубые скоты. Мне кажется, что частная жизнь Гельвеция стоит частной жизни Боссюэ или любого другого отца церкви.

Добродетель пиущего — плохой аргумент. Бэкон был негодяй, торговавший правосудием, и тем не менее это один из величайших людей

новой эпохи. А сколько есть сельских попов, обладающих прекрасными добродетелями и потому особенно вредных, ибо это обскуранты!

Теперь в моде противники моих взглядов. Я с этим согласен. Но объясняется это просто: эклектическая философия пользуется покровительством власти, она греет руки около бюджета...

Сколько надо иметь мужества, чтобы бороться с модой или, лучше сказать, с пристрастием банкиров, родившихся около 1810 года, с этими пятьюдесятью тысячами попов, из которых многие образованны, красноречивы и добродетельны; с представителями правительственных кругов, которые, к сожалению, умеют читать и очень хорошо понимают, что гуманное законодательство Иеремии Бентама поражает в сердце верхушку аристократических преимуществ; и, наконец, с мнением женщин, ибо германский идеализм стремится воздействовать на женское сердце посулами небесной красоты...

Писатель, осмелившийся сейчас напечатать рассказ лейтенанта Луо, совершает почти героический поступок... Дай бог нам всем быть такими безнравственными, как Бентам и Гельвеций!»

Этот небольшой трактат о морали и материалистической философии как бы дополняет роман «Красное и черное», разъясняя идейную его суть и позиции его автора. И в этом трактате и в романе Бейль с глубоким провиденьем поставил проблемы, которые наиболее отчетливо и резко возникли перед буржуазным обществом, как только оно уничтожило последние помехи непрерывному своему обогащению.

Июльская революция устранила несоответствие между капиталистическим характером общественного строя Франции и феодально-аристократическим строем государственной власти. Буржуазия получила свободу действий. Смысл переворота отлично понял Бейль. Он писал: «Франция во главе Июльской монархии поставила банк».

Свои впечатления от июльских дней Бейль описал Сеттону Шарпу (в письме от 15 августа 1830 года):

«Ваше письмо, дорогой друг, доставило мне огромную радость. Извинением моему запозданию с ответом может служить только то, что я в течение десяти дней вообще не писал ни строки.

Чтобы вполне отдаться замечательнейшему зрелищу этой великой революции, надо было все эти дни не сходить с парижских бульваров. Кстати сказать, от самой улицы Шуазель почти до отеля Сент-Фар, где мы поселились на несколько дней, вернувшись из Лондона в 1826 году, все деревья порублены на баррикады, загородившие мостовые и бульвары. Парижские купцы радуются, что отделались от этих деревьев. Не знаете ли

вы, как пересаживать толстые деревья с одной почвы на другую? Посоветуйте, каким способом нам восстановить украшение наших бульваров.

Чем более мы отходим от потрясающего зрелища «Великой недели», как назвал ее господин Лафайет, тем более кажется она удивительной. Ее впечатления аналогичны впечатлению от колоссальной статуи, впечатлению от Монблана, если смотреть на него со склонов Русса в двадцати лье от Женевы.

Все, что сейчас было написано наспех в газетах о героизме парижской толпы, совершенно верно.

1 августа появились интриганы, которые все чуть-чуть испортили. Король, конечно, великолепен. Он сразу выбрал себе двух дрянных советников: господина Дюпена, адвоката, заявившего 27 июля, после чтения ордонансов Карла X, что он не считает себя депутатом, и второго... Простите, меня прервали, и я должен поспешно отправить вам этот клочок бумаги. Завтра я вам напишу снова. Сто тысяч человек вошли в Национальную гвардию Парижа. Наш восхитительный Лафайет стал истинным якорем нашей свободы. Триста тысяч человек в возрасте двадцати пяти лет готовы воевать. Но, кроме шуток, Париж способен отстоять себя, если действительно на него навалятся двести тысяч русских солдат. Простите мои каракули. Меня ждут. Чувствуем себя хорошо, но, к несчастью, наш Мериме в Мадриде; он не видел этого незабываемого зрелища; на сто человек героев-оборванцев во время боя 28 июля можно было встретить не более одного хорошо одетого человека. «Последняя парижская сволочь» оказалась настоящими героями революции, и только она проявила действительно благородное великодушие после битвы».

Бейль начал правильно разбираться в смысле событий еще тогда, когда они были в разгаре. Он увидел глубокую противоположность героизма народа и своекорыстности буржуазии, избравшей короля по образу и подобию своему. Он чувствовал, что люди буржуазии «испортили все», что плоды победы, одержанной народными героями революции, попали совсем в другие руки.

Из путешествия по Северным Пиренеям вернулся в Париж Александр Иванович Тургенев.

Четыре министра короля Карла X на скамье подсудимых, и народ требует их казни!

Александр Тургенев, выходя под руку с Бейлем из салона Виржинии Ансло, не без некоторого чувства дрожи произносит: «Однако как настойчиво требуют их жизни!»

Виктор Гюго во втором издании «Последнего дня приговоренного к смерти» высмеивает королевского прокурора, который, всю жизнь приговаривая рабочих к гильотине, вдруг сделался врагом смертной казни, как только речь зашла о четырех министрах Карла X, покушавшихся на жизнь и свободу Франции. Бейль вполне солидарен с народом. А что до прокурора, то автор «Красного и черного» хорошо понимает, кого прокуроры любят отправлять на гильотину!

При всем скептицизме Бейля революция произвела на него огромное впечатление и пробудила воспоминания молодости. Он вновь переживает былые дни и годы, и им овладевает бешеная лихорадка писательства. Он целые дни не выходит из дому. Час за часом, минута за минутой вспоминает он встречи с Байроном, миланский кружок, легкий запах пармских фиалок, музыку, пение и веселость южноитальянских городов и этот живой, веселый, бесконечно жизнеспособный народ, которого не могут задавить ни тяжелые кандалы австрийских тюрем, ни штыки северных интервентов! И молодой чернокудрый человек с ярко-синими глазами и черными, нежно очерченными усами, лорд Байрон, запечатленный в письмах и записях.

Бейль печатает воспоминания о Байроне, пишет короткие рассказы. Один из них называется «Фильтр», другой — «Испанское приключение»<sup>[84]</sup>.

Эти произведения печатаются в «Revue de Paris» уже в то время, когда Бейль далеко от Парижа. В декабре 1829 года господин Проспер Дювержье де Оранн в «Globe» назвал Бейля самым отсталым человеком во всей стране. Кто, кроме безнадежно отсталых людей, может придерживаться материалистической и атеистической философии в такие дни, когда Франция переживает серьезнейший банковский кризис, когда ее волнуют действительно животрепещущие вопросы о цене акций, а не размышления о природе ощущений?! А с момента победы буржуазии отсталые идеи господина Анри Бейля становятся попросту опасными... Романтики — вредное направление, а философия материалистов и атеистов настолько возбуждает умы, что было бы лучше господину Бейлю подыскать себе место где-нибудь за пределами Франции. Это пожелание новых хозяев страны вполне ответило стремлениям самого Бейля.

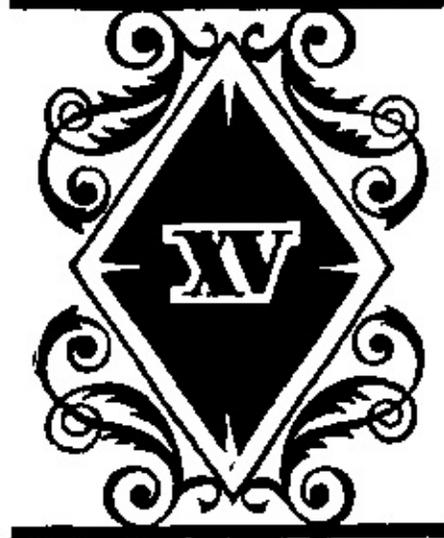
«Цвет времени переменялся», — писал он. И если в дни белого цвета для него было недоступно участие в политической жизни Франции, то теперь он чувствует необходимость бежать от нее, и возможно дальше. И он ухватился за мысль, пришедшую в голову госпоже де Траси и другим его друзьям: просить министра иностранных дел дать ему место

французского консула. Как только она возникла, так начались действия. И 25 сентября 1830 года Бейль получил назначение на должность французского консула в Триест.

Оглядываясь в своей комнате, Бейль видит груды наваленных книг, рукописей, папок. Человек воображал себя владыкой жизни. Он высказывал о людях суждения, анализировал характеры и создавал образы. Но настанет день, когда придется спросить: отпустит ли булочник за всю эту груду бумаги хотя бы один маленький хлебец? Доколе же верить в свое могущество, если обыкновенный извозчик не повернет головы на оклик этого «короля», а простой буржуа, располагающий деньгами, может оплатить шестиместную карету от Парижа до Триеста? Пора сделаться таким простым буржуа!

## ГЛАВА XV

### Г Л А В А



Записав 25 сентября короткую фразу: «Французы подали в отставку уже в 1814 году», Бейль получает пакет из министерства иностранных дел о назначении его на должность французского консула в Триест. Почти два месяца ушли на сборы и подготовку, и в начале ноября он покинул Париж.

Его охватило непреодолимое желание по дороге в Триест заехать в Милан. Австрийская полиция не посмеет теперь запретить въезд уполномоченному его величества короля Луи-Филиппа.

Предоставим слово документу на бланке префекта полиции:

«Государственному канцлеру князю Меттерниху, герцогу Порталла  
Вена, 30 ноября 1830 г.

Ваша светлость может видеть из отчета главного директора миланской полиции барона Терресани от 22–23 числа сего месяца, что тот самый француз Анри Бейль, который был в 1828 году выслан из города Милана и вообще из пределов Империи как автор многочисленных революционных памфлетов, вышедших без имени или под именем барона де Стендаля, направленных главным образом против Австрии, недавно появился в Милане проездом на Триест, куда он направляется с целью занять

должность генерального консула французского королевства. Назначение это состоялось от нынешнего королевского правительства Франции. Невзирая на то, что на паспорте Бейля не было визы австрийского королевского консула в Париже, названный Бейль дерзко продолжает свой путь в Триест на основании разрешения правителя Ломбардии.

Обрисовывая краткими чертами степень ненависти, пропитывающей названного француза по отношению к австрийскому владычеству, и в целях предупреждения правительства об опасном характере политических принципов названного Бейля, не совместимых с духом нашей политики и правительственной системы Его Апостолического Величества, я позволю себе сообщить Вашей светлости мотивированные рефераты трех произведений этого человека: «История живописи в Италии», Париж, 1817 год, фирма Дидо; второе — «Рим, Неаполь и Флоренция», Париж, 1817 год, фирма Делоне; и третье — «Прогулки по Риму», 1829 год.

Прочитав разбор названных произведений, я предполагаю, что Ваша светлость скорее предпочтет совершенно не иметь должности французского консула где бы то ни было, нежели допустить настояние французского правительства о назначении на консульскую должность в Империи такого вдвойне подозрительного человека, как Анри Бейль. Беру на себя смелость просить приказаний Вашей светлости и жду решения относительно того, может ли француз, некогда административно высланный за политические преступления из пределов австрийской монархии, ожидать решения по его делу в Триесте? Если не может, то соблаговолите приказать, какие меры пресечения следует принять относительно преступника, назначенного на должность консула.

Вашей светлости покорнейший слуга  
граф Седленицкий».

«Анри Бейль, французский консул в Триесте, барону де Марест в Париже

Триест, 4 января 1831 г.

Я подобен Августу: я пожелал овладеть империей, но, высказывая такое желание, я не знал, чего хочу. Я умираю от скуки, и никто не проявляет относительно меня дурных намерений: это ухудшает положение. Впрочем, ввиду того, что все наследство моего отца было потрачено на разнообразные опыты, я постараюсь привыкнуть к полному отсутствию людей, с которыми можно было бы делиться своими мыслями.

Я старался не произнести ни одного шуточного слова со времени моего приезда на этот полуостров, я не сказал ничего забавного, я не видал ни одной сестры встреченных мною мужчин; одним словом, я был умерен

и осторожен — и от этого умираю от скуки».

«Триест, 17 января 1831 г.

Я никогда острее не ощущал несчастья иметь близкого к разорению отца. Если бы в 1814 году я узнал, что мой father разорится, я бы сделался зубодером, адвокатом, судьей и т. д. Но быть принужденным дрожать от сознания и страха, что лишишься места, на котором умираешь от скуки, это ужасно... Вся моя жизнь окрашивается обедом, мой высокий чин требует, чтобы я обедал в одиночестве: первая скука. Вторая скука — мне подадут двенадцать блюд: огромного каплуна, которого невозможно разрезать даже прекрасным английским ножом, кстати сказать, этот нож стоит здесь дешевле, нежели в Лондоне; великолепную камбалу, которую позабыли сварить, — это в обычае страны; убитого накануне бекаса, — на него смотрели бы как на гнилье, если бы он пролежал еще два дня; мой рисовый суп приправлен семью или восемью сосисками, начиненными чесноком, их варят вместе с рисом и т. д. Что Вы хотите, чтобы я сказал? Здесь это в обычае: ко мне относятся как к знатному вельможе, и милейший хозяин гостиницы, который, встречая меня в своем доме, всегда останавливается, обнажает голову и кланяется мне до земли, конечно, ничего не зарабатывает на моем обеде, который мне обходится в четыре франка и два су. Помещение, занимаемое мною, обходится мне в шесть франков и десять су. Мое положение птицы на ветке (Клара<sup>[85]</sup> не понимает этой легкой метафоры) не позволяет мне нанять кухарку. Я чувствую себя отравленным до такой степени, что принужден есть яйца всмятку. Я придумал это средство восемь дней тому назад и весьма горжусь им.

Расскажите о моем несчастье госпоже Лазурь<sup>[86]</sup> и скажите ей, чтобы она, если она знакома с математикой, помножила всю мою жизнь на несчастье подобных обедов. Отсутствие каминов меня убивает. Я пишу вам и замерзаю. В другой комнате стоит печка, способная причинить головную боль самому грубому жителю Оверни...

Я много времени уделяю моему ремеслу. Оно вполне честно, приятно по существу, вполне благовидно. Вся моя корреспонденция полна сведениями о торговле хлебом, не думайте, чтобы Париж был самым плодовитым городом. Я познакомился с Бана-том для изучения этого рода деятельности, я проделал путешествия в Фиуме: это последнее место цивилизации...»

Следом еще письмо:

«Барону де Марест в Париж

В Триесте чувствуется соседство Турции. Мужчины ходят в широких

шароварах и в чулках, не скрепленных на коленях, ничем не прикрывая обнаженный промежуток тела между штанами и чулками. Они носят шляпы в два фута диаметром и с тульями, которые имеют в глубину вершок. Они красивы, проворны и легки. Я разговаривал с пятью или шестью из них, заплатил за их пунш и увидел, что они — милые полудикари. Их лодки чертовски отзываются прогнившим маслом, а их язык — это сплошная поэзия».

«Два раза в неделю бывает ветрено, пять раз в неделю бушует ураган. Я называю «ветрено» то состояние погоды, когда вы постоянно заняты тем, что держите свою шляпу. Ветер бора — это погода, при которой вы рискуете сломать себе руку. На днях я был отброшен им на четыре шага. Какой-то умный человек, находясь в прошлом году на краю этого маленького городка, переночевал в гостинице, не смея идти домой из-за ветра. В 1830 году было двадцать случаев переломов рук или ног»<sup>[87]</sup>.

Эти домашние жалобы консула внезапно сменились письмами иного рода:

«Барону де Марест в Париж

Триест, 24 декабря 1830 г.

Я только что получил письмо от венского посланника, господина маркиза Мезона, который сообщает мне, что господин де Меттерних отказался утвердить назначение консула и отдал приказание австрийскому посланнику в Париже протестовать против назначения меня на эту должность. Первая мысль, которую подала мне моя мизантропия, была — никому не писать об этом. Письмо господина маркиза Мезона помечено 19 декабря и дошло до меня 24-го.

Тем не менее я все же пишу друзьям... я пишу госпоже Виктор де Траси; господин де Траси, друг и бывший адъютант графа Себастьяни, сможет быть мне полезным. Я умоляю госпожу Виктор, которой, как Вы знаете, я обязан весьма многим, решать за меня<sup>[88]</sup>.

Я ничего не определяю, я только все более и более убеждаюсь, что жара является для меня и для моих сорока семи лет элементом здоровья и хорошего настроения. Итак, пусть я получу назначение быть консулом в Палермо, Неаполе или даже в Кадиксе, но только, во имя бога, не на севере. Я не вхожу ни в какие подробности с госпожой де Траси и прошу ее решать за меня.

Граф Аргу в течение десяти лет был моим другом, но в один прекрасный день я сказал ему, что наследственность пэров заставляет глупеть старших сыновей. Что Вы скажете о подобной неловкости?

Я был полон изумления от выпавшей мне удачи, но порт, где я рассчитывал найти прочное убежище, доступен веяниям северного ветра...» [\[89\]](#)

«Госпоже Виржинии Ансло в Париж.

Триест, 1 января 1831 г.

Увы, сударыня, я умираю от скуки и от холода! Вот самые свежие новости, которые я могу сообщить Вам о 1 января 1831 года... Я читаю только «Котидьен» и «Французскую газету»: подобный режим заставляет меня худеть. Для того чтобы не потерять свое достоинство, как это случилось со мною в Париже, я не позволяю себе ни малейшей шутки. Я нравствен и правдолюбив, как Телемак. Поэтому все относятся ко мне с уважением. Великий боже, какой плоский век! Как он заслуживает ту скуку, которая пропитывает его!

Я должен сказать здесь несколько слов о дикости нравов. Я нанял небольшой деревенский домик в шесть комнат, причем все эти шесть комнат вместе равны Вашей спальне; эти комнаты приятны лишь данным сходством. Я живу там среди крестьян, которым известна лишь одна религия, именно: религия денег... Лучшие красавицы готовы обожать меня ценой одного секена (одиннадцать франков шестьдесят три сантим). Черт возьми! Речь идет о крестьянках, а не о хорошем обществе. Пишу это из уважения к истине и к друзьям, которые вскроют это письмо.

Если Вы будете настолько милостивы, чтобы написать мне, — пришлите длинное письмо (прошу Вас, пусть оно будет так же длинно, как мои достоинства) по адресу: номер 35, улица Годо де Моруа, господину Р. Коломбу, бывшему директору контрибуций... Находясь в этой очарованной стране, я забыл обо всем на свете. Вы поймете степень моего отупения после того, как я Вам признаюсь, что читаю объявления в «Котидьен». Если мне когда-либо случится встретить редакторов этой газеты на улице Парижа, то совершенно очевидно, что я задушю их. Попросите объяснения этому мстительному чувству, которое никогда не будет понято Вашим сердцем, у мрачного и глубокомысленного Мериме».

После грозы из Вены Бейль, наконец, увидел просвет на своем дипломатическом горизонте, когда получил нижеследующий документ:

«Граф Себастьяни — министр иностранных дел г-ну Анри Бейлю — французскому консулу в Чивита-Веккиа

Париж, 5 марта 1831 г.

Сударь! Имею честь объявить Вам, что король счел полезным для службы назначить Вас французским консулом в Чивита-Веккиа. Его Величество в том же самом приказе от 5 числа сего месяца назначил

господина Левассера Вашим заместителем в Триесте. Будьте добры, сударь, не оставлять должности до приезда Вашего преемника и затем вручить ему лично все бумаги консульской канцелярии. Предупреждаю Вас в то же время, сударь, что я посылаю Ваш послужной список Королевскому посланнику в Риме с просьбой передать его Вам в Чивита-Веккиа, когда Вы будете занимать там место консула при Папском правительстве. Его Величество не сомневается в Вашем усердии и т. д.

Орас Себастьяны».

Австрийское правительство не имело возможности радоваться изгнанию Бейля, потому что французы назначили на место уволенного Бейля Левассера, секретаря Лафайета, раненного на июльских баррикадах. Когда австрийское правительство вторично пыталось отвести кандидата, Франция отказалась назначить третье лицо. Впрочем, французский министр не ошибался, когда говорил поверенному в делах Австрии:

— Не обижайтесь на назначение! Революция не является фабрикой легитимистов. Но по прошествии «политического детства» и у этих людей наступает легитимная зрелость.

Бейль переехал в Чивита-Веккиа в середине апреля 1831 года. Чивита-Веккиа — город в шестидесяти километрах от Рима. Дилижансы сюда ходят два раза в неделю. Пустынный берег, водоросли, выброшенные на камень, песок, золотой и горячий. Красные черепицы крыш, пыльные улицы. Жарко. Большая ограда, за которой работают каторжники, остролицый, с ярко-голубыми глазами, черноволосый Гаспароне, предводитель огромной шайки бандитов, выданный своим товарищем и только потому попавшийся папским жандармам, молодые карбонарии, взбунтовавшиеся семинаристы Римской духовной семинарии; люди, прикованные к тачкам, люди в кандалах. Кладбище, где всевозможные Иннокентии, Урбаны, Григории, Львы из фамилий Орсини, Кьяромонти, Боргезе, Людовизи, Мела... На серых мраморных памятниках, обожженных солнцем, запыленных и местами покрытых травой, — папские тиары, ключи, золотые пчелы Барберини, странно напоминающие бонапартовский герб, флорентийские лилии, похожие на герб Бурбонов, сотни символов старинных веков и прошлых поколений. Это усыпальница римской церковной знати.

В километре от грязной пристани — консульская вышка, откуда виднеется море, белые пенистые валы. Паруса бригантин целый день маячат на горизонте. Вечером наверняка где-нибудь на побережье будет высадка. Привезут ли английское оружие карбонариям Романьи, или табак

для контрабандной продажи— это не интересует нового консула.

В мундире с восемнадцатирядным золотым галуном он подъехал в коляске к «дворцу» — низкому грязному дому кардинала-губернатора. Г-н Галеффи — маленький старичок в красном сюртуке и пурпурном кардинальском жилете, испачканном табаком, вынимает из кармана ярко-зеленый платок и становится совсем похож на попугая, когда словно клюет этот платок своим острым птичьим носом, для того чтобы чихнуть.

Г-н Бейль держит под мышкой треуголку с белым плюмажем. Они вместе выходят на балкон. Французское судно «Алерт» поднимает папский флаг с ключами и тиарой, над домом кардинала поднимается трехцветное французское знамя. Французский корабль дает пушечный салют. Кардинал, прощаясь после короткого визита, заявляет консулу, что «нет надобности превращать Чивита-Веккию в обильно посещаемый порт: чем спокойнее живет в владениях святого отца, римского папы, тем легче господину французскому консулу! Чем меньше путешественников, тем меньше подозрительных людей!»

У нового консула г-на Анри Бейля много книг. Кабинет завален рукописями, бритвенные приборы валяются тут же на кожаном диване. Внизу, в канцелярии секретаря консульства — г-н Лизимак Тавернье, грек, недоброжелательно говорящий о Байроне, ибо если бы иностранцы не вмешались, то греки спокойно продолжали бы свое существование, а сейчас, после греческих восстаний, его родители эмигрировали, все имущество потеряно, и г-ну Лизимаку приходится влачить жалкое существование в консульстве Франции.

Ленивый старый консул уехал. Он оставил погреб прекрасных орвиеттских вин и горячо рекомендовал Бейлю выгнать Лизимака.

У консула много свободного времени. Он проводит его в прогулках, в посещении раскопок и за письменным столом. Что он пишет? Лизимак этим очень интересуется... Как удивлен он был бы, если бы прочел следующие строчки:

«Трижды, а может быть, и четыре раза в жизни счастье золотого обогащения стучалось в мои двери. В 1814 году лишь от меня зависело получение должности главного директора Парижской военно-хлебной биржи. Бенью предложил мне это в день возвращения Бурбонов. Во мне вызвало омерзение то количество сделок и низостей, которые сопровождали деятельность такого рода. Я отказался»<sup>[90]</sup>.

«Я должен был быть убитым не менее десяти раз эпиграммами и колкими словечками», — пишет дальше Бейль. Эпиграммы и колкие словечки исходили от настоящих коммивояжеров литературы, которые

пытались, сами не написав ни строчки, доказать, что Стендаль занимается теми же подлостями, что и они, а его наблюдательная позиция и их удобное искание хлебных мест и хозяйственных должностей являются одним и тем же отношением к жизни. Отвечая на это, Бейль пишет:

«В общем, мой дорогой читатель, я не знаю, каков я есть: честный, злой, остроумный или глупый. Я великолепно знаю лишь вещи, которые меня огорчают или доставляют мне удовольствие. Я знаю, что для меня желательно и что вселяет в меня ненависть.

Я знаю, например, салон разбогатевших провинциалов, полный показной роскоши и скупленной старины. Мне он до глубины души отвратителен. За ним по степени вселяемой в меня ненависти идут салоны каких-нибудь маркизов или командоров ордена Почетного легиона, выставляющих напоказ свои христианские качества.

Лучше всего я чувствую себя в гостиной, где собирается общество не больше восьмидесяти человек. Это милые люди, блещущие остроумием беседы. Там в половине первого ночи подается легкий пунш, это люди моего круга, и я гораздо более люблю слушать их, нежели говорить самому, и очень охотно впадаю в состояние молчаливого счастья. Если я говорю что-нибудь для них, то только «для того, чтобы оплатить свой входной билет».

Из попытки завести связи с консулами других городов ничего не выходит, и остается очень тяжелый осадок на сердце.

Г-жа Ламартин, супруга представителя Франции во Флоренции, кричит и бранится с поварами и в то же время считает себя романтической женщиной, одаренной возвышенными чувствами. Ведь ее муж — поэт! Да, но поэт с утерянной славой... Его стихи, отличные по форме, были мертвы своим неопределенным, оторванным от жизни, мечтательным романтизмом. Горячие, овеянные дыханием борьбы нового со старым стихи романтика Гюго вытеснили поэзию Ламартина. Он избрал дипломатическую карьеру, чтобы в прекрасном городе Данте похоронить свои мечты о подвигах, о почестях, о славе. Г-жа Ламартин, христианка, одна из прихожанок Сакре-Кер-де-Монмартр, не разрешила своему супругу принимать остроумного, наблюдательного и прекрасно знающего Италию господина Бейля. Эта «индюшка, проглотившая аршин», не предполагала, какую огромную пользу могли бы принести ее мужу эти визиты: если бы разочарованный, реакционный романтик Ламартин хоть чуточку обладал практическим смыслом, он мог бы многое узнать у Анри Бейля о настроении всех слоев населения любой области Италии, и его донесения в Париж создали бы ему славу отличного дипломата.

Господин Моле, сменивший Себастьяни на посту министра иностранных дел Франции, не без удовольствия получал дипломатические записки, испещренные мельчайшими пометками, цифрами, сведениями. И он подумал, что не так уж плох дипломатический корпус Франции, если приходят такие отчетливые, ясные, стройно изложенные сведения о политическом, общественном, экономическом, хозяйственном и религиозном состоянии Папской области и всех других областей Италии. Но так как записки, написанные всегда одним и тем же почерком, были частью зашифрованы, то г-н Моле поручил своему секретарю ознакомиться с автором записок и дать ему точнейшую расшифровку всех присылаемых дипломатических информации этого лица<sup>[91]</sup>. Увы, этим лицом оказался отнюдь не господин Ламартин — прекрасным дипломатом оказался господин консул в захолустной Чивита-Веккии Анри Бейль!

— Знаете ли вы, что это за человек? — спросил Моле своего помощника, молодого вылощенного карьериста.

— Какой-нибудь чинуша, желающий выслужиться, — ответил помощник министра иностранных дел.

Моле поморщился.

— Нет, это не парижский чиновник министерства иностранных дел! Это замечательный писатель Анри Бейль.

— Ах, вот как, ваше сиятельство? — подобострастно спросил чиновник. — Что же он написал?

Моле терпеть не мог лакейского тона.

— Он написал, — сказал он, ударяя по зеленой папке, — вот эти документы, свидетельствующие о том, что в Италии не все благополучно в смысле торговых и политических соглашений с королевским правительством Франции. Что же делают остальные консулы, если я только на одного могу положиться?

Выскочив из кабинета как ошпаренный, помощник г-на Моле распек всех секретарей, адъюнктов, делопроизводителей и старших и младших чиновников, которые вовремя не догадались сказать ему, что какая-то консульская крыса Бейль находится в числе лиц, удостоенных внимания г-на министра иностранных дел. Через полчаса, однако, помощник Моле был успокоен: ему дали, кроме переписки господина Бейля, еще протест французского посла в Риме по поводу того, что Бейль пишет непосредственно в министерство, не считаясь с волей и желанием господина

Генерального консула Франции в столице владений его святейшества папы римского.

Итак, господин Бейль получает от помощника министра иностранных дел строжайший выговор с предупреждением, написанный приблизительно в тоне русской поговорки «Не суйся с суконным рылом в калашный ряд».

«У вас есть прямое начальство, пишите ему. А я из-за вас получаю выговоры от господина министра иностранных дел. Я знать не знаю и не желаю знать никакого Анри Бейля. Для меня есть господин Сент-Олер — французский посланник в Риме, имеющий полное право пересылать или не пересылать все, что вы пожелаете отправить в адрес министерства иностранных дел».

## ГЛАВА XVI



Свое одиночество Бейль скрашивал обширной перепиской, подписываясь по обыкновению самыми неожиданными именами: «Граф Шанж», «барон Рельгир», «граф де Шабли», «барон Дорман» или «генерал Пелле», «А. Лепренс де Валлер», «Мартен», «барон Резине», «Л' Анньюе», «А. Л. Фебюрье», «Симон», «Дюран», «барон Бриссе» и, наконец, «Котоне», — вот псевдонимы Анри Бейля за 1831–1832 год.

Проспер Мериме частыми письмами поддерживал хорошее настроение своего друга Анри Бейля. Хотя он и говорил, что июльская революция сделана «специально для него и в его пользу», но дальше инспектора исторических памятников Франции его карьера не пошла. И он целиком отдался литературе. Все свои новые вещи он отсылает учителю своему, Стендалю, чтобы получить его отзывы, его критику.

Под Парижем живет жена чиновника Готье, такого же спутника юного Бонапарта по Италии, как и сам Анри Бейль. Г-жа Джудитта — имя такое же, как у Паста, — Юдифь Готье, лучшая из встреченных женщин после Метильды. Обстоятельства сложились так, что пришлось уехать в Италию в качестве консула, не успев даже закрепить этот внезапно вспыхнувший

союз. Так протекает вся жизнь: из дилижанса в гостиницу, из гостиницы в дилижанс. Странствовать приходится по пустыням духа, по вершинам сердца, по самым таинственным и неисследованным Сахарам и арктическим тундрам человеческого характера! В Версале, на дорожке, еще не высохшей от капель дождя, утрамбовавшего песок, произошло короткое расставание с Юдифью Готье, а затем наступила многолетняя разлука и переписка, которая со стороны Бейля становилась все горячее и признательнее, а со стороны этой милой и умной женщины все холоднее и страннее. У нее вырабатываются привычки, которые никогда не бывают свойственны молодым женщинам высокого ума; она начинает просто уставать от жизни. Так мягко называется тот период, за которым наступают одряхление мысли и полное угасание чувств. Но Бейль этого не чувствует, ибо он думает о себе: «Я животное, своеобразно изобретенное природой. Олимпийские боги сделали меня таким. Я в этом отношении не виноват». Веселость этой фразы не понята госпожой Готье.

«Тени этрусских богов витают над здешними берегами. Вручая себя их покровительству, я буду считать, что дипломатическая неудача есть счастливое возвращение меня на писательский путь», — пишет Бейль Юдифи Готье<sup>[92]</sup>. Жизнь коротка, а сделать нужно невероятно много, и, быть может, потому жизнь так коротка, что каждое мгновение наполнено насыщенной искристой жизненностью.

В романе, набросок которого носит заголовок «Une position sociale», Бейль выводит некоего Рузара, секретаря посольства, причем все герои даны как социально обусловленные фигуры. Замысел остался неосуществленным.

Бейль вел переписку и с Жакмоном, редактором многих его произведений. Виктор Жакмон был офицер наполеоновской армии, немедленно перешедший после Реставрации на службу во Французскую Индию. Талантливый и благородный человек, он уехал из Франции, чтобы не видеть оподления нравов, охватившего и наполеоновское офицерство при Реставрации. Он был тем искренним и горячим другом литературы, для которого книга является источником колоссального духовного обогащения и такую же необходимость в повседневной жизни, как вода и воздух. Его любовь к литературе и свойственное ему удивительное ощущение правильности и неправильности французского языка побуждали Анри Бейля обращаться к Жакмону как к редактору. Виктор Жакмон умер 7 декабря 1832 года в Бомбее и не получил письма Бейля с высокой оценкой его редакторской работы. Бейль получил последние письма Жакмона через девять месяцев после его смерти, когда он уже знал, что полковника

Жакмона нет в живых. Еще одна нить оборвалась.

Запаздывают французские газеты. Плохо приходят книги из Франции. В письмах стоит перечень посылаемых книг, но они не получены. И когда посол в Риме Сент-Олер делает запрос кардиналу, тот вызывает семинариста, дежурящего в порядке практики в цензурной каморке на таможене. Семинарист, подловато улыбающийся и грязный, показывает кардиналу Галеффи целый ряд безбожных сочинений на всех языках, которые получает французский консул в Чивита-Веккии.

«Что ты, что ты! — кричит Галеффи. — Ты хочешь, чтобы меня арестовали карбонарии! Оставь этому французу его книги! Неужели ты хочешь, чтобы я испытал судьбу болонского кардинала?!»

Действительно, в один из ясных зимних месяцев 1832 года кардинал — градоправитель города Болоньи — был на рассвете похищен вместе со своей дамой сердца и найден в соседней роще привязанным к дереву без каких бы то ни было признаков насилия и оскорбления, но без одежды.

В секретных пакетах, приходящих из Парижа, сообщается о том, что молодой итальянец Маццини, бывший карбонарий, отсидевший положенное количество времени, организовал новую революционную группу отчаянных головорезов и направляется в Италию. Французские представители в Италии не должны оказывать никакой помощи этим людям.

Консул в Чивита-Веккии ни в коем случае не хочет изменять идеям французской революции. С какой стати лишать таких достижений, как «Декларация прав человека», итальянского человека, несколько не похожего на буржуазную скотину? Но Бейль не удивлен позицией министерства иностранных дел. Он знает, что творится в самой Франции: буржуазная революция открыто превратилась в подлинную контрреволюцию, в политику, направленную против народа. В 1831 году в Лионе изголодавшиеся, измученные рабочие просили увеличения заработной платы. Началась стачка, перешедшая в восстание. Французские войска, некогда побеждавшие под знаменами Конвента, расстреляли безоружных рабочих. В Париже молодежь Политехнической школы вышла на улицу в день похорон популярного генерала Ламарка. Город покрылся баррикадами, едва не повторилась революция 1830 года. Аристократия пыталась поднять голову. В аристократической церкви Сен-Жермен-Локсерруа в годовщину смерти герцога Беррийского была отслужена панихида. С его портретом старые княгини, графини, маркизы и графы двинулись по улицам Парижа. Однако рабочие Парижа разметали их в пух и прах. Они сожгли храм Сен-Жермен-Локсерруа и дом архиепископа

парижского.

23 февраля 1832 года французский консул получил секретный пакет, привезенный специальным курьером министерства иностранных дел. Лизимак, покрасневший как рак, выходит из комнаты после вторичного настояния Бейля, нахмурившего брови.

В североитальянских городах вновь начинается революционное движение. Папская власть не в состоянии сделать что-либо для предотвращения развертывающихся событий, происшедших после того как герцог Моденский... Бейль бросает пакет, быстро роется в своих записях и читает набросок:

«Изобразить герцога Моденского в тот момент, когда он притворяется сторонником патриотов, рассчитывая в случае их успеха сделаться конституционным королем Италии, а в случае их неудачи вызвать австрийские войска».

Бейль вспоминает: 4 февраля 1831 года в городе Модене вспыхнула революция, немедленно подавленная. Чиро Менотти был ранен, схвачен, дом его был обстрелян артиллерией уже тогда, когда все повстанцы успели подземными ходами убежать на окраину города. В заговоре Чиро Менотти участвовал, как оказывается, племянник Наполеона Бонапарта, Шарль-Луи Бонапарт, ныне находящийся где-то в областях, пограничных с Францией. Менотти очень немного времени провел в Модене, его затребовали австрийские жандармы и казнили. После казни герцог Моденский, испуганный народным движением, должен был эмигрировать из своего герцогства.

Моденский разгром не остановил заговорщиков. В Романьольской области — в коренной вотчине римского папы Григория XVI — города восстали один за другим: в Болонье швыряют гранаты и стреляют в законных властей, облеченных святостью церкви; в Перуджии выступили карбонарии в красных поясах и с кинжалами; в Фолиньо народ поднялся с вилами, косами, серпами и рыболовными сетями; в Парме убивают цепами попов и жандармов; в Урбино горные пастухи кнутами выстегают глаза конным жандармам, нагоняя на них огромные стада коров с разъяренными быками; в Пезарро с высокого холма скидывают обломки скал на проезжающий эскадрон австрийских гусар; в Фано все комбинированные роды оружия гражданской войны применяются против Австрии и римского папы; в Синигалья, в месте знаменитой западни, устроенной Цезарем Борджиа для враждебных кардиналов, повстанцы применили этот же самый прием к своему властителю: ему были обещаны мир и пощада, и когда он приехал, карбонарии вышли к нему без шляп, без оружия,

встретили его коленопреклоненными и, целуя ему руки, надели на него кандалы.

Низложенные государи всех этих областей, правители, кардиналы, князья, отдельные итальянские подесты съехались в Вене просить австрийского императора о помощи. Правительство Луи-Филиппа, отказавшее в поддержке полякам и бельгийцам, сочло невозможным вблизи своих границ терпеть усиление Австрии. Вот почему французский министр Лаффит, владелец парижского банка, высказался за агрессию по отношению к Австрии, если та откажется от нейтралитета в итальянских событиях. Но Луи-Филипп струсил, Лаффит принужден был выйти в отставку, и австрийцы совершенно свободно — расправились с восстанием во всей Северной Италии. Они захватили Парму, Модену, Болонью, Анкону. В последнем городе сосредоточены были все инсургентские войска. Анкона не сразу сдалась. Население согласилось прекратить вооруженную борьбу только при условии раз решения повстанцам выйти из Анконы с оружием в руках. Австрийцы вероломно нарушили это условие. Как только к югу от Анконы появились крестьянские повозки, а по боковым дорогам пошли вооруженные люди, эскадрон австрийских гусар окружил их и обезоружил. Повстанцы переполнили австрийские тюрьмы...

Это было год назад. Обо всем этом помнил Бейль, как знал он и о том, что в начале 1832 года волнения в Папской области возобновились. Чего же хотят теперь эти трусливые господа из Парижа?

Ага, нечто новое! Австрийцы решили опять вмешаться и ввели свои войска в папские владения. Франция отправила в ответ три корабля в Анкону и высадила здесь экспедиционный корпус. Бейлю приказано немедленно выехать в Анкону в экспедиционный корпус в качестве политического комиссара Франции!

В Анконе Бейль с присущей ему энергией и деловитостью выполнил поручение своего правительства: этот пограничный пункт и ключ к Северной Италии с моря на шесть лет был оккупирован французами при активном участии консула из Чивита-Веккии.

Произошла ли в это время в Анконе или в другом месте встреча Бейля с Маццини, пока еще нельзя установить.

## ГЛАВА XVII



Кончились бурные дни Анконы, когда вновь веяло воздухом если не 1800, то 1821 года... И потекли опять скучные будни. «В 1832 году главная трудность для меня в том, чтобы привыкнуть и не рассеиваться, когда приходится таксировать вексель на 20 000 франков». Бейль для рассеяния уезжает в Рим. Однако, поднявшись со дна души, воспоминания не хотят улечься. Они все сильнее захватывают Бейля... Но ему и теперь, спустя пятнадцать лет, мучительно переживать сладостную горечь миланской жизни 1817–1821 годов. Метильда... И он вызывает из своей памяти другие годы, годы парижской жизни, сменившей миланскую.

20 июня 1832 года Бейль в Риме начинает «Записки эготиста» — о девяти годах жизни в Париже, с 1821 по 1830 год. Он пишет лихорадочно быстро — записи его датированы 20, 21, 23, 24, 25, 26 и 30 июня, 2 и 4 июля... За эти дни он успел написать около 10 печатных листов. «Записки» обрываются на 1822 годе, когда Бейль вернулся в Париж из Англии.

После 4 июля 1832 года он более к ним не возвращался. Написанные им страницы полны тоской от неудовлетворенной страсти — Метильда преследует его. Быть может, по этой причине он и отложил перо в сторону?

Но ненадолго. Он принимается за новую большую работу.

В 1832 году в Лионе вспыхнуло восстание сорока тысяч ткачей. Оно было потоплено в крови. А в Париже в июне этого же года происходили баррикадные схватки с полицией и войсками. Ими руководили члены тайных «Общества прав человека» и «Общества времен года» (вспомним, что так же было организовано карбонарское движение). Во Франции пробуждается для активной политической жизни новый класс — рабочие. Они берутся за оружие, доведенные до отчаяния голодом и безработицей. Эти люди еще не осознали своей силы, они еще не понимают, как им действовать против буржуазии и ее государственной власти. Но они страдают...

Бейлю ясно было, что Луи-Филипп становится ненавистен французскому народу, и он внимательно присматривался к событиям во Франции. В Чивита-Веккии так трудно узнать подробности, характерные черты событий! Однако Бейль не отступает перед трудностями. И он берется за то, чтобы здесь, в этой итальянской глуши, изобразить колоссальные перемены, происходящие во Франции; офицеры должны вести французские войска не против действительных врагов Франции, но против беззащитных рабочих. Итак, изобразим состояние Люсьена Левена! Это сын банкира-богача, выходца из простонародья, ныне помыкающего министрами Франции. Улан королевской гвардии испытывает тягчайшую внутреннюю борьбу, он должен в маленьком французском городке поднять оружие против своих же сограждан.

Глава дописана, и это уже не первая глава... Но, чтобы не повторилась странная история с неожиданными пятнами на рукописи, с перевернутыми чужой рукой листками, лучше писать дипломатическим шифром. Анри Бейль изобретает свой, сделанный по методу Лягранжа, язык цифр. Зашифрованный роман он переписывает в зеркало; затем оригинал бросает в камин, рукопись оставляет на столе и, повесив полотенце на ручку двери так, чтобы закрыть замочную скважину, приподнимает кусок паркета и прячет шифр<sup>[93]</sup>.

Так начинается новый период жизни: создание зашифрованного романа о современной Франции. Когда «голова горит и кровь стучит в висках» так же, как у Байрона во время писания «Дон-Жуана», появляется потребность выйти на свежий воздух, смотреть на далекие облака, проехаться верхом по дороге, ведущей на Орвиетто, или пойти на берег с ружьем и стрелять птиц. Наступает вечер, и быстрые средиземноморские сумерки мгновенно смывают пурпурную, золотую и лиловую краску с облаков. По полутемным улицам Анри Бейль идет к дому с мраморной

доской. Маленькая витрина закрыта бархатной занавеской. Там боги и амуры из мрамора, лепные изображения, красные глиняные сосуды с черными изображениями. Надпись на доске: «Донатто Буччи — антиквар». На короткий стук молотка дверь открывает сам хозяин с усталой старческой улыбкой, в золотых очках и бархатной шапочке на голове. Начинается длинный разговор. Книги и статуэтки окружают стоящий на черном бархатном постаменте бюст Винкельмана — искусствоведа, родившегося в маленьком саксонском городке Стендале. Вторая дверь ведет на зеленую веранду, а за нею открывается обыкновенный итальянский — крытый, мраморный cortile — дворик, в центре его фонтан.

Синьор Блази — археолог, адвокат Манци и Буччи за блюдом жареных артишоков и кофе в маленьких кофейных чашечках проводят вечера в разговорах о римской истории; читают Плиния, останавливаясь на тех местах, где этот сибарит, эстет и блестящий человек своего столетия описывает «Xistus violis odoratus» — «цветник из фиалок» — свой маленький домик. Они изучают весь уклад жизни человека гораццианской эпохи, знающего «золотую меру вещей», умного, спокойного, ясным, понимающим взором оглядывающего мрачные картины падения Рима.

Донатто Буччи и адвокат Манци, его друг, сделали очень много для того, чтобы двинуть вперед археологическую науку Италии. Они первые начали раскопки в Корнето и первые обнаружили этрусскую скульптуру на территории Италии. А г-н Бейль дал в *Revue des Deux Mondes* первый отчет о находках в гробницах Корнето<sup>[94]</sup>.

Поздно ночью с легким шумом в голове от пунша Анри Бейль шагает к воротам консульского дома. Дежурный семинарист, проводив его, тихонько направляется к дьякону-префекту с докладом — целомудрие французского консула Бейля нарушено пребыванием в масонско-еврейской компании Блази, Манци и Буччи. Не менее опасений внушает римским шпионам и встреча французского консула с польскими повстанцами в Риме; его открытые симпатии польскому восстанию нарушают благопристойность вечеров у русской католички Зинаиды Волконской.

Ее сын Александр Никитич Волконский вместе с господином Бейлем посещает антикварные лавки и патрицианские архивы Рима. Там до покраснения век Бейль копирует старинные латинские грамоты, документы средневекового и папского Рима, протоколы инквизиционного и папского суда. Бейль ищет в прошлом объяснения нынешнему итальянскому характеру и, наклоняясь к своему соседу, молодому князю Волконскому, показывает ему описание потрясающих событий старинной Италии. Он говорит:

— Это вовсе не бандиты, не разбойники! Это настоящие люди старой Италии!

Здесь же, в Риме, Бейль вновь встретился со своим старым знакомцем А. И. Тургеневым. 5 декабря 1832 года Тургенев пишет:

«Выехали мы из Неппи в 9 часов утра. Увидел я с пригорка Рим. В 10 приехали мы ко второму завтраку, и тут встретил я Беля (Стендаля) и показал ему его книгу. (Речь идет о втором издании «Красного и черного». — А. В.). Он советовал въехать в Черн... и дал мне записку к нему. В 12½ мы опять пустились в путь, 6 декабря Бель прислал мне Мишелета «Римская история»<sup>[95]</sup> при умной записке и остерегал от чичероне, коих имя начинается на «В». Вероятно, Висконти. Спасибо. День достаточный для меня и по папе и по Ватикану».

Тургенев приводит выдержку из письма Стендаля, не опубликованного доселе нигде:

«Несмотря на величие и поэзию Ватикана и Святого Петра, мое воображение не воспламеняется. Дух итальянских изгнанников наводит меня на прозу и печальные мысли. Процессии священников и папских слуг не могут прогнать мысль о другой, прекрасной и бедной Италии, которую ясно видит мой бедный разум».

8 декабря Тургенев записывает:

«Обедал у княгини Волконской. После — у Беля, к Сент-Олеру и графу Сиркур»<sup>[96]</sup>.

В записях Тургенева от 9 декабря мы читаем:

«В десятом часу отправился к Белью, застал его еще в постеле. Условились на завтра<sup>[97]</sup>. Виск (ти)<sup>[98]</sup>... шпион папского правительства». Восстанавливаем чтение фамилии «Висконти», потому что тут же говорится о сходстве этого шпиона папского правительства с Козловым, а в записи 8 декабря есть прямое указание: «Висконти пошел на Козлова и лицом и выражением».

«10 декабря. Продолжаю читать Тассо. В 12 часов зашел за мною Бель (Стендаль), и мы отправились осматривать Рим, прежде всего в церковь св. Петра, ибо, по мнению его, ниоткуда Рим так хорошо не виден, как с этой горы». Страницы 12–15 дневника описывают эту совместную прогулку по Риму. Запись от 13 декабря кончается: «Условился я с Белем завтра рискнуть опять на Рим».

14 декабря провели вместе на вечере у леди Ковентри.

Тургенев писал Вяземскому восторженные письма о своих встречах со Стендалем. Вяземский отвечал ему такими словами:

«Недаром судьба свела тебя со Стендалем. В вас есть много сходства, но тебя не станет написать «Красное и черное», один из замечательнейших романов, одно из замечательнейших произведений нашего времени. Я Стендаля полюбил с «Жизни Россини», в которой так много огня и кипятка, как и в самой музыке героя».

После одной из таких прогулок к Сен-Пьетро ин Монторио на Якикуле Бейль вернулся домой и записал:

«Я, Анри Брюлар, написал нижеследующее в Риме от 1832 до 18... года»<sup>[99]</sup>.

Автобиографическая исповедь Анри Брюлара начинается словами:

«Солнце светило великолепно. Легкий, едва заметный ветерок сирокко гнал кое-где белые облачка над вершиной Альбано. В воздухе была восхитительная теплота, и я ощущал подлинную радость жизни. Я отлично различаю Фраскатти и Кастель-Гандольфо в четырех милях отсюда, виллу Альдобрандини, где находится великолепная фреска Доменикино — «Юдифь». Я отлично вижу белую стену — результат ремонта, произведенного в последний раз князем Боргезе, тем самым, которого в качестве кирасирского полковника я видел в битве при Ваграме, когда моему другу М. оторвало ногу....

Это место единственное в мире, — говорил я себе в раздумье. И древний Рим помимо моей воли брал верх над новым, — все воспоминания из Тита Ливия толпой нахлынули на меня...

Через три месяца мне будет пятьдесят лет. Возможно ли? 1783–1793—1803... я считаю по пальцам, и 1833... Это пятьдесят. Возможно ли — пятьдесят!

Мне стукнет пятьдесят лет! И я запел арию Гретри: «Прожив десятков пять на свете...»

Это неожиданное открытие ничуть не огорчило меня. Я только что думал об Аннибале и римлянах, т. е. все великие — они умерли. В конце концов, сказал я себе, я не так плохо провел свою жизнь...

Я сел на ступеньки Сен-Пьетро и размышлял об этом час или два: мне стукнет пятьдесят лет. Давно пора познать себя — чем я был, что такое я в настоящее время. Поистине мне было бы весьма трудно это сказать».

Так возник автобиографический роман, один из интереснейших документов этого жанра.

13 декабря 1832 года в письме № 87 из Рима Тургенев писал своему брату:

«Мадам Циркур (правильнее Сиркур. — А. В.), урожденная Хлюстина, угощала меня обедом, Ватиканом, подземельем св. Петра и ученым

чичероне Висконти. Я многое уже осматривал».

«Бель (Стендаль) пять часов просидел со мной, и разговор его о нынешнем Риме интереснее его книг. Его здесь не любят — даже и между французами. Но для меня он полезен, и я опять пойду с ним гулять по Риму».

20 декабря 1832 года в письме № 88 своему брату Тургенев дописывает:

«Я много видел, но беспорядочно и без ученого толкования. Только Висконти и Бель недавно были еще со мной. И с посетителями провел я еще целое утро. Брюлов написал мой портрет, уверяют, что очень похож».

Терпимость Стендаля относительно друзей была чрезвычайно велика — ведь он знал, что его приятель Тургенев проводит много часов со шпионом Висконти, с враждебными ему лицами. 23 декабря 1832 года мы находим такую запись у Тургенева:

«Радовиц увел меня и всю дорогу до Корсо объяснял мне свою систему права, на христианских началах основанную. Бель внезапно разлучил нас. Водил меня долго по городу».

«Болтал с Келлером, поверенным в делах вюртембергских. По его мнению, Италия накануне революции, а Тоскана только толеррует свое правительство. Все готово вспыхнуть, как скоро австрийские войска оставят папские владения. Бель так же думает».

30 декабря Тургенев был в Ватикане.

«...Переодевшись и не застав Бея, я поехал к Рожалину» (другу Соболевского. — А. В.).

«Из очаровательного для нас замка Роспиньоре приехали мы к Санта-Мария Ангелов или Чертоза, где я был прежде, но только в монастырской ограде с Белем. Я прошелся по горе Пинчио. В четыре часа поехал я в церковь французскую, обедал у французского посла, затем к Сент-Олеру, где любезничал с его дочерью и балагурил с Белем. Наступила ночь на Новый год».

Бейлю он передал свои впечатления от приема у папы.

«Римский первосвященник в белой одежде, обсыпанной табаком, не убранные выделения из носу, попавшие мимо носового платка, красные туфли, на коих вышиты золотом кресты. В комнате стол, покрытый бумагами, и другой с книгами и двумя вазами».

Еще более сблизились Бейль и Тургенев в 1833 году. 15 января 1833 года в письме № 93, из Рима, Тургенев пишет брату Николаю:

«Вчера послал тебе с живописцем Верне № 92. Вечером у Гурьева видел «Антигону» Альфиери. И читаю Тассо. Еду сейчас с Белем

(Стендалем) осматривать Рим, а вечером опять у Гурьева и в чтении журналов. Брюлов намарал карандашом вчера в альбом Гурьева мой портрет, и очень сходно; я представлен читающим французский «Квотидьен», который мы здесь получаем. Портрет Кестнера неудачен. Я похож в нем на Д. П. Татищева».

С Бейлем Тургенев советуется о покупке этрусской вазы (которая оказалась поддельной).

В апреле Тургенев целыми часами просиживает у Бейля. 12 апреля он записывает;

«Был у Беля. Есть письмо его к банкиру Ленэ. Французский консул сообщил расписание пароходов в Марсель и Неаполь».

И далее:

«Я, может быть, съезжу в Чивита-Веккию к приезду Жуковского, но не поеду на пароходе, а возвращусь сюда и отправлюсь немедленно с Ангригом, дабы избежать моря, которое помешало бы мне наслаждаться беседою Жуковского. А я приеду в Неаполь днем позже его. Так как дилижанс приходит в Чивита-Веккию три раза в неделю, то я должен выехать

19 или 21. Посоветуюсь с консулом Белем, который вчера заходил, но не застал меня, и улажу с ним свою поездку к Жуковскому».

«18 апреля обедал у французского посла, а вечер провел у Торлонья. Это крупный римский банкир», — пишет Тургенев. Страничка дневника кончается словами: «Получил от Беля бюст Тиберия в подарок». Французский консул увлекался в это время археологией. Бюст Тиберия был найден крестьянином во время пахоты на собственном поле и немедленно куплен Бейлем. Он заказал с него несколько гипсовых слепков. Один из этих слепков подарил Тургеневу, чем привел его в полное отчаяние. Русскому путешественнику было довольно трудно возить с собою гипсовую громадину.

Полушутливо-полувосторженно описывает Тургенев в письме Вяземскому поездку в Тиволи с Бейлем. (Она опубликована в академическом издании «Архива братьев Тургеневых», а новая ее редакция, взятая непосредственно из архива, была опубликована мною в Париже у Тэксье в 1928 году в книжке «Русские встречи Стендаля».)

«24 апреля 1833 года в шесть часов вечера с тремя римлянами и с англичанином выехал я из Рима».

«Мы увидели укрепления Чивита-Веккии и часового на одном из бастионов. В три часа пополудни я был уже в трактире, отыскал французского вице-консула и нашел его на канапе, с греческими и

французскими книгами, коими сокращает он скучное время. Я отдал ему письмо Беля, и он немедленно предложил мне свои услуги. Мы обошли город и пристань, видели этрусские вазы здешнего французского антиквария, посетили археолога Манци, коего знавали по журналам «Археологического общества» в Риме, и осмотрели пристань, построенную императором Трояном. Плиний пишет, что он видел здесь Трояна, осматривающего строения гавани, огромные каменные кольца, прилитые к пристани из времен Трояна. Почти все женские лица, кои я здесь встретил, красивы, некоторые прекрасны. Эти розы осуждены тратить свой запах в пустынном воздухе. После обеда Лизимак Тавернье опять зашел за мной».

Бейль написал Лизимаку: «Предложите господину Тургеневу мое жилище и мои вина». Лизимак сопровождал Тургенева с той навязчивостью чичероне, которую только русские путешественники могут выдержать в полной мере на территории Италии. Тургенев осматривает казематы, район принудительных работ, он встречается с Гаспароне, а вечером смотрит в театре мелодраматическое представление «Жертвы дружбы и любви». Бросается в глаза то, что Тургенев не стремится разыскать русского консула Аратта из местных купцов.

## ГЛАВА XVIII

### Г Л А В А



Если Сент-Олер, будучи посланником Франции в Риме, не слишком баловал Бейля любезностью и вниманием, то новый посланник Латур-Мобур, уважая в Бейле большого писателя, поставил его консульскую работу в такие рамки, которые наиболее соответствовали желаниям Бейля. Он перестал беспокоить Бейля бюрократическими запросами, загружать его время тарифами и новыми инструкциями о визировании паспортов, разрешил ему проводить большую часть времени в пределах Рима и, наконец, в награду за Анкону разрешил ему отпуск, так долго просимый.

Октябрь и ноябрь 1833 года Бейль проводит в Париже. Он переписывается с ди Фиоре и чувствует прилив необычайной нежности к госпоже Готье. В декабре 1833 года Бейль был вынужден снова отправиться к месту службы. По дороге он встречается с влюбленной парой — Жорж Санд и Альфредом де Мюссе — на пароходе между Лионом и Авиньоном. Они вместе провели ночь на маленьком постоялом дворике «Пон де Сент-Эспри». В альбоме Альфреда де Мюссе сохранилась зарисовка пляшущего Бейля, а в «Воспоминаниях о моей жизни» Жорж Санд рассказывает, что Бейль выпил много вина для того, чтобы согреться от декабрьского холода

и чтобы поддержать Альфреда де Мюссе, который в этот период всегда пил до полного опьянения. Опьянение наступило и у Анри Бейля, и он приплясывал в сапогах, в зимнем плаще с пелериной, в большом зеленом цилиндре и шарфе. Гнулись половицы полусгнившего старого пола, посуда звенела на столе, и этот огромный медведь, напевая охрипшим голосом какую-то старинную гренобльскую песню, потешал молодежь, едущую в свадебную прогулку и грезящую Венецией, гондолами, серенадами, гитарами и прочими аксессуарами новобрачных.

1834 год Бейль проводит в Италии почти безвыездно. На сезон лихорадок он уезжает в Альбано, где в дубовых и миртовых рощах тысячи соловьев наполняют ночной воздух щелканьем и свистом, где огромная серебряная луна отражается в великолепных лесных и горных озерах.

1 января 1834 года Бейль узнал, что приехал опять милый господин Тургенев.

В зеленой тетради № 14 Тургенев записывает:

15 песнь «Рая».

(Выписка из Данте.)

«13/1 Генваря был у Кривц. У меня сидел более часу Бель-Стендаль: много о Франции. Религия как будто не оживает. В Париже ежегодно при Наполеоне 45 т. гостей; при Бурбонах меньше; теперь опять столько же, потому что с досады и от скуки le Faubourg St. Germain идет в церковь и не едет на бал к королю. В провинциях les curés — противятся тем приходам, кои ненавидят иезуитов и любят свою революцию 1830, как свое дело; а священники ненавидят ее. Отсюда отвращение и к церкви. L'église de Chatel делает успехи и готовит протестантизм во Франции. Сен-симонисты спаслись только гонениями Правительства. Argout и Barthe скоты — преследуют. Гизо умен и (зачеркнуто) его учреждения прекрасны; мало употребляет (зачеркнуто) Кузена и Вил-меня (зачеркнуто), дабы им не приписали его действий. Они упали в мнении как ренегаты. Минье съездил в Гишпанию по милости Тьерса, но не заметил и не вывез ничего полезного. Ренуар делает, что хочет. Тьеру один выше (зачеркнуто) всего министерства, а министерство равно с народом; но Тьеру делает, что хочет, из Камеры и выпрашивает суммы на достроение памятников: L'arc de Triomphe и Магдалины; новых не будет, ибо и он полагает, как и все здравомыслящие, что не должно собирать подати с бедного народа для великолепия столицы; но вопрос: кончать ли начатое? — решил Тьеру утвердительно. — Шатобриан упал. M-rne Recamiez все еще имеет влияние, car Paris est le paradis des Vieilles femmes. Броглио не ясно видит и говорит о вещах; доктринер! Тьеру выше его. — У французов одна любовь

— Поляки. В июле их выписывают и дают им пенсии. Возвращение надолго (зачеркнуто) Бурбонов невозможно. Получил письма от гр. Венгерской и от гр. Салтыковой. Обедал у гр. Гурьева и заболтался о естественном праве и о просвещении в России. После был у Скарят на бале Лютцова; танцевал с Turettini, с гр. Бланканзее и любезничал с обеими до 1-го часа».

Так отрывочно и сбивчиво записывает Тургенев новости, привезенные Бейлем из Франции и сообщенные ему.

В феврале опять происходят встречи Тургенева с Бейлем: «В кафе встретил Беля 4 февраля. Болтали о Вяземском. Сообщил ему содержание его письма о нем, и вместе заговорил о процессе Чезарини и литературе».

Тургенев сообщает суждение Бейля о новом издании посмертных произведений Шенье. Бейль считает его подложным и приписывает его Демуту.

Шел карнавал. Оба друга прогуливались по Риму под руку, обвитые серпантинном, обсыпанные мелом и целыми горами конфетти. Идя по Корсо, Бейль и Тургенев останавливаются против дома Торлонья<sup>[100]</sup>. Обращая внимание Тургенева на это здание, Бейль говорит, что здесь была некогда церковь — единственная церковь в Риме, обращенная ныне в частное жилище. То, чего не мог сделать папа Пий VI для своего племянника Браски при всем своем авторитете наместника престола, удалось банкиру за деньги! Если в центре папской столицы на Корсо удалось по прихоти банкира, расширяющего свой дворец, уничтожить церковь и превратить ее в спальню, гостиную и концертную залу, то, конечно, наступает новая эпоха, и папский авторитет рухнет под давлением банкирского золота.

8 февраля возобновились прогулки по Корсо. Приятельницы Тургенева бросают в него и в Бейля из корзинок пасхальные яйца, наполненные мукой и мелом. Черти, адвокаты, садовники, замаскированные и незамаскированные, швыряют карнавальными машинками, как древнеримскими катапультами, померанцы в окна верхних этажей. Цокают копыта лошадей, раздается музыка, пение, на улицах и площадях пляшут.

Появились у Бейля и новые друзья: граф Чини и его супруга, фамилию которой Бейль переделывает на французский лад. По-латыни «Cinis» значит «Пепел», а по-французски «Пепел» — «Cendre». Так Бейль звал женщину, ставшую предметом его нового увлечения. Это бескорыстное, дружественное увлечение можно было назвать и влюбленностью и обожанием, открытым, пылким, веселым и лишь изредка печальным, потому что годы уходят; эта женщина молода и прекрасна, она любит

своего мужа, и муж любит ее настолько, что без всякого опасения разрешает ей верховые прогулки и поездки в коляске с влюбленным Бейлем. Бейль никогда не переступал границ рыцарской самоотверженной почтительности в отношении к этой семье, вдвойне ему дорогой. В этой семье в качестве своего человека проживала и пользовалась огромным уважением и преданностью окружающих мать одного из лучших друзей Бейля — Поля-Луи Курье.

Во время веселой болтовни в доме Чини Бейль вдруг вскакивает из-за стола и начинает записывать на манжете пришедшие в голову диалоги Люсьена Левена с отцом или, не окончив ужина, берет коляску и уезжает в Рим. Там около площади Игнатия живет его новый друг Абрагам Константен. Всю ночь до утра и весь следующий день, не разгибаясь, сидит Бейль за письменным столом и, как графоман, не может оторваться от рукописи. Главы возникают одна за другой. Он перечеркивает название «Люсьен Леван», затем восстанавливает его; после тысячи вариантов Бейль останавливается на «Amarante et Noir» — «Малиновое и черное», а мы перевели бы: «Уланская выпушка или сутана».

Вот новые пути для молодежи: идти по дороге «блестящей» военной карьеры, весь блеск которой состоит в возможности расстреливать своих же французских рабочих, или же становиться попом и неизбежно быть обманщиком. Католическая церковь поступила на службу к буржуазии. Богатый человек имеет досуг, ему необходимо быть у власти; бедняк и завистлив и необразован, он не может править государством. Таково было рассуждение в «Курсе конституционной политики» Бенжамена Константа.

Для того чтобы провести депутатов, желательных королю, министерство осуществляет прямые подкупы и косвенное давление «а избирателей. Бейль узнает об этом в Чивита-Веккии, проверяет в Париже и посвящает специальную главу «Люсьена Левена» разоблачению темных махинаций правительства.

Одновременно Бейль продолжает изучать родословные римской знати и семейные хроники итальянского дворянства. Он обнаруживает, что атамань бандитских шаек с больших дорог и продажные красавицы, пленявшие кардиналов, были основоположниками наиболее знатных и богатых семей Италии. Он беспощадно вскрывает тайну одной из самых старых итальянских фамилий — Фарнезе, у ее истоков он находит не рыцарей, а проститутку, наложницу римского папы, а за нею последовала вереница отъявленных злодеев, которые довели блеск своих дворцов до такого же уровня, до какого дошли их тайные и явные преступления. Однако мемуары времен Людовика XIV могут раскрыть такие же явления и

касательно Франции. И вот у Бейля возникает сложная концепция: «История европейской аристократии» или «История феодального дворянства» как история преступлений. Целый могущественный социальный слой, сметенный вихрем истории, рассматривается Бейлем под таким углом зрения. Возникает большой план написания итальянских хроник: «Ченчи», «Виттория Аккорамбони», «Герцогиня Паллиано» и другие. Он расскажет об итальянских властителях, которых прославляли за христианские добродетели и рыцарские подвиги, но которые были обыкновенными злодеями. Он развенчает римских пап, герцогов и князей, он мастерски раскроет под личиной добродетели их подлинные характеры.

Должность консула не всегда удобна для того, чтобы печатать такие вещи. Даже простой «Дневник путешествия по Италии и Швейцарии в 1828 году» Бейль считает необходимым выпустить анонимно у фирмы Вердьер в Париже<sup>[101]</sup>.

Живя в верхнем этаже консульского дома, Бейль сходит в нижний этаж. Мягкая обувь делает его шаги неслышными, и потому служебные разговоры его секретаря и помощника Лизимака с приезжими купцами или с полупьяными капитанами французских пароходов долетают до его слуха.

— Сам постоянно живет в Риме, возится с книжками, пишет книги дни и ночи, изводит бумагу, а я целые дни трудись! На мне держится все консульство, и если бы не я, то, конечно, министерство иностранных дел в Париже вылетело бы в трубу! — хвастается или жалуется Лизимак.

Перед Бейлем раскрывается картина постоянных интриг. Недаром, когда он выходит в канцелярию и застаёт человека, имеющего дело непосредственно к нему, этот человек избегает говорить с консулом и просит разрешения дожидаться Лизимака Тавернье. Г-н французский консул Бейль, так крепко подтянувший подчиненные ему мелкие консульства побережья, лишен авторитета в своей собственной канцелярии! Размолвка кончается тем, что Лизимак говорит дерзости. Министерство приказывает Лизимаку подать в отставку. Бейль прощает его. Лизимак подобострастно извиняется на словах и пишет наглуемую бумагу в Париж. С этого момента чиновники министерства иностранных дел, расположенные выслушивать и принимать доносы, обзавелись усердным осведомителем: Лизимак ежедневно сообщает во Францию сведения о поведении господина Бейля. Господину Бейлю мало до всего этого дела. Он почти все время проводит в Риме, а роман, который пишется в Чивита-Веккии, зашифрован, и Лизимак Тавернье тщетно поворачивает его во все стороны перед зеркалом — прочесть не удастся ни строчки.

Наступает 1835 год. Министерство просвещения, просматривая списки

своих чиновников, с удивлением замечает, что ни разу не награждался господин Бейль, и посылает ему орден Почетного легиона, словно желая заглазить свое невнимание к этому человеку.

Бейль чувствует себя все хуже и хуже в своем консульском захолустье. На побережье начинают дуть тяжелые, неприятные ветры. Но хуже всего «*aria cattiva*» — «злонакачественный воздух». Это воздух сезонных лихорадок, которые косят иностранцев, приезжающих в Рим в это время года.

Все вместе, и «*aria cattiva*» и недовольство своим положением, заставляет Бейля просить о переводе консулом в любое другое место в Испании, лучше всего в Барселону. Он получает отказ. Если проклятое министерство не дало ему возможности уехать в Испанию, то пусть хотя бы разрешит пожить в Париже и подышать хорошим воздухом парижских гостиных, где, вероятно, по-прежнему собираются умные люди за стаканом легкого пунша, где мысль искрится и горит!

Министерство соглашается 26 марта 1836 года. Закончив рассказ из наполеоновской эпохи «Мина де Вангель», где очень остро поставлена проблема допустимости лжи как средства завоевания любимого человека, Бейль уезжает. Вот Ливорно, Генуя и Марсель, где в витринах книжного магазина случайно найдены новые книжки Проспера Мериме. Как далеко шагнул этот молодой новеллист! Но какая страшная по сухости и безнадежности повесть «Двойная ошибка». Еще страшнее «Ильская Венера»<sup>[102]</sup>.

Бейль держит в руках письмо Мериме. У них очень много накопилось чувств и мыслей друг для друга. Им нужно встретиться, но встретиться не так, как это могло бы случиться в Париже, в гостиной, на людях. В обгон своего дилижанса Бейль послал уже записку своему другу: надо встретиться в Лаоне. Назначен день и час.

Вот из-за дерева выходит высокий человек в сером сюртуке и бросается навстречу грузному, отяжелевшему Бейлю, поднимающемуся со скамьи. Мериме потерял отца. Бейль потерял так много в жизни, что каждому есть что рассказать. Во время их беседы неожиданно прорываются глухие, бурные рыдания: Бейль, не стесняясь, плачет, опираясь локтем на спинку садовой скамейки. Мериме, этому сухому, черствому человеку, несколько не удивительны его слезы. Он сам вздрагивает, опускает углы губ и, быстро отвернувшись, вынимает платок.

Произошло самое тяжелое: она, Юдифь Готье, приобрела новые привычки, у нее новые друзья, новые знакомые. То, что раньше вызывало смех Бейля и Юдифи Готье, теперь смешно только одному Бейлю, и она

широко раскрывает удивленные глаза и смотрит на своего друга, не понимая. Бейль привык маскировать свои чувства, но теперь нервная чувствительность обострена настолько, что он внезапно срывается с места и среди веселого разговора, легкомысленных шуток быстро уходит, ни с кем не попрощавшись!

24 мая 1836 года Бейль в Париже. Начинается новое, на этот раз трехлетнее пребывание во Франции, и, по существу, конечно, за это время оформились у Бейля впечатления, составляющие содержание неоконченных романов: «Красное и белое»<sup>[103]</sup> и «Ламьель» — повесть о своеобразной женщине Франции.

## ГЛАВА XIX

### Г Л А В А



Бейль приехал на родину, когда протекли первые шесть лет владычества биржи и ее ставленника Луи-Филиппа.

Судьбой его было возвращаться во Францию после длительных отлучек в такие периоды, когда в стране произошли серьезные перемены, и взор пытливого наблюдателя поражает все, что он видит: многое прежнее и привычное исчезло или изменилось до неузнаваемости, а многое такое появилось, о чем он и не думал, чего и не ждал. Так было в 1821 году, после семилетнего пребывания в Италии, так и теперь. Тогда Бейль застал уже определившейся, так сказать, устоявшейся, со всеми ее характерными чертами, монархию Бурбонов, а теперь — монархию Июльскую.

И он по совести не мог бы сказать, что нынешняя ему нравится более предыдущей... Конечно, нет теперь и помина о средневековых бреднях Карла X, старое дворянство присмирело и не мечтает более о полном восстановлении дореволюционных порядков.

Но политической свободы нет по-прежнему, правительство, напуганное восстаниями в Лионе и в Париже, покушениями на короля, деятельностью тайных обществ, пропагандой «безумцев социалистов», все

решительнее и круче сворачивает на путь реакции, на путь преследования свободной мысли и слова.

В предисловии, которое Бейль написал незадолго до смерти к книге «О любви», он очень удачно охарактеризовал господствующие классы общества: «Властвующая буржуазия и брюзжащая аристократия...» Хотя они и продолжали спорить между собою о характере и доле участия в управлении государством, но их интересы давно уже совпали в общем стремлении к угнетению народа, эксплуатации его.

Старая и новая земельная аристократия совместно с банками и ростовщиками грабили крестьянство.

Промышленная и финансовая буржуазия с азартом новизны эксплуатировала новый класс фабричного пролетариата.

Во Франции в порядок дня стал социальный вопрос в самой его острой и решительной форме, как вопрос рабочий... Пока еще подспудно, в недрах общества, шли серьезные, глубокие процессы, которые вылились в революцию 1848 года.

Когда Бейль вернулся в Париж, до нее еще было далеко. Но ее предвестники уже давали себя знать: по всему было видно, что буржуазия, ставшая контрреволюционной еще в 1793 году, ныне превратилась в злейшего врага своего народа...

Мериме рекомендует Бейлю познакомиться с испанской семьей Монтихо. Мария-Мануэлла, графиня Тэба, и две ее дочери, Евгения и Пака, любезно встречают писателя Бейля. Он интересен им, потому что приносит альбомы английских гравюр и рассказывает чудесные истории о Русском походе, об императоре Наполеоне, о его генералах. Евгения вскакивает на колени к господину Бейлю, и он с пафосом говорит: «В бою под Молодечно пуля пробила мне кивер» или «Русские морозы оледенили мою голову — вот почему у меня на лбу вырос этот чуб!» Маленькие слушательницы благоговейно ждут прихода интересного рассказчика. В дни, когда бывает господин Бейль, их не отправляют до вечерней зари ложиться спать.

Через много лет Евгения Монтихо вышла замуж за принца-авантюриста Шарля-Луи Бонапарта и сделалась императрицей Франции, а Проспер Мериме занял пост французского сенатора...

В 1836 году Бейль в последний раз раскрыл папку зашифрованных страниц «Красного и белого». Он с ужасом заметил, что потерял шифр. Усталость и недовольство собою привели к тому, что он перестал заниматься этим романом. 1836 год был годом такого же «окончания» и «Анри Брюлара». Обе вещи остались недописанными, так же как набросок первых глав замечательного романа «Федер» или «Муж за деньги». Острое

чувство французской действительности, лживой, мрачной и тяжелой, когда под крышами все растущего Парижа возникли новые люди с новыми мыслями, а правительство добывалось «выкройки» человеческих голов по старому штампу, взволновало Бейля, и это волнение отразилось в динамическом напряжении первых глав «Федера».

1837 год Бейль сплошь посвящает писанию хроник. Он изредка ходит в театр смотреть игру великолепной Рашель, изредка выезжает в Бретань.

Но чаще всего его можно встретить у Жерара и у Виржинии Ансло с его старым другом Корефом<sup>[104]</sup>.

7 февраля Виржиния Ансло пишет Соболевскому: «Приходите на совершенно интимное дружеское собеседование, в котором примут участие ваши друзья Бейль и Кореф».

Это был человек недюжинного ума; судя по рецептам, сохранившимся в двадцати восьми томах архива Соболевского, он был серьезный врач. Доктор Кореф выступает во всех мемуарах и характеристиках тогдашнего времени как литературный деятель, а между тем Бонфон выставляет его чуть ли не шарлатаном и заурядным медицинским мистификатором. Это объясняется тем, что исключительный талант, которым владел Кореф, был подобен таланту певца и пианиста; они умирают, сохранив по себе память только в словесной молве и не оставив никаких творений. Никто не записал блестящих импровизаций и рассказов Корефа, фантастических, исторических, бытовых. Тысячи его анекдотов наполняли парижские салоны. Нашелся один человек, который отдал должное имени Корефа, — это Теодор-Амедей Гофман, который в своих «Серапионовых братьях» изобразил доктора Корефа под видом Винцента и советника Креспеля. Евгений Сю описал его под именем Брадаманта.

В 1838 году Бейль ездил в Англию<sup>[105]</sup>. Датировка этих путешествий до сих пор не установлена полностью. Сеттон Шарп знакомит Бейля с Теодором Гуком, главным редактором ежемесячного журнала «Новый ежемесячный сборник». Гук, Бейль, Сеттон Шарп часто видятся в Лондоне. Гук дал возможность Бейлю увеличить свой заработок настолько, что он решил целиком отдаться творческой работе и остаться на половинном окладе в министерстве иностранных дел. Английский «Атенеум» произвел на Бейля прекрасное впечатление. Именно там он отдыхал всей душой. Среди саркастических, едких и умных суждений своих друзей он находил гораздо больше пищи для ума, нежели в салоне Виржинии Ансло.

В январе 1839 года Бейль сдал в печать хронику, написанную им очень быстро, широкими мазками. Он описывает XVI столетие в Италии. Повесть

называется «Аббатиса из Кастро». Используя «Записки по югу Франции» Миллена и докладные записки инспектора исторических памятников Проспера Мериме, Бейль выпустил «Записки туриста» — вещь замечательную по количеству материалов, выписок из местных архивов, собственных наблюдений и анекдотов, слышанных в дилижансах. Миллен умер. Проспер Мериме не обиделся за огромное количество выдержек из его произведений, не оговоренных как цитаты. Единство впечатлений, получаемых от книги, таково, что мы не можем не узнать Франции тогдашнего времени, с ее нравами, обычаями, избирательными подкупами, старинными хрониками судов, затерявшимися в местных архивах муниципалитета, и с происшествиями, которые внезапно оживляют перед нами картины совершенно невероятных событий: какая-нибудь девушка-провинциалка совершает подвиг, достойный мировой славы, оставшийся незамеченным, или юноша совершает акт величайшего бескорыстия в корыстолюбивую эпоху биржевиков, фабрикантов, политических спекулянтов и организаторов избирательных подкупов.

Работа над новеллами и хрониками, над мелкими записями событий, зарисовками характеров, выписками из протоколов и летописей были фундаментом для нового огромного здания. 4 ноября 1838 года в маленькой комнате на улице Годо-де-Моруа Бейль начал диктовать стенографу. Через 52 дня, 26 декабря того же года, роман был окончен, а 28 марта 1839 года Стендаль держал в руках первый, еще пахнувший типографской краской экземпляр огромного тома на рыхлой полотняной бумаге, края которой выступали за пределы розовой обложки. Стендаль признается: «Я импровизировал, когда диктовал, и не знал, что будет написано в следующей главе».

Так появился роман «Пармская обитель» — «La chartreuse de Parme». Буквальное значение термина «чертоза» — картезианский монастырь — монашеский орден старинной Франции. Если отвлечься от специфически монастырского слова «чертоза», то мы получим заглавие, означающее узкий, замкнутый, отшельнический горизонт североитальянского феодального города, поглощенного только своими делами.

Роман посвящен жизни Италии после падения наполеоновской монархии, когда Австрия вторглась не только в государственное устройство, но и во все бытовые мелочи жизни итальянцев. Но «Пармская обитель» не бытовой роман, а история молодого человека, попавшего в обстановку, чуждую естественному развитию характера. Огромный разбег революционной волны вынес на своем гребне не только Бонапарта, но целое поколение военных героев. Когда волна спала, они оказались на

мелководье.

Италия привыкла к тому, что заурядные кондотьеры, представители богатых семей или банальные авантюристы из корабельных пиратов Средиземного моря, завоевывают города, наворовывают и грабят колоссальные состояния, получают титулы от римского императора или короля обеих Сицилий и становятся дворянами. Для итальянской молодежи восхождение корсиканского мелкотравчатого чиновничьего сына по ступеням исторической славы не было диковинкой: «Сегодня вышел в мир Бонапарт, завтра — я». Вот почему молодой и непосредственно чувствующий итальянец Фабрицио дель Донго с таким упоением следит по карте за молниеносными движениями бонапартовских войск по Европе, по Италии. Ему самому хочется принимать участие во всех упоительных событиях своего времени, его жадные глаза желают видеть картины битв, а ему преподносят мессу и попа в лиловой сутане! Фабрицио дель Донго — обаятельный характер молодого итальянца XIX столетия, не находящего себе никакого применения в жизни. Государь «е склонен делать его офицером, потому что давать оружие такому человеку, который сбежал во Францию, к Наполеону, и был участником битвы при Ватерлоо, по меньшей мере неблагоприятно.

Государь влюблен в тетку Фабрицио и хочет сломить упорство и самолюбие этой женщины, растоптать и кинуть в грязь ее благородство. Это создает неблагоприятные условия для карьеры Фабрицио. И вот мелкая семейная интрига приводит к тому, что молодой человек попадает в тюрьму, а герцогиня Сансеверина и граф Моска стремятся его спасти. В тюрьме он узнает, что девушка, случайно виденная им, Клелия Конти, дочь генерала Фабия Конти, коменданта тюрьмы, живет неподалеку. Бой стенных часов из ее комнаты и щебетанье канарейки на окне у девушки доносятся через узкий и высокий тюремный двор в открытую форточку камеры заключенного.

Стендаль мастерски показывает, как из крушения личных надежд, из безнадежного отчаяния при встрече с суровой действительностью, превращающей богатого и блистательного молодого человека в ненужную арабеску жизни, возникает великая грусть юного сердца.

Духовная карьера Фабрицио дель Донго облекла его в лиловую сутану помощника монсиньора архиепископа Пармского — Ландриани. Куда девать пыл юности? Где настоящая, подлинная жизнь, ради которой стоит что-нибудь отдать? Где та цель человеческого существования, ради которой можно отдать самую жизнь? И Фабрицио умирает в расцвете лет... [\[106\]](#)

Пусть как угодно гневается критика, но граф Моска чрезвычайно

напоминает самого Бейля. Критики, сомневающиеся в этом, пусть перечитают письма Бейля в издании Барреса. Моска принужден «с волками жить и по-волчьи выть». Но он очень хорошо знает жизнь. Он разыгрывает роль верноподданного, в то же время прекрасно оценивает все события, происходящие перед ним. Он не зол по природе, он иронический наблюдатель, но он знает, что на его месте мог бы быть кто-либо в тысячу раз более опасный для общества — человек, упоенный собственной властью. Моска скептик. Он скептически относится к своим министерским полномочиям. Он «такого возраста, когда позволительно быть застенчивым».

В образе обаятельной герцогини Сансеверины Бейль воплотил Метильду Висконтини. Эти темнозолотые волосы и синие до аметистового блеска глаза, соблазнительная и мудрая улыбка и чарующие жесты, эта женщина благородного характера и сильного ума, обладающая бесконечной способностью самопожертвования, умеющая выходить из самых трудных положений в жизни ради любимого человека или любимого дела, — это, конечно, только Метильда Висконтини, та самая, которую Сальвоти тщетно пытался допрашивать о преступлениях Конфалоньери, Уго Фосколо, самого Бейля и других миланских карбонариев.

Бейль особенно любил сравнивать ее лицо с лицами североитальянских женщин на полотнах живописцев леонардовской школы. Вот почему в качестве любимого портрета Метильды Висконтини Стендаль всегда имел перед собой Иродиаду Бернардо Луини.

В то время когда Бейль был увлечен описанием битвы при Ватерлоо, когда перед ним лежали планы Москвы и кроки Бородинского боя, а кругом валялись портреты Кутузова, Баркляя де Толли, его навестил князь Петр Андреевич Вяземский.

Бейль хотел использовать войну 1812 года для описания потрясающей картины битвы при Ватерлоо. Этой битвы наполеоновский спутник не видел. Но он был свидетелем Бородинского боя. И тут он не мог отделаться от России и от проклятых воспоминаний о русских морозах, от ужасов крепостного права, от зрелища забитого и угнетенного русского мужика и мелкого ремесленника Москвы, Смоленска, Вязьмы, Вильны. Автобиографизм проявился во всех произведениях Бейля. Заканчивая описание битвы при Ватерлоо, Бейль не может обойтись без русских впечатлений.

В марте 1839 года у министра иностранных дел Моле Вяземский вторично встретился с Бейлем и говорил с ним о происхождении Шарля-Луи Бонапарта. Остроумные высказывания о Талейране, Флао, Гортензии и

Бонапарте вызвали восхищение Вяземского. В переписке с А. И. Тургеневым он уделял немало внимания автору «Красного и черного» и теперь с упоением выслушивал его разоблачения о происхождении претендентов на трон императора французов — человека, с которым Бейлю не пришлось столкнуться в жизни.

Коротенькие строчки из записной книжки Вяземского освещают нам картину необычайной прозорливости Бейля в исторических прогнозах.

Так ли уж благополучно во Франции со стороны бонапартистских претендентов, говорит он Вяземскому. Луи Бонапарт легко переломит ребра Луи-Филиппу не потому, что он хорош, а потому, что Луи-Филипп, по словам Бейля, «величайший шулер, король шулеров», и потому, что Франция дошла до последней точки революционного кипения.

Эти отзывы свидетельствуют, что Бейль распознал в Луи-Наполеоне авантюриста, заслуживающего только презрения, пародию на Наполеона.

## ГЛАВА XX

## Г Л А В А



После того как министр иностранных дел Моле в марте 1839 года подал в отставку, Бейль бегал по Парижу в поисках хотя бы какого-нибудь чиновничьего места. Но увы! Для великого реалистического писателя Франции в столице короля банкиров не нашлось места ни бухгалтера, ни консьержа. Во избежание худшего Бейлю пришлось 24 июня 1839 года отправиться на половинный оклад к себе в Чивита-Веккию — пыльную, с грязными мясными лавками и черепичными крышами.

Со зловещими симптомами тяжелого и непонятного заболевания он просыпается ночью и по утрам в сильной испарине. Он думает об уходе в отставку, но о таком уходе, из которого больше не возвращаются ни к какой должности. «В конце концов я спрашиваю, — пишет он Ромену Коломбу, — стоит ли мне, именно мне, продолжать тянуть ляжку, именуемую существованием?» Этот вопрос уже давно приходил ему в голову. Осечка, данная пистолетом когда-то, возвратила к жизни могучий и сильный интеллект. А теперь снова он тяготится существованием.

Наступают долгие вечера, ветер и дождь бьют в окна. На улицу выходить нельзя, потому что порывистый ветер с моря сбивает с ног.

Остается только одно: при свете сорока восьми спермацетовых свечей надеть старое гренобльское платье, очинить дюжину гусиных перьев, наполнить чернильницу железными чернилами и, склеив два экземпляра в один, на огромных, как полотнища, листах бумаги перечитывать «Пармскую обитель», — делать пометки на полях, ибо обнаружались такие недочеты и промахи, которые немедленно захотелось восполнить.

20 мая 1840 года Бейль посылает Ромену Коломбу текст «Пармской обители», выправленный для второго издания. Он пишет:

«Я писал быстро, в течение шестидесяти дней, устремив все свое внимание на события, о которых я говорю. Я вношу поправки, во-первых, чтобы до предела внести в текст ясность, во-вторых, чтобы помочь читателю вообразить себе происходящие события, и, в-третьих, чтобы попытаться ввести в жизнь все мои персонажи. Это требование жанровой литературы».

Бейль, закусив губы, со сжатыми кулаками расхаживая по комнате, напряженно работает над созданием новых новелл и хроник. Денег мало. Журнал «Revue des Deux Mondes» дал полторы тысячи франков, которые надо отработать.

15 октября 1840 года Бейль прочел в «Парижском обозрении «Этюд о г-не Бейле (Фредерике Стендале)», принадлежащий Бальзаку<sup>[107]</sup>. Бурно и стремительно он обрушился на Стендаля таким потоком похвал, который мог ошеломить гораздо больше, нежели ругань неразборчивого критика.

«Бейль, более известный под своим псевдонимом Фредерик Стендаль, по моему мнению, является одним из тончайших мастеров литературы идей...

Бейль написал книгу, в которой высокое качество мысли с переходом к каждой новой главе сияет все Солее и более ослепительным светом. В том возрасте, когда люди довольно редко находят действительно грандиозные сюжеты, когда написаны уже два десятка томов, исключительных по умственной напряженности, Бейль создал все же произведение, которое может быть оценено лишь людьми действительно огромной культуры. В конце концов его книга, по существу, есть книга о Современном властителе. Она достойна того, чтобы быть написанной каким-нибудь Макиавелли, если бы он также был изгнан из Италии и жил в XIX веке...

Возьмем таких героев романа, как герцогиня Сансеверина, как Моска, Фабрицио, государь со своим сыном, Клелия. Взгляните, как проявляются их страсти и свойства характера; ведь это же сама Италия, именно такая, как она есть, с ее тонкостью, скрытностью, необходимостью притворства, хладнокровием, упорством и неизбежностью высокой политики повсюду.

«Пармская обитель» в то же время по замыслу самая девственная книга, более целомудренная даже, нежели самый пуританский роман Вальтера Скотта...

Никакая другая книга не может дать каждой странице этих живых криков страстей, этих глубоких и тонких суждений дипломатов. В этой книге вы совсем не найдете того литературного балласта, сцепляющего эпизоды, страницы, главы, который является неизбежным, мертвым, как те прослойки любого большого романа, которым мы, французы, даем название *tartine*. Нет, нет! В нем все действующие лица живут, размышляют, чувствуют, драма стремительно разворачивается, и события все время движутся вперед. Но надо быть очень смелым, чтобы дать представление о романе, восхитительно построенном «а основе событий, до такой степени стиснутых и сжатых...

Вот что со мной случилось: при первом чтении романа, который меня совершенно поразил, я все же нашел в нем недостатки. Но когда я стал его перечитывать, я с удивлением чувствовал, что куда-то исчезли все длинноты, я сам увидел полную необходимость тех подробностей, которые в первом чтении казались мне ненужно длинными или смутными. Сейчас, для того чтобы хорошо написать об этом романе, я заново его перечитал. И вот, занявшись этим дольше, чем хотел, первоначально я задержался любованием каждой страницей поистине прекрасного произведения; и все в нем показалось мне в высшей степени гармоничным, взаимно связанным и согласованным как в силу искусства писателя, так и в силу объективной естественности излагаемого хода событий...

Слабой стороной произведения мне кажется его стиль — именно странность словосочетания там, где автор стремится к высшей ясности, пренебрегая свойствами французской фразы. Ошибки Бейля — это чисто грамматические ошибки; его язык небрежен, его синтаксис неряшлив и напоминает манеру французских писателей XVII века, но зато его концепции обладают широтой и мощностью, его мысль совершенно оригинальна и зачастую передана прекрасно...

Этот роман Бейля стоит на такой огромной высоте, что требует от читателя полного знакомства с общественными слоями, правительствами, странами, национальностями; и уже теперь я не удивляюсь больше тому молчанию, которым окружена эта книга с момента ее выхода. Это судьба всех книг, не имеющих целью бить на популярность и угождать вкусам».

Заканчивая свой отзыв, Бальзак предъявляет Стендалю категорические требования изменить не только стиль, не только язык, но выкинуть вступительную часть и начать прямо с описания битвы при Ватерлоо.

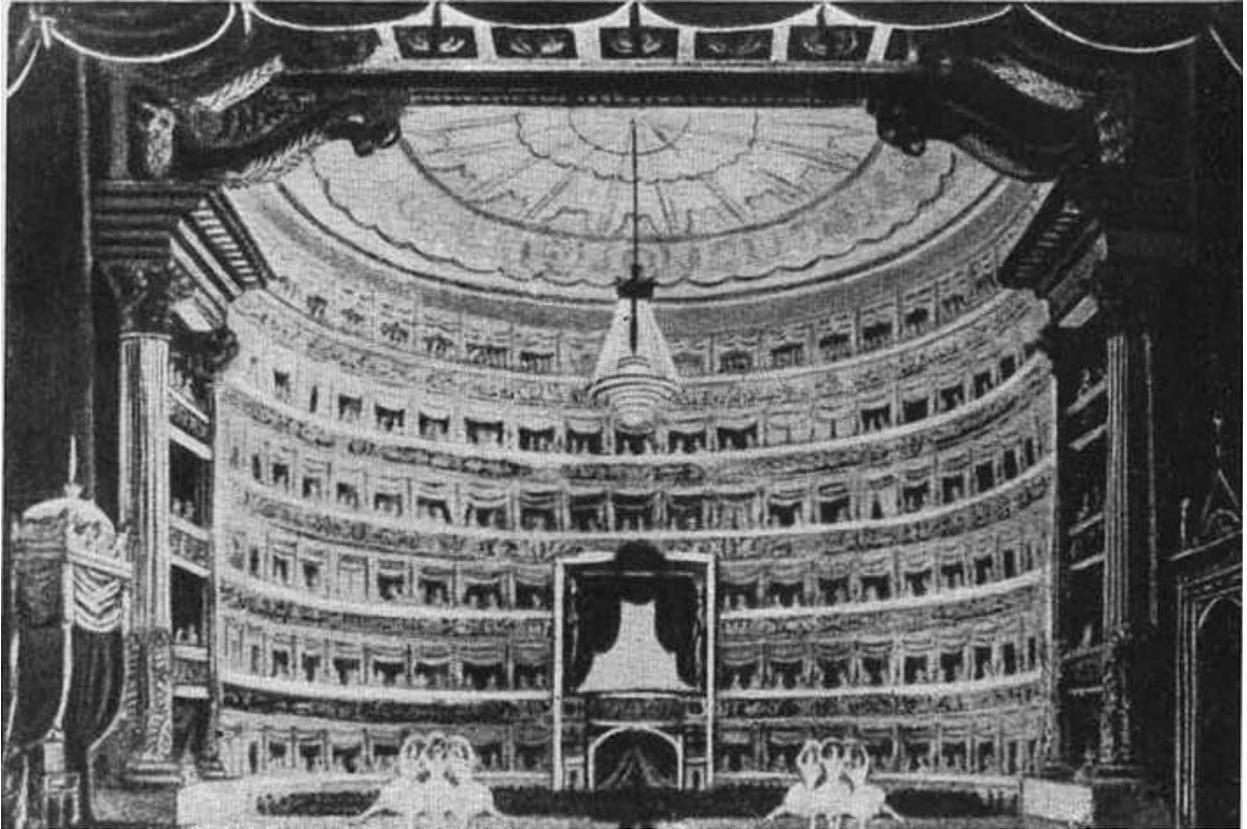
Эти требования первоначально ошеломили Стендаля, затем заставили его задуматься и, наконец, вызвали бурный протест.

Быть может, господин Бальзак прав во многом. Да, но сопоставление графа Моска и Меттерниха! Бальзак пишет:

«Все, что совершено было господином Меттернихом в течение его долгой деятельности, не более замечательно, чем то, что совершает в романе Моска. Когда подумаешь, что автор все это придумал, завязал и развязал подобно тому, как события завязываются и развязываются при дворе, — самый неустрашимый, не искушенный в творчестве ум почувствует себя смущенным, ошеломленным таким трудом. Лично я готов теперь поверить в «волшебную лампу Алладина», с которой человек входит в действительность и освещает ее с неожиданных сторон».



«Иродиада».



Миланский театр (Ла Скала).



Воспитательный дом во Флоренции.



Палаццо Риккарди во Флоренции.

Усталость позволила Бейлю не заметить категорического требования Бальзака — из антирелигиозного произведения превратить его роман в роман католический<sup>[108]</sup>.

29 октября 1840 года Стендаль пишет:

«Прочтя статью господина Бальзака, я беру себя в руки, набираюсь храбрости, чтобы исправить стиль».

На другой день он пишет письмо Бальзаку, которое остается неотосланным<sup>[109]</sup>.

«Чивита-Веккия, 30 октября 1840 года.

Я был очень удивлен вчера вечером, сударь. Мне кажется, никогда ни о ком еще не было дано такого отзыва в «Обзрении», да к тому же лучшим знатоком дела. Вы сжалились над сиротой, покинутым среди улицы. Я достойно ответил на эту доброту. Я прочел статью вчера вечером, а сегодня утром я сократил до четырех или пяти страниц пятьдесят четыре первые

страницы произведения, которое вы вводите в свет.

Литературная работа для заработка внушила бы мне отвращение к удовольствию писать; я отложил радости печатания еще на двадцать-тридцать лет. Какой-нибудь литературный компилятор вновь открыл бы достоинства, значение которых вы так странно преувеличиваете.

Ваши иллюзии идут слишком далеко, например «Федра». Сознаюсь, я был смущен, — я, довольно хорошо расположенный к автору.

Но так как вы взяли на себя труд прочесть этот роман трижды, я задам вам много вопросов при первой же встрече на бульваре.

1. Позволительно ли называть Фабрицио «нашим героем»? Мне не хотелось так часто повторять слово Фабрицио.

2. Следует ли уничтожить эпизод «Фаусты», который в процессе писания слишком увеличился в объеме?

Фабрицио пользуется представившимся случаем, чтобы доказать герцогине, что он не способен к любви.

3. Мне казалось, что пятьдесят четыре первых страницы представляют собой приятное видение. Я чувствовал некоторое раскаяние, правя корректуры, но подумал о скучных начальных главах Вальтера Скотта и о столь длинном вступлении божественной «Принцессы Клевской».

Я ненавижу вылощенный стиль; признаюсь вам, что многие страницы «Пармской обители» были напечатаны прямо по продиктованному тексту. Я скажу, как говорят дети: больше я к этому не возвращусь. Однако я полагаю, что после уничтожения двора в 1792 году роль формы с каждым днем уменьшается. Если бы господин Вильмен, которого я упоминаю здесь как наиболее почтенного из академиков, перевел «Пармскую обитель» на французский язык, ему нужно было бы три тома, чтобы высказать то, что было дано в двух. Благодаря тому, что плуты по большей части бывают напыщенны и красноречивы, декламаторский тон вызовет к себе ненависть.

В семнадцать лет я едва не подрался на дуэли из-за «неопределенной вершины лесов» господина де Шатобриана, у которого было много поклонников в 6-м драгунском полку. Я никогда не читал «Индийской хижины», я не выношу господина де Местра.

Мой Гомер — это «мемуары» маршала Гувьон Сен-Сира. Мне кажется, что Монтескье и «Диалоги» Фенелона хорошо написаны. За исключением г-жи де Морсоф и ее друзей, я не читал ничего из того, что было напечатано за последние тридцать лет. Я читаю Ариосто. Мне нравятся его повествования. Герцогиня — копия с Корреджо. Я узнаю будущую историю французской литературы в истории живописи. Мы живем в эпоху учеников Пьетро да Кортоне, который работал быстро и утрировал экспрессию, как

госпожа Коттен, у которой тесные камни добываются на Борромейских островах.

После этого романа я не... Сочиняя «Пармскую обитель», чтобы настроиться на надлежащий тон, я каждое утро читал две или три страницы из «Гражданского кодекса».

Разрешите мне грязное выражение: я не хочу... душу читателя. Этот бедный читатель покорно прочитывает чрезмерно изысканные выражения, например «ветер, с корнем вырывающий волны», но после того как момент волнения проходит, они возникают в его памяти. Я же, наоборот, хочу, чтобы читателю, если он вспомнит о графе Моска, не пришлось менять своей первой оценки.

4. Я покажу в фойе оперы Расси, Рискару, посланных Рануцием — Эрнестом IV после Ватерлоо в Париж в качестве шпионов. Приехавший из Амьена Фабрицио заметит их итальянский взгляд и их миланское наречие, которое, как думают эти наблюдатели, никому не понятно. Все говорят мне, что нужно заранее познакомить читателя с героями. Я сильно сокращу аббата Бланеса. Мне казалось, что необходимы персонажи, ничего не делающие, а только трогающие душу читателя и уничтожающие романтическую видимость.

Я покажусь вам чудовищем гордости. Как, скажет ваше внутреннее чувство, этому животному недостаточно того, что я для него сделал, вещь беспримерную в наш век, — он еще хочет, чтобы его хвалили за стиль!<sup>[110]</sup>

У меня только одно правило: быть ясным. Если я не буду ясным, то весь мой мир будет уничтожен. Я хочу рассказать о том, что происходит в глубине души Моска, герцогини, Клелии. Это страна, куда не проникает взор богачей, как латинист, директор Монетного двора граф Руа, господин Лаффит и т. д. и т. д. и т. д. Взор лавочников, добрых отцов семейства и т. д.

Если к темноте предмета я присоединю темноту стиля г-на Вильмена, г-жи Санд и т. д. (предполагая, что я пользуюсь редкой привилегией писать, как эти корифеи красивого стиля), если я присоединю к трудности содержания темноту этого хваленного стиля, абсолютно никто не поймет борьбу герцогини с Эрнестом IV. Мне кажется, что стиль г-на де Шатобриана и г-на Вильмена говорит: 1) много приятных мелочей, которые, однако, не стоило бы говорить, как стиль Авзония, Клавдиана и т. п.); 2) много мелкой лжи, которую приятно слушать.

Эти великие академики своими произведениями приводили бы публику в безумный восторг, если бы они родились около 1780 года; их шансы на величие зависели от старого режима.

По мере того, как полуглупцы становятся менее многочисленными,

значение формы уменьшается. Если бы «Пармская обитель» была переведена на французский язык госпожой Санд, она имела бы успех, но чтобы высказать то, что заключается в этих двух томах, понадобилось бы три или четыре. Учтите это извинение.

Полуглупец больше всего дорожит стихами Расина, так как он понимает, что такое незаконченная строка; но с каждым днем стих составляет все меньшую часть славы Расина. Публика, становясь более многочисленной, менее доверчивой, желает большого количества правдивых фактов о той или иной страсти, о положении в жизни и т. д. Сколько стихов исключительно ради рифмы принуждены были написать Вольтер, Расин и т. д., словом все, кроме Корнеля; так вот, эти стихи занимают место, которое законно принадлежит правдивым фактам.

Через пятьдесят лет господин Биньян и Биньяны в прозе так надоедят своей элегантной, но лишенной всяких других достоинств продукцией, что полуглупцы окажутся в большом затруднении. При их тщеславном желании говорить о литературе и притворяться мыслящими что станут они делать, когда не смогут больше толковать о форме? Они кончат тем, что создадут себе бога из Вольтера. Но остроумие длится не больше двухсот лет, и в 1978 году Вольтер станет Вуатюром, между тем как «Отец Горио» всегда будет «Отцом Горио». Возможно, что полуглупцы, лишенные своих дорогих «правил», которыми бы они могли восхищаться, окажутся в таком затруднительном положении, что, может быть, почувствуют отвращение к литературе и сделаются набожными. Так как все политические мошенники обладают декламаторским и красноречивым тоном, то он вызовет к себе отвращение в 1880 году. Тогда, может быть, будут читать «Пармскую обитель».

Письмо не послано Бальзаку. В Бейле происходит сложная внутренняя работа. Проходит несколько суток, и мы читаем:

«Я не могу верить преувеличенным похвалам Бальзака. Однако я начал исправлять стиль. Но думается мне, что стиль простой, противоположный г-же Жорж Санд, Вильмену и Шатобриану, как будто бы больше идет для моего романа».

Проходит еще несколько дней, и Бейль окончательно решает расстаться с безграмотным «внутренним редактором», ибо «человек, не умеющий играть на флейте, не может играть на человеческих душах».

Он пишет: «Любовь к ясному и понятному тону разговора, который к тому же так изобразителен, вполне доведен до предела, соответствует оттенкам чувств, — вот что привело меня к стилю, моему стилю, и этот мой стиль является полной противоположностью напыщенному

стилетворчеству нынешних романов».

Бейль спрашивает себя, следует ли ему идти по пути этой тщеславной надутости языка, которая сыплет туда и сюда пригоршни благородных фразок, и отвечает отрицательно: «Не следует». Он пишет: «Я не буду исправлять только небрежности того стиля, который является самым для меня подходящим».

Так окончилась борьба с Бальзаком! Бейль решил остаться самим собою. И то, что он успел проделать в романе, следуя указаниям Бальзака, он теперь старательно восстанавливает. Вновь является вступление, очаровывающее нежнейшими красками миланской весны 1800 года. «Ради нежной картины Милана 1796 года, ради образа госпожи Пьетранера я вставил первые страницы в их прежнем, непризнанном виде».

Бейль продолжает создавать новые произведения. Он пишет новеллу «Излишняя благосклонность вредит» на основе материалов хроники монастыря Паяно. Он начал хронику XVII столетия «Suora Scolastica». Работая над этими вещами, Стендаль словно продолжал работать над «Пармской обителью»; вместе с тем он писал маленькие этюды вроде «Филибер Лескаль».

Та молчаливость, которая овладела созерцательными умами Франции, тот ужас, который замыкал уста серьезных аналитиков общественного положения Франции 40-х годов, лучше всего сказались в этом убийственном и мрачном отрывке, едва насчитывающем пять страниц, опубликованном в Гетцлевском сборнике «Diable à Paris» в 1857 году. Он начинается словами: «Я был немного знаком с этим огромным человеком, г-ном Лескалем, который по аналогии со своим шестифутовым ростом был одним из самых крупных негоциантов Парижа». Лескаль не обладал мрачным характером, но было чудом, если он в день произносил более десяти слов. Неясно, почему именно этот человек попал на те ужины, которые устраивались по субботам в компании, «содержавшейся в большой тайне». По существу, Лескаль — это прототип Левена-отца. Бейль описывает, как сын этого Лескаля — Филио явился к нему по завещанию отца с просьбой дать такой совет, который позволил бы ему остаться в Париже.

«В добрый час, оставайтесь в Париже, но лишь при условии, что вы вступите в легитимистическую оппозицию, то есть будете сторонником самой большой нелепости: бурбонских лилий, Христа, римского папы и средневековой монархии Франции и будете всегда дурно отзываться о правительстве кого бы то ни было. Возьмите под свое покровительство какую-нибудь певичку из оперы и постарайтесь не разориться больше чем

наполовину. Если вы будете исполнять все это, я буду продолжать видеться с вами, а через восемь лет, когда вам будет тридцать два, вы образумитесь полностью».

Трудно представить более ужасное предсмертное произведение, написанное каким-либо писателем мира, нежели эти советы, которые являются прямой противоположностью тому, что думает и чувствует сам Стендаль.

Наряду с творчеством он занимается раскопками, откапывает этрусские вазы, тщательнейшим образом прослеживает историю заселения Этрурии по всем материалам, какими располагал тогдашний Рим. В свободные часы он выходил на взморье. Перепела и другие птицы с африканского побережья летят куда-то в Россию, в Германию, в Северную Европу... С моря дует ветер, горячее солнце палит голову. Бейль был превосходным стрелком. Двоюродный брат рассказывает, что он из коляски пистолетной пулей убивал птицу на лету. Так и тут, нагруженный перепелками, он возвращается домой.

Дочь выходца из Франции, столяра Видо, попадает к нему на дороге. Ее отец делает книжные шкафы для господина Бейля. Она кричит ему вслед:

— Господин Бейль, жара! Вам бы лучше накрыть голову!

Г-н Бейль сам знает, что жара, и он устает от этих длинных прогулок. Но у него в голове другие мысли, которые каждый раз возобновляются, когда он видит эту спокойную бедную девушку, всегда опрятно одетую в поношенное платье. Неожиданно возникает решение — устроить судьбу свою и этой девушки. То, что таким трудным казалось всегда и к чему все-таки стремилось сердце, может осуществиться, если не будет к тому «никаких препятствий». Совершенно официальным порядком Бейль делает предложение. Девушка Видо не отказывает, и искра затаенной радости мелькает у нее в глазах. Она видит ежедневно и хорошо знает этого человека. Но она знает также крутой характер отца и матери, а хуже всего — она знает, какие толки идут по всей Романье о порочных и отвратительных карбонарских связях господина французского консула.

Столяр не отказывает консулу. Это, конечно, большая честь. Но счастье дочери прежде всего; пишется письмо в Гренобль, тайком от Бейля, а Лизимак Тавернье приписывает от себя всевозможные коварные вопросы, на которые должен ответить брат столяра Видо, проживающий где-то в деревеньке за Греноблем. Ответ приходит с большим опозданием, когда измученный Бейль впервые узнал, что такое одиночество, охватывающее человека на пустынном побережье.

Но вот однажды утром раздается стук в дверь. Бейль смотрит в окно:

французский пароход, привезший вчера почту, еще не ушел в Неаполь. Перед ним стоит одноглазый столяр, грустно, но решительно смотрит на французского консула и отказывает кавалеру ордена Почетного легиона в великом счастье стать мужем его дочери. В письме говорится: «Бейль? Вы говорите, Бейль? Старый Бейль умер, а ныне оставшийся в живых — это исчадие ада. Называйте его Стендаль — предшественник антихриста». Время сохранило для нас это замечательное письмо, после прочтения которого, со спокойной улыбкой пожимая руку, Бейль проводил столяра до двери и сел выправлять корректуру нового издания «Пармской обители»<sup>[111]</sup>.

Эта работа была прервана. Уже в сотый раз приходит депеша по так называемому «Восточному вопросу». В 1807 году Бонапарт сказал: «Кто будет управлять Константинополем, тот будет управлять Европой, а быть может, станет истинным владыкой мира». В 30-х годах подвластные Турции Египет и Сирия неоднократно пытались силой добиться независимости. Николай I пришел на помощь султану, когда его армия была разбита египетскими войсками Мехмеда-Али, Франция же помогала Мехмеду-Али. Поэтому, признав в 1833 году власть султана над собой, Мехмед-Али в 1839 году вновь начал войну с Турцией. Россия и Англия, а затем Австрия и Пруссия заявили себя сторонниками турецкого султана. Франция выступила на защиту Мехмеда-Али. Адмирал Лалан передал ему захваченный французами турецкий флот. Французские офицеры стали инструкторами египетской армии.

Возник вопрос о преобладании французского влияния в Сирии и Палестине, что было невыгодно Англии. Французам было предложено отказаться от покровительства Мехмеду-Али. А это значило для Франции расписаться в том, что она затеяла беспринципную авантюру. Однако Луи-Филипп и французская биржа отступили.

Бейль с негодованием перечитывал депешу за депешей, чувствуя себя скандализированным тем, что он принадлежит к составу французского чиновничества, связавшего себя с неблагоприятной восточной авантюрой. Но если поражения французской дипломатии и играли роль в подготовке того негодующего жеста, который сделал французский консул Анри Бейль, то все же не они вызвали его беспримерный поступок.

5 февраля 1840 года капуцинский монах из Сардинии Томас, проживавший в латинском монастыре Дамаска, исчез бесследно. Французский консул в Дамаске граф Ратти-Ментон объявил, что христианский монах Томас явился жертвой кровожадности палестинских евреев. Он лично руководит обысками в еврейских кварталах. Он требует

от сирийского губернатора Шерифа-паши предоставления вооруженных сил, он подкупает лжесвидетелей, арестовывает еврейских купцов и раввинов, учиняет допросы под пыткой, вымогает деньги, а когда кровь полилась рекой по всему Дамаску, заставляет евреев откупаться от пыток и смерти. Вдруг обнаружен скелет Томаса, затем найдены и убийцы — сын австрийского генерального консула Пиччиото и четверо мусульман, которых обокрал пропавший монах. Французский граф поспешно замял это дело.

Прочитав сообщение о нем в английских газетах, Бейль созвал служащих всех консульств и представителей посольского секретариата и стал, стуча кулаками по столу, кричать, что ни один честный француз не должен сносить такого позора, что только дикая северная царская страна может допускать насилия над национальностями и что до тех пор, пока существуют такие консулы, как французский консул в Дамаске, он, Бейль, не может считать себя спокойным.

Лизимак, смотря на русского консула Аратта, пытался вставить свое слово:

— Господин консул, следует ли забывать о том, что вы подданный его величества?

— Не ваше дело говорить мне об этом! Я объявляю, что с нынешнего дня и с этого числа я порываю с французским гражданством и не состою в числе подданных его величества. Я прошу вас, или, вернее, я приказываю вам составить соответствующее заявление министерству.

С этими словами он хлопнул дверью и вышел из кабинета.

Через час Лизимак робко постучался к нему.

— Хорошо ли так? — спросил он, предлагая черновик письма и боясь, что Бейль откажется от своего намерения.

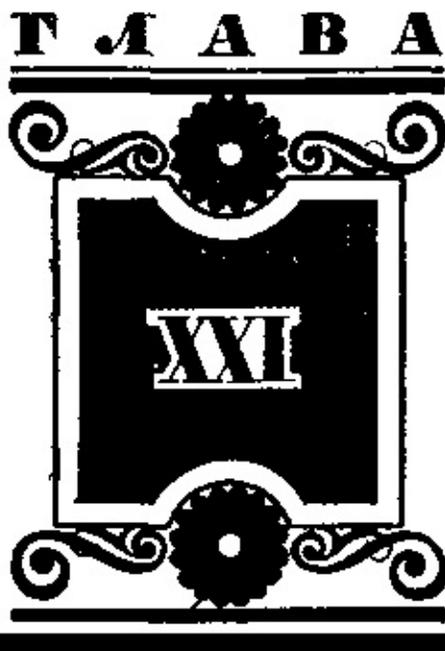
— Совсем не хорошо, — сказал Бейль, прочитав, надорвал и бросил лист. Потом взял перо и сам написал резкий, не оставлявший никаких сомнений протест с заявлением о выходе из французского подданства.

Министерство иностранных дел не сочло возможным отказать Бейлю в праве выхода из французского подданства. Звонкая пощечина, нанесенная великим писателем Луи-Филиппу и всему правительству короля банкиров, была приглушена ловким жестом: Анри Бейль — итальянец — был оставлен на посту французского консула, и по-прежнему французское посольство в Риме продолжало аккуратно высылать Бейлю консульское жалование. Вот откуда «Арриго Бейль — миланец», первая строка собственной эпитафии Бейля<sup>[112]</sup>.

В Чивита-Веккию приехал немецкий итальянец, или итальянский

немец, молодой краснощекий художник Зедемарк; он желал познакомиться со знаменитым европейским писателем, роман которого «Пармская обитель» дал ему самые счастливые минуты жизни. Бейль сделал ответный визит, и в течение месяца Зедемарк писал его портрет, по мнению Бейля очень удачный, отличавшийся большим сходством.

## ГЛАВА XXI



Бейль поехал в Рим переговорить с доктором. Старик покачал головой и велел прекратить охоту. По пути от врача на Виа-Кондотти Бейль встретил Энгра — нового директора французской академии в Риме, сменившего Горация Верне.

— Воображаю, как мой предшественник чувствует себя в Алжире! — сказал Энгр. — Художник должен прославлять честь французского оружия, но как прославлять то, чего Франция лишилась? Знаете ли вы, что поведение высшего французского командования в Алжире прямо бесчестно?

— Знаю, знаю, — сказал Бейль. — Сведите меня к вам на выставку.

Пошли на виллу Медичи. Энгр водил Бейля от одного экспоната к другому. Подошли к маленькому мраморному амуру, который с печалью смотрит на свое сломанное крыло.

Бейль остановился и почувствовал, как внезапный холод появился в темени, застучали виски. Обращаясь к Энгру и жестикулируя, он бессильно старается произнести что-то: «Мне вот...» Потом чувство холода сменилось страшным жаром. Кровь ударила в лицо, веки засыпало песком,

и комната закружилась...

«Господину ди Фиоре. Париж.

Рим. Понедельник, 19 апреля 1841 г.

Вчера мне сделали вливание через левую руку. Нынче язык заставляет меня бормотать.

Добрейший Константен навещает меня дважды в день. Доктор Алертц из Экс-ля-Шапель — папский врач — наблюдает за мной. Константен дает мне пилюли не слишком горькие. Я надеюсь скоро поправиться. Но на всякий случай прощайте, если это письмо будет последним. Я люблю вас по-настоящему, а это не часто встречается.

Прощайте! Отнеситесь к происшествию весело.

Кондогги, 4 8.

Р. S. 20 апреля припадок слабости, не поворачивается нога, онемело бедро.

21 апреля. Дело идет на поправку».

Доктор Прево, лучший специалист по подагре, живущий обычно в Женеве, не согласен с соображениями Бейля. Если утром после шампанского нервы господина Бейля спокойнее, то яснее проступают признаки болезни. Он не хочет пить кофе — он делает правильно. Но самое лучшее, что он может сделать, это приехать в Женеву на полный врачебный осмотр.

В Риме у Константена хорошо живется. Он заботится о Бейле, как о ребенке, а старая тяжеловесная великанша Барбара проявляет свою заботливость настолько, что даже крадет у Бейля вторую пару сапог. Доктор делает третье кровопускание. Голова стала свежее, но зато ноги почти утратили способность к движению. Хуже всего то, что нельзя найти некоторых слов: приходится полчаса биться, чтобы вспомнить, как называется прозрачная жидкость в стакане, которая утоляет жажду и которую можно найти в любом колодце. Иногда язык распухает до такой степени, что заполняет рот. Вместо слов раздается какое-то мычание.

Неприятности сопровождают старость писателя и консула. Люди быстро забывают наблюдателя и веселого собеседника, а болезни посещают Стендаля все чаще. А тут еще французское судно «Поллукс» столкнулось с итальянским «Монживелло» и утопило его. Длинное разбирательство. Нужно выезжать на место, вести следствие, браниться с мошенником Романели, начальником порта, и смотреть в глаза одиннадцати итальянским дьяволам-матросам, которые под присягой подтверждают, что эти французы всегда и во всем бывают виноваты.

22 октября — отъезд из Чивита-Веккии в отпуск. Ноябрь — Женева.

Хотел пойти навестить дом Руссо, как сорок лет тому назад. Доктор Прево качает головой: «Никаких Руссо — лежать в постели».

8 ноября 1841 года он в Париже.

«Если вам когда-нибудь случалось, — а мне это случалось часто, — проезжать на пароходе вниз по течению Роны, то вы видели, как вблизи Авиньона пароход приближается к Понт Сент-Эспри. Сердце щемит от ужаса. При ветре на реке близко подъезжать нельзя. В тихую погоду пароходы проходят под мостом. Вот еще мгновение, и кажется, что пароход зацепит за низкую арку или ударится об устои: прошла минута — и, давая волну, с клубами черного дыма, пароход уже за мостом. Таким же мостом является смерть. Событие тяжелое и неприятное. Никакой бунт не поможет. Но оно совершилось — и настало полное ничто, в котором нет места сожалению об исчезнувшей жизни. Не следует этого бояться. В конце концов не нужно от себя скрывать своих состояний. Ничего нет смешного в том, что я могу умереть на улице».

Снова, теперь в последний раз, приехал Бейль во Францию. И увидел, что положение стало еще невыносимее для всякого честного и мыслящего человека.

У власти Гизо. Свою программу он сформулировал просто и откровенно. «Противодействовать внутреннему прогрессу, отвергая избирательную реформу, которой неизменно требовала оппозиция, и сохранить мир с иностранными державами».

На эту декларацию ответили революционные вспышки в Тулоне, Бордо, в Лилле, Клермоне и Париже. Ими воспользовался Шарль-Луи Бонапарт:

6 августа 1840 года он высадился в Булони и снова поднял в войсках бунт против Луи-Филиппа. Как в первый раз, он привез с собою ручного орла, который, наподобие наполеоновского, должен был спуститься ему на плечо. Дрессировка орла продолжалась слишком мало, орел улетел в ближайшую деревню и задрал какую-то курицу. Орел задрал курицу, Луи-Филипп задрал претендента. Он приговорил его к вечному заключению в крепости. Однако с помощью шантажиста д-ра Коня сын королевы Гортензии и неизвестного отца через шесть лет убежал, переодевшись плотником; он вышел из камеры с доской на плече, сплевывая и нагло посматривая на часовых.

Что ни год, то тяжелее становилось французскому простолюдину. Села, деревни и города изнывали под гнетом непосильных налогов. Голод, безработица и пауперизм делали свое дело.

В этой обстановке трудно было уяснить, каким должно стать новое,

свободное общество Франции и других стран. Задавался ли Бейль этим вопросом? Задавался, но он не умел поставить проблему так, чтобы стать сторонником определенной социально-политической программы. Он писал однажды: «Можно, конечно, быть сторонником господина Гизо. Я не принадлежал к числу его сторонников. Но сапожный мастер, поставщик сапог для господина Гизо, меня устраивает еще меньше».

В этом многие усматривают антидемократические идеи Бейля. Мелкие буржуа Парижа давно утратили свою былую революционность. Это была «предпринимательская сволочь», которая из содержателей мелких мастерских стремилась превратиться в биржевых акул, разбогатеть и угнетать своих вчерашних собратьев. Это были серенькие люди, из которых каждый мог завтра выступить в качестве нувориша, скупающего старинный фарфор, шкафы красного дерева, мебель разных Людовиков, не чуждающегося, впрочем, и покупки за недорогую цену плохоньких, подкрашенных дворянских гербов.

Мог ли Анри Бейль, привыкший к бескорыстному и правдивому анализу, в этой среде видеть законных наследников современных ему властителей Франции? Что бы стало с лейтенантом Луо в этой компании разбогатевших приказчиков, продавцов прохладительных напитков и мелких и крупных спекулянтов Парижа? Бальзак усматривал элементы истинного благородства и порядочности в прошлом идеализируемой им феодально-аристократической Франции. Бейль без всяких иллюзий оценил и прошлое и настоящее. Он пристально всматривался в будущее, но не видел той социальной силы, которая могла бы смести с лица Франции мерзость режима Луи-Филиппа, мерзость буржуазного общества... Бейль не читал тех писем А. Тургенева, в которых наряду с упоминанием его имени встречаются неоднократно высказывания тайного агента Николая I Я. Толстого о назревающем во Франции коммунизме. Смысл лионских рабочих восстаний, очевидно, ускользнул от Бейля. А проповедь утопического социализма была чужда трезвому, материалистически мыслящему аналитику социальных проблем. Но «Коммунистический манифест» появился после смерти Бейля.

10 ноября 1841 года Тургенев записал в дневнике:

«От графини Разумовской к Ансело. Там Бель. Постарел, но с прежними претензиями на остроты...»

Бейлю было трудно, и как всегда наступает период лихорадочной работы, он занят новеллами и хрониками и переработкой любимого детища — «Пармской обители».



Анри Бейль (консул).



Стендаль.



Могила Стендаля на кладбище Монмартр в Париже.

В феврале 1841 года он записывает в дневнике: «Сокращая против собственного убеждения свою рукопись, я уничтожил необходимейшие вещи». Через некоторое время он восстанавливает эти необходимейшие вещи. Он пишет: «Мне кажется, что необходимы типы и образы в романе, которые хотя не действуют, а только трогают душу читателя, способствуя сохранению романтического характера». Бейль отказывается следовать совету Бальзака «сделать из Фабрицио пламенного католика, который забывает любовь, питаемую в отношении Клелии, и помнит только о любви к господину, создавшему мир», — «Фабрицио не годится для проповеди католического духа». Кончается все это тем, что Бейль пишет: «Недоволен советом господина Бальзака. Если первенство принадлежит Фабрицио только в силу его богатства чувствами, то разве другие герои беднее его».

Таким образом, Бейль возвращал текст «Пармской обители» к его первоначальному виду. Последняя дата его работы над этим текстом — 8 марта 1842 года.

Занятый свыше меры, он работал больше, чем разрешали ему врачи, и над рукописью «Suora Scolastica».

Доктор Прево в Женеве признал состояние здоровья Бейля тяжелым и запретил ему работать. Однако он не выполнил предписания врачей и работу продолжал. Восемь дней непрерывной работы по десяти часов подряд, когда Бейль диктовал стенографу попеременно две названные нами книги, привели к тому, что 22 марта 1842 года около семи часов вечера, неподалеку от министерства иностранных дел, в двух шагах от бульвара, на тротуаре улицы Новых Капуцинов он потерял сознание. Ромен Коломб совершенно случайно узнал об этом двадцать минут спустя. Он нашел Бейля лежащим в бакалейной лавке на скамье, между мешков и пакетов, неподалеку от огромных весов. Несмотря на все старания, Ромен Коломб не мог добиться от него ни одного слова. Бейля в бессознательном состоянии на руках перенесли на улицу Пти-Шан. Там были сделаны все попытки, чтобы привести его в сознание. Пульс затихал медленно, дыхание становилось все легче, морщины разглаживались, и с последним вздохом шестидесятилетнего человека около двух часов пополуночи 23 марта 1842. года наступило то успокоение, которое никогда не было ведомо этому живому и волнующемуся человеку.

Бейль сказал однажды, что желает смерти быстрой и неожиданной, и он получил именно то, что просил.

«23 марта 1842 года, — записывает Тургенев. — Бегу к Ансело узнать о смерти... вчера... Бель... На дороге из кафе к театру, на бульваре. Давно ли? И без покаяния в грехах и насмешках!»

За гробом шли Мериме, Александр Иванович Тургенев и двое неизвестных друзей.

***ARRIGO BEYLE***

***MILANESE***

***SCRISSE***

***AMO***

***VISSE***

*ANN. L IX MII*

*MORI IL XXIII MARZO MD CCCXLII*

Эта надпись высечена на простом каменном постаменте на кладбище Монмартр<sup>[113]</sup>. Газеты, занятые биржевыми скандалами и происшествиями бульварно-полицейского свойства, отметили неуместность немецкого памятника на парижском кладбище, ибо они считали, что умер мелкий немецкий стихотворец Фредерик Штиндехаль — по французски — «Стендхалль».

## ГЛАВА XXII

### Г Л А В А



Стендаль родился накануне Великой буржуазной революции, за шесть лет до ее начала. Стендаль умер накануне первого самостоятельного революционного выступления нового класса, пролетариата, за шесть лет до революции 1848 года.

Жизнь его протекла в эпоху торжества и упадка освободительной борьбы буржуазии против феодализма.

Великие освободительные идеи, которые Стендаль жадно впитал в самые ранние детские годы, не были осуществлены ни в эти годы, ни позже, когда он был юношей, молодым человеком. Наоборот, буржуазия, получив то, что ей нужно было более всего, возможность и право на беспрепятственное обогащение путем эксплуатации народа, быстро отреклась от идеалов своей молодости, даже от притязаний на власть: чтобы сохранить кошелек, она готова была уступить корону, которую надела было на себя в 1789–1792 годах. Ее она вручила Наполеону...

Но идеалы молодости буржуазии были идеалами молодости Бейля. Он от них не отрекся...

Все лучшее, что в культуре создано было передовым человечеством в

эпоху подготовки штурма феодального мира, все прогрессивное, что значительно опережало реальные возможности буржуазного строя, — подлинная свобода и благо народа — все это на всю жизнь определило сознание Стендаля.

В отношении революционном и идейном буржуазия обанкротилась на глазах Бейля, и он понял, что от нее ждать нечего. Он понял это тем лучше, что он хорошо ее изучил, он знал ее и понимал лучше, чем она самое себя... И он рассказал все, что знал о ней, в своих произведениях...

Но Бейль не понял и не увидел, какой новый класс явился законным правопреемником революционного наследства, он не видел, что идеи подлинной свободы и социального равенства, к которым подошла революция и перед которыми остановилась, что эти идеи могут быть и будут воплощены по-настоящему лишь пролетариатом.

Таким образом, Бейль чувствовал себя всю жизнь одиночкой, случайно уцелевшим представителем великого века, держателем замечательного идейного наследства.

Он мужественно отстаивал свои идеи, оберегал их, хранил их чистоту — и смело прилагал их к действительности тем единственным способом, который у него оставался, — в творчестве.

В этом — источник его реализма, аналитического, ясного, даже резкого и стремительного, как речи и дела людей в первые, лучшие годы революции...

Как человек с умом, и смелым и не связанным никакими условностями, он предчувствовал будущее, но смутно, вернее абстрактно, — как неизбежную победу свободы и счастья человечества. Он обращался к этому будущему, он понимал, что пишет преимущественно для читателя того времени, которое решительно не будет похоже на его эпоху.

Но как художник, как создатель образов, он весь был в настоящем, даже в прошлом; он описывал людей, подобных себе, потерпевших крушение в великой исторической битве, людей, опоздавших родиться или не успевших умереть, а быть может, поспешивших родиться, а следовательно, и умереть...

Крах его героев, — а они все терпят крах: и Октав, и Жюльен, и Люсьен, и Фабрицио, — это выражение исторической бесперспективности.

Подлинный представитель передового человечества своего времени, смертельный враг и феодальной реакции и буржуазного контрреволюционного либерализма, искренний друг народа, Стендаль — основоположник реалистического романа — отличается от своих современников, писателей-реалистов, и в первую голову от величайшего из

них — Бальзака — именно тем, что он был сознательным хранителем и выразителем лучших идей демократической революции. Он не вступал ни в какие сделки ни с буржуазным обществом, ни со своею совестью; он не искал идеалов в прошлом, как Бальзак, он ненавидел настоящее сильнее, чем Бальзак, потому что он отрицал его во имя будущего. Оттого и стиль его реализма иной, чем у Бальзака, у Флобера; оттого не нашлось общего языка у обоих великих реалистов — Бальзака и Стендаля.

Стендаль по крайней мере в трехстах из своих тысячи семисот писем говорит, что его всегда преследовало стремление, признаваемое как долг: «обеспечить максимальное понимание тех фраз, которые выражают его общественно полезные мысли». С этим связана и его языковая установка. Язык Стендаля — французский язык, очень корявый с точки зрения поклонников Мопассана и совершенно, быть может, непригодный для пародийного стиля Анатоля Франса. Но это прекрасный, четкий, чистый и ясный язык. Его тяжеловесность — это тяжеловесность золота. Лигатура ни в прямом, ни в переносном смысле несвойственна Стендалю.

В письмах И. С. Тургенева, изданных в Париже Гальпериным-Каминским, Тургенев приводит все желчные отзывы Флобера о Проспере Мериме. Этот великий реалист был, в сущности, выразителем только субъективного идеализма буржуазии своего времени. И совершенно правильное суждение высказывает Поль Лафарг, когда говорит, что Маркс видел вещи изнутри, а Флобер только снаружи; Стендаль выходил за пределы буржуазного субъективного идеализма, он был в корне не согласен с идеалистической философией Германии, с эклектизмом Виктора Кузена. Анри Бейль-Стендаль чужд и субъективному реализму буржуазного романа. Поэтому мы имеем право говорить о народности его творчества.

Стендаля отдаляла от современников его классовая трактовка героев, событий и положений — все, что и не грезились реалистам типа Флобера и Гонкуров.

По этой же причине Стендаль в течение десятилетий был сознательно замалчиваем буржуазными критиками и историками литературы — это было неудивительно и в годы Июльской монархии, и при Второй империи, и при Третьей республике, и еще менее удивительно, что и нынешние критики, все эти Лансоны, Фаге, третируют Стендаля... Они отлично понимают, что его подлинно критический реализм, насыщенный великими революционными идеями, составляет драгоценную часть культурного наследия, которую пролетариат бережно принимает и развивает.

Уже в 1830 году «Литературная газета» Пушкина — Дельвига стала проводницей идей Стендаля. Еще до выхода «Красного и черного» в ней

печатались полученные через посредство Соболевского выдержки из произведений Стендаля. Немного погодя журнал «Сын отечества» напечатал отрывок воспоминаний Стендаля о Байроне<sup>[114]</sup>.

Обстановка последующих лет не дала возможности полностью развернуться влиянию Стендаля на русскую литературу. Но многие литературные произведения носят явные следы этого влияния. Спутник Стендаля Волконский выпустил книгу «Рим и Италия средних и новейших времен в историческом, нравственном и художественном отношении» (сочинение князя А. Волконского, члена Римско-аркадской академии, Москва, 1843–1845) под прямым воздействием Стендаля. Через четыре года после смерти Стендаля его произведениями зачитывался пятнадцатилетний мальчик Лев Толстой. По картинам виденного им Бородинского боя Бейль создавал картины боя при Ватерлоо. Бейль обращал большое внимание на все отвратительные, «изнаночные» стороны войны. Лев Толстой по картине битвы под Ватерлоо, прочитанной в «Пармской обители» Стендаля, воссоздал Бородинскую битву. Но Лев Толстой дает картины пацифистского отрицания войны. С точки зрения Льва Толстого любая война, и гражданская, классовая, и захватнически империалистическая, одинаково плоха. Стендаль войну расценивает в зависимости от того, понимают ли воюющие смысл и значение происходящих событий. Лев Толстой — пацифист, Стендаль — антимилитарист, антимилитарист сознательный и глубоко умеющий оценить гражданскую войну, ведущую к революционным достижениям, как нечто более благородное и высокое, как нечто более бережливое и экономное в расходовании человеческих сил, нежели любая война, предпринятая ради колоний, ради банковских операций, ради приобретения новых рынков.

Однако Толстой для своих батальных картин пользовался именно изображением битвы при Ватерлоо, как это дано Бейлем в «Пармской обители».

М. Горький в письме на мое имя сообщил следующее:

«Уважаемый Анатолий Корнелиевич!

Насколько могу вспомнить, это было так: Л[ев] Николаевич] беседовал на террасе в Гаспре с А. П. Чеховым; я и Сулержицкий пришли в тот момент, когда Л[ев] Николаевич] высмеивал «Грациэллу» Ламартина. Затем стал читать на франц. языке стихи Казимира Делавинь. Когда мы вышли из гостиной на террасу, он, поздоровавшись, снова обратился к Чехову со словами о французах как исключительных мастерах формы; буквально этих его слов не помню, а приблизительно они были таковы: щеголевато,

цветисто, но всегда «свободно и легко пишут, а вот Тютчев писал французские стихи, — но плохо; он и в стихах был дипломат». После этого он и сказал, что если б не читал описания Ватерлоо в «Шартрезе» Стендаля, ему, наверное, не так бы удалось военные сцены «Войны и мира». И — подумав: «Да, у него я многому научился, прекрасный сочинитель он». Далее он заговорил о Нодье, но я был вызван доктором Никитиным и конца беседы не слышал.

В другой раз на даче «Нюра», где я жил, он, увидав книгу Стендаля «О любви» — в подлиннике, — сказал моей знакомой Васильевой: «Это — пустая книга, вы читайте его романы, он — романист, не философ. Жаль, что Бальзак, должно быть, плохо знал его. Бальзак — сочинитель хаотический, болтливый».

В манере Л[ьва] Николаевича] говорить были какие-то зияния, как будто он некоторые свои мысли и не выговаривал, удерживая их только для себя. Почти всегда говорил утвердительно и редко комментировал тему подробно. Может быть, по этой причине иногда казалось, что он противоречит себе и даже как будто противоречит из каприза. Основной чертой его интеллекта я считаю нелюбовь к разуму, боязнь разума. Казалось, что он рационалист против своей воли. Рационализм у него был нехороший, китайский, а не европейский.

В одном из писем к Арсеньевой он сказал: «Ум слишком большой — противен». Но простите, это уж очень в сторону от Стендаля. О Толстом всегда хочется говорить много и все-таки всего Толстого не выговоришь.

Будьте здоровы, А[натолий] К[орнелиевич].

Жму руку

А. Пешков.

8 мая 1928 г.»

Так свидетельствует величайший пролетарский писатель нашей страны о воздействии Стендаля на Льва Толстого.

Однажды, вынув случайно лотерейный билет № 1935, Бейль шутя произнес:

«В этот год я буду иметь наибольшее число читателей».

На Западе за сто лет книги Бейля-Стендаля вышли тиражом, не превышающим в общей сложности пятидесяти тысяч экземпляров. За двадцать лет существования советской власти СССР выпустил около полумиллиона его книг <sup>[115]</sup>.

В год выпуска первых советских изданий Стендаля автор этой книги обращался за советами и справками к одному из лучших знатоков Стендаля — покойному Артуру Шюке. Этот профессор Коллеж де Франс написал

лучшую биографию Стендаля и затем посвятил всю свою жизнь разработке документалий наполеоновской эпохи. Приветствуя издание 1923 года, Артур Шюке писал мне тогда же:

«Я должен сказать, что ваше определение изолированной судьбы и последующей популярности Стендаля, завоевавшего весь литературный мир, напоминает мне судьбу вашей Великой Октябрьской революции, которая несомненно из явления, намеренно изолированного в пределах Восточной Европы, становится достоянием всего мира».

Этими прекрасными словами мы можем закончить книгу об одном из важнейших основоположников французского реализма, об одном из любимейших писателей Советского Союза.

# ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА СТЕНДАЛЯ

1783, 23 января — у Шерубена и Аделаиды-Генриетты Бейль родился сын Анри-Мари.

1788, 7 июня — «День черепиц» в Гренобле.

1789, 14 июля — взятие Бастилии — начало Великой французской буржуазной революции.

1790, 23 ноября — смерть матери Стендаля.

1793, 28 января — в Гренобле узнают о казни Людовика XVI.

15 мая — первый арест Шерубена Бейля.

1794, 7 мая — в Гренобле создаются революционные «батальоны надежды».

1795, январь — февраль — Стендаль посещает собрание членов клуба якобинцев.

1796, 21 ноября — Стендаль поступает в Центральную школу.

1797, сентябрь — Стендаль отмечен специальными наградами за успехи в математике и рисовании.

1798, сентябрь — Стендаль награжден первой премией за успехи в изящной словесности.

1799, сентябрь — Стендаль оканчивает Центральную школу.

30 октября — Стендаль уезжает в Париж для поступления в Политехническую школу.

9 ноября — государственный переворот Наполеона Бонапарта (18 брюмера).

10 ноября — Стендаль приезжает в Париж.

1800, январь — Стендаль начинает работать в военном министерстве.

7 мая — отъезд из Парижа в действующую армию в Италии.

18 мая — приезд в Женеву, посещение дома Руссо.

10 июня — прибытие Стендаля в Милан.

1801 — весь этот год Стендаль в Италии, преимущественно в Милане.

1802, январь — апрель — Стендаль в Гренобле.

15 апреля — приезд Стендаля в Париж.

1 июля — Стендаль подает в отставку.

1803, январь — апрель — Стендаль в Париже, страстно увлекаясь

театром.

1804, 2 декабря — коронация Наполеона I.

1805, 8 мая — отъезд Стендаля из Парижа в Марсель вместе с Мелани

Гильбер.

1806, 10 июля — возвращение Стендаля в Париж.

27 октября — Стендаль в свите Наполеона входит в Берлин.

1807—почти весь этот год Стендаль проводит в Германии.

1809, 13 мая — прибытие Стендаля в только что занятую французами

Вену.

1810, январь — август — Стендаль в Париже.

1 августа — Стендаль получает звание аудитора Государственного совета.

22 августа — Стендаль получает звание инспектора движимого и недвижимого имущества короны.

1811, 7 сентября — приезд Стендаля в Милан.

30 сентября — приезд Стендаля в Рим.

27 ноября — возвращение Стендаля в Париж.

1812, 23 июля — отъезд Стендаля в действующую армию.

13 августа — Стендаль в Орше.

18 — 25 августа — Стендаль в Смоленске.

29 августа — Стендаль в Вязьме.

7 сентября — Стендаль присутствует при Бородинской битве.

14 сентября — Стендаль прибыл в Москву

сентябрь — Стендаль в Москве работает над «Историей живописи в Италии» и над пьесой «Летелье».

16 октября — отъезд Стендаля из Москвы.

2 ноября — приезд Стендаля в Смоленск.

27 ноября — Стендаль переправляется через Березину.

6 декабря — Стендаль в Вильне.

14 — 30 декабря — Стендаль в Кенигсберге.

1813 — первую половину года Стендаль проводит в действующей армии на территории Германии; конец года — в Милане и других городах Италии.

1814, январь — март — Стендаль на юге Франции организует оборону южных границ.

30 марта — Стендаль присутствует при взятии Парижа союзниками.

10 августа — приезд Стендаля в Милан.

1815, январь — в Париже у издателя Дидо выходит книга Стендаля «Жизнь Гайдна, Моцарта и Метастазии».

Весь год Стендаль проводит в Италии, посещая разные города и работая над «Историей живописи».

1816, 16 октября — знакомство Стендаля с Байроном.

1817, август — выходит книга Стендаля «История живописи в Италии».

3 — 14 августа — поездка Стендаля в Лондон.

сентябрь — выходит из печати книга Стендаля «Рим, Неаполь и Флоренция в 1817 году».

1818, январь — апрель — Стендаль в Милане.

февраль — март — Стендаль пишет серию статей о романтизме.

1819, 20 июня — смерть Шерубена Бейля.

2 ноября — знакомство Стендаля с Россини.

1820 — весь этот год Стендаль проводит в Италии, бывая во многих городах, встречаясь с рядом деятелей движения карбонариев и работая над книгой «О любви».

1821, 13 июня — отъезд Стендаля из Милана.

21 июня — 18 октября — Стендаль в Париже.

19 октября — 21 ноября — поездка в Лондон.

1822, январь — Стендаль начинает сотрудничать в английских журналах.

август — выходит книга Стендаля «О любви».

1823, март — выходит из печати книга Стендаля «Расин и Шекспир».

ноябрь — выходит из печати книга Стендаля «Жизнь Россини».

1824, август — декабрь — Стендаль печатает в «Журналь де Пари» серию статей о парижском салоне 1824 года.

1825, 13 февраля — Стендаль читает у Делеклюза свой второй памфлет «Расин и Шекспир».

март — выходит из печати книга Стендаля «Расин и Шекспир II».

1 мая — смерть в Милане Метильды Дембовской — самой сильной привязанности Стендаля.

декабрь — выходит из печати брошюра Стендаля «О новом заговоре против индустриалистов».

1826, 28 июня — 17 сентября — поездка Стендаля в Лондон.

1827, февраль — выходит второе издание книги Стендаля «Рим, Неаполь и Флоренция».

август — выходит книга Стендаля «Армане».

1828, февраль — декабрь — Стендаль в Париже.

март — Мериме читает Стендалю свою драму «Жакерия».

1829, сентябрь — выходит книга Стендаля «Прогулки по Риму».

декабрь — в журнале «Ревю де Пари» печатается новелла Стендаля «Ванина Ванини».

1830, январь — Стендаль усиленно работает над новым романом, который он предполагал назвать «Жюльен».

июнь — в журнале «Ревю де Пари» печатается новелла Стендаля «Любовный напиток».

28 июля— баррикадные бои по всему Парижу.

30 июля — образование временного правительства.

9 августа — вступление на престол Луи-Филиппа.

25 сентября — Стендаль получает должность французского консула в Триесте.

ноябрь — выходит из печати роман Стендаля «Красное и черное».

ноябрь — декабрь — Стендаль в Триесте.

1831, март — выходит второе издание «Красного и черного», 5 марта — Стендаль назначен консулом в Чивита-Веккию.

17 апреля — приезд Стендаля к месту службы.

Конец года Стендаль проводит в Чивита-Веккии и в Риме.

1832, март — Стендаль выполняет важное поручение в Анконе.

20 июня — Стендаль начинает писать «Воспоминания эготиста».

19 сентября — Стендаль начинает писать роман «Общественное положение».

1833 — большую часть года Стендаль проводит в Чивита-Веккии и в Риме; он работает над итальянской хроникой «Виттория Аккорамбони».

И сентября — 4 декабря — Стендаль в Париже.

15 декабря — встреча Стендаля с Мюссе и Жорж Санд. 1834, 17 марта — Стендаль читает историю семьи Фарнезе.

5 мая — Стендаль начинает править роман г-жи Готье, затем решает сам написать роман на ту же тему («Люсьен Левен»),

1835 — большую часть года Стендаль проводит в Риме и Чивита-Веккии, работая над романом «Люсьен Левен».

23 ноября — Стендаль начинает писать «Жизнь Анри Брюлара».

1836, 24 мая — Стендаль приезжает в отпуск в Париж.

1837, март — в журнале «Ревю де Де Монд» печатается новелла Стендаля «Виттория Аккорамбони».

июль — в журнале «Ревю де Де Монд» печатается новелла Стендаля «Ченчи».

декабрь — Стендаль заканчивает работу над своей книгой «Записки туриста».

1838, март — июль — Стендаль совершает поездку по югу и востоку

Франции.

июнь — «Записки туриста» выходят из печати.

август — в журнале «Ревю де Де Монд» — печатается новелла Стендаля «Герцогиня де Паллиано».

4 ноября — 26 декабря — за 52 дня Стендаль пишет свой роман «Пармская обитель».

1839, февраль — новелла Стендаля «Аббатиса из Кастро» печатается в журнале «Ревю де Де Монд».

8 марта — встреча Стендаля с Бальзаком.

апрель — роман Стендаля «Пармская обитель» выходит из печати.

11 апреля — Бальзак, встретив Стендаля на улице, хвалит его новый роман.

13 апреля — Стендаль начинает новый роман — «Ламбель».

май — Стендаль начинает работать над романом «Федер».

10 августа — возвращение в Чивита-Веккию. декабрь — выходит из печати книга Стендаля «Аббатиса из Кастро».

1840, 25 сентября — журнал «Ревю Паризьен» печатает статью Бальзака «Этюд о Бейле»,

15 октября — Стендаль получает номер журнала со статьей Бальзака; на следующий же день он начинает писать Бальзаку письмо и работать над исправлением «Пармской обители»

30 октября — Стендаль посылает Бальзаку большое письмо.

1841, 9 февраля — отказывается от переделки «Пармской обители».

15 сентября — Стендаль получает отпуск для лечения.

8 ноября — приезд Стендаля в Париж.

1842, 15–22 марта — Стендаль работает над новеллой «Сестра Сколастика», начатой в марте 1839 года.

22 марта — в 7 часов вечера Стендаль упал на улице, пораженный апоплексическим ударом.

23 марта — в два часа утра, не приходя в сознание, скончался «Мари-Анри Бейль, французский консул в Чивита-Веккии».

24 марта — похороны на кладбище Монмартр.

# КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

## НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Стендаль, Собрание сочинений в 15 томах. Под общей редакцией А. А. Смирнова и Б. Г. Реизова. Вступительная статья В. А. Десницкого. Л.—М., «Время», Гослитиздат 1933–1950.

Стендаль, Собрание сочинений в пятнадцати томах. Общая редакция и вступительная статья Б. Г. Реизова. Библиотека «Огонек», изд-во «Правда», М., 1959.

Авессаломова Г. С., Новелла Стендаля «Ванина Ванини».

«Ученые записки Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова» № 266, 1959.

Арагон Л., Свет Стендаля. В кн. Арагон, Собрание сочинений, т. X, М., Гослитиздат, 1960.

Артамонов С. Д., Стендаль. В кн. История французской литературы, т. II, М., изд. АН СССР, 1956.

Артамонов С. Д., Проблематика творчества Стендаля (К кризису буржуазного литературоведения). «Ученые записки Московского областного педагогического института», т. 26, вып. I, 1953.

Артамонов С., Стендаль и его роман «Люсьен Левен». В кн. Стендаль, Люсьен Левен. М., Гослитиздат, 1959.

Бальзак О., Эюд о Бейле. В кн. Бальзак об искусстве. Составитель В. Р. Гриб. М.—Л., изд-во «Искусство», 1941.

Виноградов А. К., Фредерик Стендаль, автор новелл и хроник. М., 1923.

Виноградов А. К., Мериме в письмах к Соболевскому. М., «Художественное издательство», 1928.

Виноградов А., Стендаль и искусство. «Новый мир», 1933, № 1.

Виноградов А., Мериме в письмах к Дубенской. М., изд. АН СССР, 1937.

Дьячков П., К вопросу о связи взглядов Стендаля с идеями просветителей. «Труды Воронежского педагогического института», т. I, 1939.

Иващенко А. Ф., Молодые герои Стендаля. В кн. Стендаль, Пармская обитель. М., «Известия», 1959.

Иващенко А., О взглядах Стендаля на литературу и искусство. Проблемы реалистического романа Стендаля. «Ученые записки кафедры истории всеобщей литературы Московского педагогического института», 1937, вып. 3.

Кочеткова Т., Стендаль и Вяземский. «Вопросы литературы», 1959, № 7.

Обломиевский Д., Литературно-эстетические позиции Стендаля в эпоху Реставрации. В кн. Д. Обломиевский, Французский романтизм. М., Гослитиздат, 1947.

Реизов Б., История одного романа («Красное и черное» Стендаля). «Литературная учеба», 1937, № 4.

Реизов Б., Как Стендаль писал «Историю живописи в Италии». «Звезда», 1935, № 2.

Реизов Б., Работа Стендаля над «Пармским монастырем». «Литературная учеба», 1934, № 2.

Реизов Б., Стендаль в России. «Книжные новости», 1937, № 23–24.

Реизов Б., Стендаль-журналист. «Звезда», 1938, № 7.

Реизов Б., Стендаль и Бенвенуто Челлини (К вопросу об источниках «Пармского монастыря»), «Ученые записки Ленинградского педагогического института им. А. И. Герцена», т. 26, 1939.

Реизов Б., Стендаль и война (Батальные сцены «Пармского монастыря») «Звезда», 1935, № 1.

Скафтымов А., О психологизме в творчестве Стендаля и Л. Толстого. В кн. А. Скафтымов, Статьи о русской литературе. Саратов, 1958.

Фрид Я., Стендаль. Очерк жизни и творчества. М., Гослитиздат, 1958.

Эренбург И., Уроки Стендаля. В кн. И. Эренбург, Французские тетради. М., изд-во «Советский писатель», 1958.

### **НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ**

Stendhal. Oeuvres complètes. Etablissement du texte et préfaces par Henri Martineau. 79 vol. P., Le Divan, 1927–1937.

Arbelet P. La jeunesse de Stendhal. P., Champion, 1914.

Arbelet P. Les amours romantiques de Stendhal et de Vieterine. P., Emile — Paul, 1924.

- Arbelet P. Stendhal épicier ou les Infortunes de Mélanie. P., Pion, 1926.
- Billy A. Ce cher Stendhal... P., Flammarion, 1958.
- Boppe R. Stendhal à Rome. Les débuts d' un consul. P., Les Editions de France, 1944.
- Chuquet A. Stendhal — Beyle. P., Pion, 1902.
- Cordier H. Bibliographie Stendhalienne. P., Champion, 1914. r
- Farges L. Stendhal diplomate. P., Pion, 1892.
- Gunnell D. Stendhal et l'Angleterre. P., Bosse, 1909.
- Léautaud P. Stendhal (Henri Beyle). P., Mercure de France 1903.
- Llto V. del. La vie ^tellectuelle de Stendhal. Genèse et évolution de ses idées (1802–1821). P., Presses univ. de France 1959.
- Martineau H. Le Calendrier de Stendhal. P., Le Divan, 1950.
- Martineau H. Le Coeur de Stendhal. Histoire de sa vie et de ses sentiments. P., A. Michel, 19i2 — 1933.
- Martineau H. l'itinéraire de Stendhal. P., Sos des trente, 1912.
- Martineau H. L'Oeuvre de Stendhal. Histoire de ses livres et de sa pensée. P., Le Divan, 1945.
- Paupe A. La vie littéraire de Stendhal. P., Champion, 1914.
- Boy cl. Stendhal par lui-même. P. ed. du Seuil, 1954.



notes

## **Примечания**

**1**

Стендаль написал не «conspirais», а «conspirassais», что имеет явно уничижительный оттенок.

Стендаль постоянно подчеркивал свое итальянское происхождение. Он писал в «Жизни Анри Брюлара»: «... в моих жилах, вероятно, течет итальянская кровь. Ганьони, который, совершив убийство в Италии, бежал в Авиньон, женился там, может быть, на дочери какого-нибудь итальянца из свиты вице-легата. У моего деда и тетки Элизабет было явно итальянское лицо, орлиный нос и т. п. А теперь, когда благодаря постоянному пребыванию в Риме в течение пяти лет я глубже изучил физическое строение римлян, я вижу, что у моего деда была совершенно римская фигура, голова, нос. Больше того, у моего дяди Ромена Ганьона голова была почти римская». В доме будущего писателя было немало книг итальянских авторов. Правда, среди вещей матери Стендаль вряд ли мог найти нотные листки Чимарозы. С музыкой этого замечательного композитора он познакомился значительно позже, во время своего посещения Италии.

В данном случае А. Виноградов допускает неточность: в действительности аббат Сийес писал в своей знаменитой брошюре, что третье сословие хотело бы быть «чем-нибудь». В этом сказались ограниченность и компромиссность позиций идеологов французской буржуазии XVIII века.

Стендаль был несколько старше своих сестер: Полина родилась 21 марта 1786 года, а Зинаида — 10 октября 1788.

В «Политических размышлениях» Барнав достигает необычайной для своего времени высоты материалистического понимания истории.

20 июня было объявлено не о роспуске Генеральных штатов, а лишь о том, что заседания временно прекращались «в связи с ремонтом помещения».

Объявили себя Национальным собранием не Генеральные штаты, а лишь депутаты третьего сословия, правда предложив представителям других двух сословий присоединиться к новому законодательному органу.

Сам Стендаль рассказал об этом эпизоде несколько иначе; он писал в «Жизни Анри Брюлара»: «Я сделал запас тростника, все на том же гласисе у Бонских ворот... Меня привели домой; одно из окон второго этажа выходило на Главную улицу, на углу Гренетской площади. Я устраивал садик, разрезая этот тростник на кусочки в два дюйма длиной и втыкая их на пространстве между рамой окна и сточным желобом. Кухонный нож, которым я работал, выскользнул у меня из рук и упал на улицу с высоты двенадцати футов около некоей г-жи Шенева! Это была самая злая женщина во всем городе... Тетка Серафия объявила, что я хотел убить г-жу Шенева; меня назвали жестоким ребенком, и меня разбил мой милый дедушка г-н Ганьон, боявшийся своей дочери».

Не все музыканты признавали Стендаля ценителем, достойным внимания. В мемуарах Берлиоза (том 1, стр 215) мы читаем:

«Бейль, написавший под псевдонимом Стендаля «Жизнь Россини» и еще несколько вызывающих ярость идиотических глупостей, занимался музыкой, очевидно полагая, что он имеет чувство музыки». С другой стороны, Россини сам дарил своей дружбой Стендаля именно как ценителя музыкальных творений.

Этот эпизод из жизни Стендаля рассказан А. Виноградовым не вполне точно. Как установили в последнее время французские исследователи (П. Арбеле и А. Мартино), Стендаль не присутствовал при взятии крепости Бард. Несколько ниже А. Виноградов также не точен, он допускает две ошибки: во-первых, Милан был занят французами до битвы при Маренго (а именно 2 июня 1800 года), которая состоялась 14 июня; во-вторых, Стендаль не присутствовал и при этом сражении, решившем исход кампании; в это время он все еще был в Милане.

Правда, австрийцы не были «оккупантами»; в то время Ломбардия была одной из составных частей Австрийской империи.

Тут ошибается сам Стендаль: речь идет не об известном миниатюристе Гро, а о его сыне, историческом живописце, баталисте и портретисте Жане-Антуане Гро (1771–1835), который с 1793 по 1801 год был в Италии.

Итальянский поэт-романтик Никколо Уго Фосколо (1778–1827) в 1797 году переехал из Венеции в Милан, где читал лекции. Одно время он даже вступил во французскую армию и сражался на ее стороне против австрийцев. Лишь в 1810 году он порывает, наконец, с наполеоновским режимом.

В «Жизни Анри Брюлара» Стендаль писал, что он участвовал и даже отличился в битве при Кастель-Франко. Однако в последнее время было установлено, что он в данном случае ошибался, как это с ним случалось не раз. В действительности во время сражения при Кастель-Франко Стендаль находился в Милане. А. Виноградов преувеличивает также военную доблесть Бейля, который почти не принимал в то время участия в боевых операциях. Преувеличивает А. Виноградов в Стендале и «деловитую четкость военного администратора». В те годы молодой Стендаль был более увлечен замечательными памятниками искусства Италии, итальянской музыкой и многоцветной природой полуострова, в конце концов своими любовными похождениями, чем скучными обязанностями адъютанта и интенданта.

Стендаль покинул армию и прибыл в Гренобль около 13 января 1802 года. 15 апреля он был уже в Париже. Посетив в начале июля в Фонтенебло генерала Мишо, Стендаль подает в отставку. Для получения ее нужно было строго соблюсти служебную иерархию. Поэтому заявление об отставке Стендаль посылает в свой полк, который находился в это время в Савильяно. Его заявление вернулось в Париж и было утверждено военным министерством 20 сентября.

В это свое посещение Гренобля Стендаль уже не застал в живых тетку Серафию, которая умерла 9 января 1797 года.

18 ноября 1801 года он писал Полине:

«Прошу тебя, говори мне обо всех книгах, которые ты читаешь, сообщай мне все, что тебя забавляет, рассказывай мне твои помыслы. Занимаешься ли ты, как прежде, историей? Но не той историей, которая состоит в выучивании наизусть страниц господина ле Рагуа, а той истинной философической историей, которая обнаруживает перед нами все происшествия и события как следствия человеческих страстей и показывает нам на опыте всех столетий, что для истинного счастья нужно иметь отчетливое представление о благе и уметь его осуществлять».

А. Виноградов явно преувеличивает материальное благосостояние Шерубена Бейля. Денежные дела отца Стендаля поправились лишь в период Реставрации; при Наполеоне же ему приходилось жить довольно скромно.

На улице Анживилье Стендаль поселился в ноябре 1803 года; в апреле и в летние месяцы он жил в небольшой квартирке на улице Нев-Сент-Огюстен.

Туссену Лувертюру, руководителю восстания негров на острове Гаити, А. Виноградов посвятил свой роман «Черный консул», впервые вышедший из печати в 1933 году.

В «Жизни Анри Брюлара» Стендаль записал: «По моей просьбе Феликс Фор представил меня фехтмейстеру Фабьену, жившему, кажется, на улице Монпансье, у Французского театра, поблизости от улицы Кабриоле, сразу за Кораццой, напротив фонтана того дома, где умер Мольер. Там я фехтовал в одном зале вместе с многими гренобльцами». И ниже: «У элегантного Фабьена я убедился в том, что у меня нет способностей к фехтованию. Его помощник, мрачный Ренувье, который, кажется, покончил с собой, после того как ударом шпаги убил на дуэли своего последнего друга, в приличной форме намекнул мне на мою бездарность».

Вопрос об участии Стендаля в заговоре генерала Моро не вполне ясен.  
См. предисловие.

Стендаль очень ревновал свою возлюбленную, но в то же время не хотел верить рассказам о ее многочисленных любовных связях. Поэтому он охотно внимал ей, когда она рассказывала о Сен-Викторе и Оше, явно высмеивая и унижая своих поклонников. Так, 20 февраля 1805 года Стендаль записал в дневнике: «Этот день был одним из счастливейших в моей жизни. Я провел три или четыре часа в самой душевной близости с Мелани. Она рассказала мне о своих отношениях с Оше, редактором «Пюблисист», и с Сен-Виктором, стихоплетом, написавшим «Надежду». Первый обладает тонкостью обхождения без всякой теплоты, и его газета не отличается особой глубиной; в обществе он дурак. Как восхитительна манера, с которой она произнесла это слово, делая вид, будто я вынудил ее на это своими похвалами!.. Смешная подлость маленького Сен-Виктора; в нем заметно благое намерение быть злым, но нет ни ума, ни характера, чтобы стать таковым с пользой для себя. Он готов на любую подлость ради удовлетворения своего тщеславия. Мелани рассказала мне о его выходках — они неповторимы».

Стендаль писал из Марсея главным образом сестре Полине, значительно реже — Эдуарду Мунье и отцу. Письма его к Ромену Коломбу, если таковые и были, не сохранились.

То, что Стендаль получал письма от своего кузена Оронса, весьма сомнительно. Не следует забывать, что в то время Оронсу едва исполнилось двенадцать лет. Скорее ему мог писать дядя — Ромен Ганьон.

В одной из своих автобиографических заметок Стендаль писал: «14 или 15 октября 1806 года Бейль видел битву при Иене». Но он ошибался. В это время он был еще в Париже, покинув последний только 16 октября. Из крупных сражений Прусской кампании Стендаль присутствовал лишь при битве под Наумбургом.

А. Виноградов несколько преувеличивает знание Стендалем иностранных языков. Действительно неплохо писатель знал лишь итальянский и английский.

Дюрока не без основания подозревали в чрезмерной привязанности к королеве голландской Гортензии Богарне и считали отцом Шарля-Луи Бонапарта, впоследствии Наполеона III, и другого ребенка Гортензии, которого не знали, куда девать, и просто назвали графом Морни.

А. Виноградов не совсем точен: 27-я и 28-я тетради гренобльской библиотеки почти одинаковы по объему.

В годы Империи Поль-Луи Курье уже написал некоторые из своих памфлетов, правда опубликовал он их значительно позже. В Италии Курье не «пострадал от ярости иезуитов», а лишь стал предметом нападок итальянской печати, обвинявшей его в том, что он залил (умышленно) чернилами страницу рукописи античного романа «Дафнис и Хлоя». Страстный филолог-эллинист, Курье ответил своим врагам знаменитым «Письмом книгоиздателю г-ну Ренуару о пятне на флорентийской рукописи», где он остроумно высмеял незадачливых итальянских псевдоученых, в течение многих лет не сумевших разобрать ценную рукопись и из зависти обвинивших Курье в попытке уничтожить интересный документ.

К Маркс и Ф. Энгельс, Соч, т. 2, стр 137—138

Тогдашняя Россия была наводнена тысячами французских легитимистов. Это все были монархисты, шедшие на любую авантюру и занимавшие места от гувернеров до кавалергарда дантесовского типа.

В. И Ленин, Соч., т. 22, стр. 295.

В действительности Стендаль не мог, конечно, работать над «Историей живописи в Италии» на берегах Немана, где он не останавливался.

Барановичи.

Комедия, оставшаяся незаконченной. (О ней см. IV главу.)

Стендаль называет здесь свои любимые оперы — «Тайный брак» Чимарозы и «Безумство от музыки» Майера.

Генерал Дюма.

Граф Дарю.

Сценический псевдоним Мелани Гильбер.

Г-жа Дарю.

Очевидно, Стендаль имеет в виду книгу французского писателя Ретифа де ла Бретона (1734–1806) «Пале-Рояль».

У Стендаля действительно есть письмо за подписью «М. Сушвор» (написано в Москве 15 октября 1812 года, адресовано де Ну, аудитору Государственного совета), но без тех фантастических добавлений, которые приписывает ему А. Виноградов.

Этот абзац является частью записки, посланной Стендалем своей сестре Полине 20 ноября 1812 года из Смоленска. Далее следует отрывок его письма к графине Бенью, которое Стендаль вложил в один конверт с запиской к сестре.

Маршал Бертъе.

Генерал Кларк.

А. Виноградов несколько неточно описывает возвращение Стендаля в Париж. Первую половину марта 1814 года Бейль провел в Шамбери, выезжая в соседние местечки. 14 марта он выехал по лионской дороге. Проехав через Латур дю Пен, Тюэлен, он прибыл в Лион 16 марта. Затем через Невер и Бриар он направился в Орлеан, куда приехал 18 марта. 27 марта он был уже в Париже.

См. В. И. Ленин, Соч., т. 17, стр. 368.

А. Виноградов работал над своей книгой, когда ему еще не могли быть известны новые, пересмотренные издания дневников Стендаля. Поэтому сообщаемые им сведения о составе и объеме стэндалевских дневников устарели.

В данном случае А. Виноградов цитирует неточно: слова о генералах, разбогатевших благодаря их воровству, принадлежат не Наполеону, а самому Стендалю.

А. Виноградов несомненно преувеличивает организованность и сплоченность объединений карбонариев, движение которых подчас характеризовалось именно стихийностью и разобщенностью.

Известному декабристу Александру Ивановичу Тургеневу А. Виноградов посвятил свою «Повесть о братьях Тургеневых», вышедшую в 1932 году.

Вопрос о степени участия Стендаля в движении итальянских карбонариев — одно из досадных «белых пятен» в биографии писателя. Подробнее см. предисловие.

Это письмо англичанке Луизе Беллок, автору одной из первых книг о Байроне. Беллок в приложении к своей работе напечатала это письмо Стендаля. Интересно отметить, что в 1829 году письмо о Байроне было перепечатано в русском журнале «Вестник Европы».

Байрон принимал особенно активное участие в движении карбонариев в 1820–1821 годах после сближения с семьей Гамба.

А. Виноградов имеет в виду статью Стендаля «Что такое романтизм? — спрашивает г-н Лондонио».

Приводимые А. Виноградовым слова Стендаля о Байроне в действительности не были посланы Бейлем Ромену Коломбу как письмо. Публикуя в 1855 году переписку Стендаля, Коломб включил в нее и многие рукописи писателя, в том числе и его набросок воспоминаний о Байроне, снабдив его обращением и первыми тремя фразами, автором которых является, таким образом, не Стендаль, а Коломб.

В данном случае А. Виноградов не вполне точен: после кратковременной поездки в Англию Стендаль месяц живет в Париже (с 16 августа до 16 сентября), а затем около двух месяцев в Гренобле (до 17 ноября).

Термин, обозначающий распутного повесу XVII века.

А. Виноградов ошибается: Стендаль делится в письмах своими театральными впечатлениями главным образом с Марестом. Бюшу в эти годы адресовано всего одно письмо, в котором, между прочим, Стендаль рекомендует ему Мареста.

До нас действительно дошли лишь отдельные намеки в письмах и дневниках. А. Виноградов поэтому многое вынужден домысливать, руководствуясь подчас лишь смутными догадками.

А. Виноградов не вполне точен: Стендаль действительно много ездит в это время, но сведений о посещении им всех перечисленных А. Виноградовым, итальянских городков и местечек нет.

Стендаль восхищался игрой Паганини; он писал о нем в своей книге «Жизнь Россини»: «Паганини, лучший скрипач Италии и, может быть, всего мира, в настоящее время молодой человек лет тридцати пяти с черными пронзительными глазами и густой шевелюрой. Эта исполненная огня душа обрела свой талант отнюдь не восемью годами терпеливого изучения и консерваторских занятий; рассказывают, что своему дарованию он обязан любовной истории, из-за которой он был на долгие годы брошен в тюрьму. Когда, одинокий и покинутый всеми, он сидел в заключении, которое грозило окончиться эшафотом, у него не осталось ничего, кроме скрипки. Он научился выражать свою душу звуками; проведенные в неволе долгие вечера дали ему возможность совершенствоваться в этом языке. Не следует слушать Паганини тогда, когда он пытается состязаться с северными скрипачами в больших концертах, слушать его надо только в те вечера, когда он бывает в ударе и когда он играет каприччио. Спешу добавить, что это каприччио труднее всякого концерта». А Виноградов написал о великом итальянском скрипаче роман «Осуждение Паганини» (1936).

А. Виноградов путает факты. В действительности Стендаль, догоняя Метильду, приехал в Вольтерру 3 июня и пробыл там до 10 июня; в Болонью же он приехал лишь 22 июля, где и узнал о смерти отца.

Жандармское управление австрийского губернатора помещалось в упраздненном женском монастыре Св. Маргариты.

А. Виноградов ошибается. За Стендалем действительно было установлено наблюдение, и его письма, очевидно, вскрывались полицией; но его никуда не вызывали и не предлагали срочно покинуть Италию. Над головой Стендаля собирались тучи, и друзья (в частности, Луи Крозе) советовали ему вернуться во Францию. Разрыв с Метильдой лишь ускорил этот отъезд.

Это произведение оказало немалое влияние на формирование философских взглядов наших декабристов. Обращаем на это особое внимание ввиду того, что этим еще раз подчеркивается общность интеллектуальных истоков Тургенева и Стендаля.

Почти весь черновик был написан на театральных и концертных афишах цветными карандашами или гусиным пером на почтовых станциях.

Ленге писал статьи на одну и ту же тему для газет разного направления. Он имеет последователя. Профессор Лансон излагает взгляды Поля-Луи Курье и Жозефа де Местра так обезличенно и бесстрастно, словно эти люди были друзьями и единомышленниками.

В 1825 году Стендаль выпустил не повторное издание памфлета «Расин и Шекспир», а совершенно новое произведение под названием «Расин и Шекспир II».

А. Виноградов ошибается, Стендаль ответил Байрону письмом. Принимая во внимание большое значение письма, приводим его полностью:

«Париж, 23 июня 1823 года.

Милорд,

Очень любезно с вашей стороны придавать какое-то значение личному мнению частного лица; поэмы автора «Паризины» проживут еще века после того, как «Рим, Неаполь и Флоренция в 1817 году» и прочие подобные книжки будут давно забыты.

Вчера мой издатель отправил почтой в Геную «Историю живописи в Италии» и «О любви».

Я был бы очень рад, милорд, разделить ваше мнение об авторе «Old Mortality». Какое мне дело до его политических взглядов? — говорите вы. Но тем самым вы отказываетесь принимать во внимание то, из-за чего я не могу относиться с энтузиазмом к личности знаменитого шотландца. Когда сэра Вальтера Скотта со всем пылом страстного любовника вымаливает стакан, опорожненный старым, достаточно презренным королем, когда он тайно поддерживает «Веасон», я вижу в нем человека, желающего стать баронетом или шотландским пэром. На тысячу человек, которые проделывают то же самое во всех передних Европы, найдется, быть может, один, наивно полагающий, что абсолютизм полезен человечеству. Сэр Вальтер был бы этим исключением, если бы он отказался от звания баронета и прочих личных преимуществ. Будь он искренним, страх перед общественным презрением — чувство столь могущественное в благородных сердцах — давно должен был бы обязать его к этому простому поступку. Но мысль эта никогда не приходила ему в голову; следовательно, девяносто девять шансов из ста за то, что сердце мое не ошибается и я прав, отказывая ему в горячей симпатии. Формально я готов уважать сэра Вальтера Скотта, но страстно увлекаться им я не в силах. Такова уж природа человека: мы не можем восторженно относиться к личностям, которые, если можно так выразиться, утратили свою непорочность. Это несчастье, но человек, вынужденный давать объяснения по поводу своего поведения, как это было в истории с журналом «Веасон», навеки теряет чистоту своего имени, которое так же легко запятнать, как честь молодой девушки.

Мое мнение о нравственном облике сэра Вальтера Скотта разделяет почти вся Франция: «Это человек ловкий, он умеет устраиваться Про него не скажешь, что он не от мира сего, как другие гениальные люди» Вот одобрительная оценка обывателя, которая в моих глазах является уничтожающей критикой.

К таким поступкам, как поступки сэра Вальтера, надо относиться особенно строго и потому, что принадлежать в наше время к противоположной ему партии в высшей степени невыгодно, и потому еще, что монархи, наконец прозревшие, увидевшие угрожающую им опасность, щедро осыпают своими милостями великих людей, способных продаваться.

Если бы автор «Айвенго» был беден, как Отуэй, я был бы склонен простить ему кое-какие неблагоприятные поступки, совершенные, чтобы поддержать свое жалкое существование; презрение в этом случае как бы растворилось в сочувствии к талантливому человеку, которого судьба бросила в жизнь, не обеспечив ему хотя бы одного шиллинга в день, но речь идет о сэре Вальтере Скотте, миллионере, который субсидирует «Веасоп».

Допустим, он верит, что этот журнал приносит пользу и содействует благополучию большинства англичан, но почему, зная, что его могут счесть низким льстецом, он не отказывается от титула баронета?

Хотя мне это и неприятно, милорд, но я продолжаю стоять на своем: до тех пор, пока сэр Вальтер не даст правдоподобного объяснения своему поступку, я хоть и не провозглашу с высоты судейского места, что сэр Вальтер нарушил законы чести, но для меня, как для человека, который знает, что такое двор, он потерял всякое право на восторженное преклонение.

Мне очень досадно, милорд, что письмо мое так растянулось, но так как я, к несчастью, придерживаюсь мнения, противоположного вашему, мое уважение к вам не позволило мне сократить мои объяснения. Я глубоко сожалею, что не разделяю вашего мнения; на всем свете не найдется и десяти человек, которым я мог бы сказать эти слова с такой же искренностью.

Бедняга Пеллико не обладает талантами сэра Вальтера Скотта, но вот душа, достойная самого нежного и самого страстного участия. Сомневаюсь, чтобы он мог работать в тюрьме: тело его немощно, а здоровье давно уже было подорвано нуждой и связанным с ней зависимым положением.

Когда он дошел почти до такого состояния, как Отуэй, он несколько раз говорил мне: «Самым прекрасным днем моей жизни будет тот, когда я

почувствую, что умираю». У него брат в Генуе, отец в Турине. Кроме «Франчески» и «Эуфемии ди Мессина», он написал, как он говорил мне, еще десять трагедий; его отец мог бы доставить эти рукописи. Если эти трагедии продать в Англии, они могли бы помочь несчастному поэту найти покровителя в стране, где встречается столько возвышенных натур; за те десять лет, которые Пеллико должен еще пробыть в Шпильберге, смерть может сменить не одного английского короля. И может случиться, что министр какого-нибудь из этих королей найдет выгодным для своего тщеславия добиться того, чтобы Пеллико выпустили из тюрьмы, взяв с него слово поселиться в Америке.

Мне было чрезвычайно приятно, милорд, завязать личные отношения с одним из тех двух-трех человек, которые после смерти моего обожаемого героя нарушают то пошлое однообразие, в которое ввергло нашу бедную Европу лицемерие высшего общества. Когда я впервые прочел «Паризину», я целую неделю не мог прийти в себя. Мне очень приятно, что представляется случай поблагодарить вас за это истинное удовольствие. «Old Mortality» меня больше занимает, но впечатление, которое этот роман произвел на меня, как мне кажется, не так глубоко и не так длительно.

Имею честь, милорд, быть вашим нижайшим и покорнейшим слугой.  
А. Бейль».

Новейшие исследователи отрицают поездку Стендаля в Гренобль в октябре 1824 года.

В данном случае А. Виноградов ошибается: история с рукописью романа Лонга произошла значительно раньше (см. прим. № 25). Убийство Курье носило уголовный характер, но прогрессивно настроенной общественностью было расценено как политическое.

А. Виноградов, очевидно, имеет в виду одну из статей Стендаля в английском журнале «Лондон мэгезин». В этой статье Стендаль писал: «В воскресенье 10 апреля г-н Поль-Луи Курье, один из самых образованных людей Франции, был убит во время прогулки в небольшом принадлежащем ему леске, в Везе около Тура. На следующий день было найдено его тело, в которое было всажено три пули. Французская литература не сможет испытать большей потери. Г-ну Курье было всего пятьдесят два года. В молодости он был на военной службе, где отличился; он не присоединился к Наполеону, когда тот стал императором. Курье тогда покинул армию и занялся изучением греческого языка. Говорят, по знанию этого языка с ним могут сравниться не более двух человек во Франции. Как бы то ни было, вполне очевидно, что со времени Вольтера ни один писатель не мог приблизиться к г-ну Курье в сатире в прозе, ни один человек не написал таких превосходных памфлетов. Его петиция в пользу «Крестьян, которым запрещают танцевать» — это один из шедевров нашего языка. Памфлеты его мало известны за пределами Парижа. Газеты почти никогда не осмеливались писать о них. Кроме того, большинство редакторов газет ревниво относились к превосходству его ума и его таланта. Незадолго перед тем, как он был убит, он отправился в Тур, чтобы продать все свои владения. У него были нелады с женой, в результате чего он решил уединиться в Париже в какой-нибудь солнечной комнате и писать. Смерть его — это большое счастье для иезуитов. Г-н Курье был бы Паскалем XIX века. Сообщают со всей достоверностью, что он оставил «Воспоминания», особенно о двух или трех годах, проведенных им в Калабрии. Если они когда-нибудь выйдут в свет, то поубавят в глазах публики славу некоторых известных генералов. Г-н Курье был решительным врагом глупой напыщенности и подчеркнутой горячности, привитых французской литературе г-ном де Шатобрианом. Стиль памфлетов Курье, так же как и его перевода фрагментов Геродота, очень часто напоминает нам силу и простоту Монтеня».

Приводимые А. Виноградовым слова Стендаля взяты из книги «Прогулки по Риму», хотя может создаться впечатление, что это цитата из «Расина и Шекспира» или из памфлета «О новом заговоре против индустриалистов».

Я имею в виду брошюру Реизова, изданную в Ростове-на-Дону в 1928 году под названием «Эстетика Стендаля». — А. В.

Точных сведений о посещении Стендалем острова Эльбы именно во время этой поездки в Италию нет.

См. предисловие к «Armanse» изд. Champion, Paris, 1928. Подробно см. мой перевод «Армане», ОГИЗ, 1930.

Я из семьи Бурбонов.

Рассказывая о процессе Антуана Берте, А. Виноградов несколько романизирует факты. Кроме того, он допускает одну неточность: как и в романе «Красное и черное», г-н Кардон (в какой-то мере прототип де ла Моля) писал г-же Мишу (прототип г-жи Реналь), прося ее рассказать ему о Берте. Письмо г-жи Мишу и заставило молодого человека пойти на преступление. Ошибается А. Виноградов, и говоря, что Берте был гильотинирован; в действительности он был осужден на пять лет тюремного заключения и на десять лет полицейского надзора.

В 1829 году без указания имени автора действительно вышла из печати повесть Виктора Гюго «Последний день приговоренного к смерти», направленная против смертной казни. Но А. Виноградов излагает содержание и затем цитирует заключительные строки другой повести Гюго — «Клод Ге», вышедшей в 1834 году. Это произведение также посвящено борьбе против смертной казни как единственной мере борьбы буржуазного общества с преступностью.

Горький писал в предисловии к моей книге «Три цвета времени»: «Молодым нашим литераторам особенно полезно учиться у человека, который умел из обычного факта уголовной хроники развернуть широкую, яркую картину своей эпохи». «В романе «Красное и черное», — пишет Горький, — Стендаль изобразил драму противоречий между личностью и обществом, — драму, по поводу которой так много и так бесплодно философствовали у нас в 1870/80 годах и которую мещанское общество изживет лишь тогда, когда оно окончательно погибнет».

Это письмо не Ромену Колумбу, а Альберте де Рюбампре (от 19 февраля 1831 года). Причем А. Виноградов иногда цитирует его не вполне точно.

А. Виноградов имеет в виду новеллы Стендаля «Сундук и привидение» и «Любовный напиток».

Постоянное прозвище Проспера Мериме после выпуска его «Театра Клары Газуль».

Альберта Рюбампре.

Этот абзац — из письма Стендаля Маресту (от 28 февраля 1831 года), тогда как предыдущий — из письма ему же от 26 декабря 1830 года.

Везде разрядка автора писем.

Намек на Меттерниха и венскую жандармерию.

Эта цитата из автобиографической книги Стендаля «Жизнь Анри Брюлара» приводится А. Виноградовым не вполне точно. Следующая цитата — из той же книги.

У Стендаля был очень трудный, неразборчивый почерк. Чтение его рукописен требует специальной подготовки. В XIX веке, когда научная текстология еще не получила большого развития, даже создавалась легенда о том, что писатель зашифровывал многие свои произведения, дневники, письма. Однако все объяснялось просто его неразборчивым почерком.

Отривки из писем Стендаля к г-же Готье А. Виноградов цитирует в довольно свободном переводе.

А. Виноградов повторяет здесь домыслы ранних биографов Стендаля о зашифрованности романа «Люсьен Левен». Однако писатель ничего в своей книге не зашифровывал и не прятал рукописи или шифр под половицу. Этот роман был опубликован полностью через много лет после смерти Стендаля, в 1926 году.

Эта небольшая статья Стендаля была напечатана Роменом Коломбом в 1853 году (номер журнала от 1 сентября).

Стендаль писал А. И. Тургеневу, посылая книгу Мишле: «Вот, сударь, француз по имени Мишле, который ясно, или почти ясно, передал то, что думали о Риме древние германцы... Мысль о том, что германцы изменили историю Рима первых веков, очень занимает меня. Быть может, и вы иногда думаете о том же. В этом случае, сударь, вам доставит удовольствие подремать с томами Мишле».

Граф Сиркур, секретарь Полиньяка, иезуит, муж русской красавицы Хлюстиной, за которой тщетно ухаживал польский поэт Адам Мицкевич. А. И. Тургенев пишет везде «Циркур».

Речь идет о совместных прогулках по Риму.

Далее у Тургенева белое место в записи.

Этот пробел был заполнен после четырехлетних записей цифрой 1836.

О банкире Торлонья рассказано в «Прогулках по Риму», и довольно подробно. Следует отметить, что именно этот отрывок из книги путевых впечатлений Стендаля был напечатан в 1830 году в «Литературной газете» Дельвига и Пушкина.

Стендаль лишь помогал Ромену Колумбу в работе над этой книгой и написал затем на нее рецензию.

А. Виноградов ошибается: в 1836 году Стендаль не мог читать «Ильской Венеры» Мериме. Эта новелла его друга появилась в 1837 году. Быть может, следует предположить, что Стендаль во время поездки во Францию познакомился с другой книгой Мериме — «Души чистилища», — напечатанной в 1834 году.

А. Виноградов не совсем точен: в 1836 году во Франции Стендаль лишь просмотрел рукопись романа «Люсьен Левен», в основном написанного в Италии. После 1836 года писатель уже не возвращался к этому своему произведению.

Koreff — Кореф — болгарский еврей, врач по профессии, друг Амедея Гофмана, Тургеневых, Стендаля, Мериме и Соболевского, родственник московских спекулянтов Матьясов.

А. Виноградов сообщает об этой поездке Стендаля в Англию со слов Ромена Коломба. Однако, как было затем установлено, писатель вряд ли мог совершить в 1838 году путешествие в Лондон, так как весь год ездил по Франции и собирал материалы для своей книги «Записки туриста». В Англии же Стендаль в последний раз был, очевидно, в 1837 году.

А. Виноградов не всегда точно излагает содержание романа Стендаля. Так например, Фабрицио попал в тюрьму совсем не из-за «мелкой семейной интриги», а за убийство Джилетти.

На полях принадлежавшего ему экземпляра книги «Жизнь Россини» Стендаль сделал следующую запись: «Напрели 1839 года. Яркое солнце, свежий западный ветер. На бульваре господин де Бальзак, которого я встретил у Буле, расхваливает мне «Пармскую обитель». Советует в названии убрать слово «Парма». Говорит, что ничего подобного не было за последние 40 лет. Он говорит, что г-н де Кюстин одного с ним мнения. Это значительно превосходит «Красное и черное».

Стендаль не случайно не заметил этого требования Бальзака — оно не было столь категорическим.

А. Виноградов ошибается. Стендаль, получив 15 октября 1840 года номер журнала со статьей Бальзака, на следующий же день (то есть 16 октября) начал писать ему письмо, над которым он работал вплоть до 29 октября. Стендаль нависал несколько вариантов письма к Бальзаку. А. Виноградов приводит большой отрывок третьего варианта, включив в него несколько абзацев из второго. На полях своего экземпляра первого издания «Пармской обители» Стендаль делает запись: «30 октября 1840 года. Чивита-Веккия. Ответ господину де Бальзаку послан». Таким образом, А. Виноградов ошибается, утверждая, что Стендаль не послал своего письма.

Этот абзац и два следующих — из второго варианта письма Стендаля к Бальзаку.

А. Виноградов ошибается. Во-первых, семья Видо была совсем не такой уж бедной; во-вторых, отец девушки был совсем не прочь выдать дочь за французского консула. Сам Стендаль не захотел связывать себя с совершенно чужими ему людьми. Кроме того, вопрос о женитьбе Стендаля на девице Видо возникал не в 1840, а в 1834–1835 годах.

Весь этот эпизод явно преувеличен А. Виноградовым. Кроме того, слово «миланец» появилось в «собственной эпитафии» Стендаля уже в 1836 году. Следовательно, его нельзя объяснить возмущением Стендаля действиями французского правительства.

См. фотографию с обновленного друзьями памятника 1892 года. От старого осталась только мемориальная плита, лежавшая на могиле.

Очевидно, впервые Стендаль был напечатан в России в 1822 году — в журнале «Сын отечества», в № 30 и 31 была напечатана его статья о Россини, перепечатанная из «Пари Монтли Ревью».

К 1960 году в Советском Союзе на русском языке издано 10 148 000 экземпляров книг Стендаля.